

Сергей Довлатов Речь без повода...
или Колонки редактора

Сергей Довлатов Речь без повода... или Колонки редактора

Ранее неизданные материалы



Machaon

Облагодотворенно

Международный фонд
Сергея Довлатова

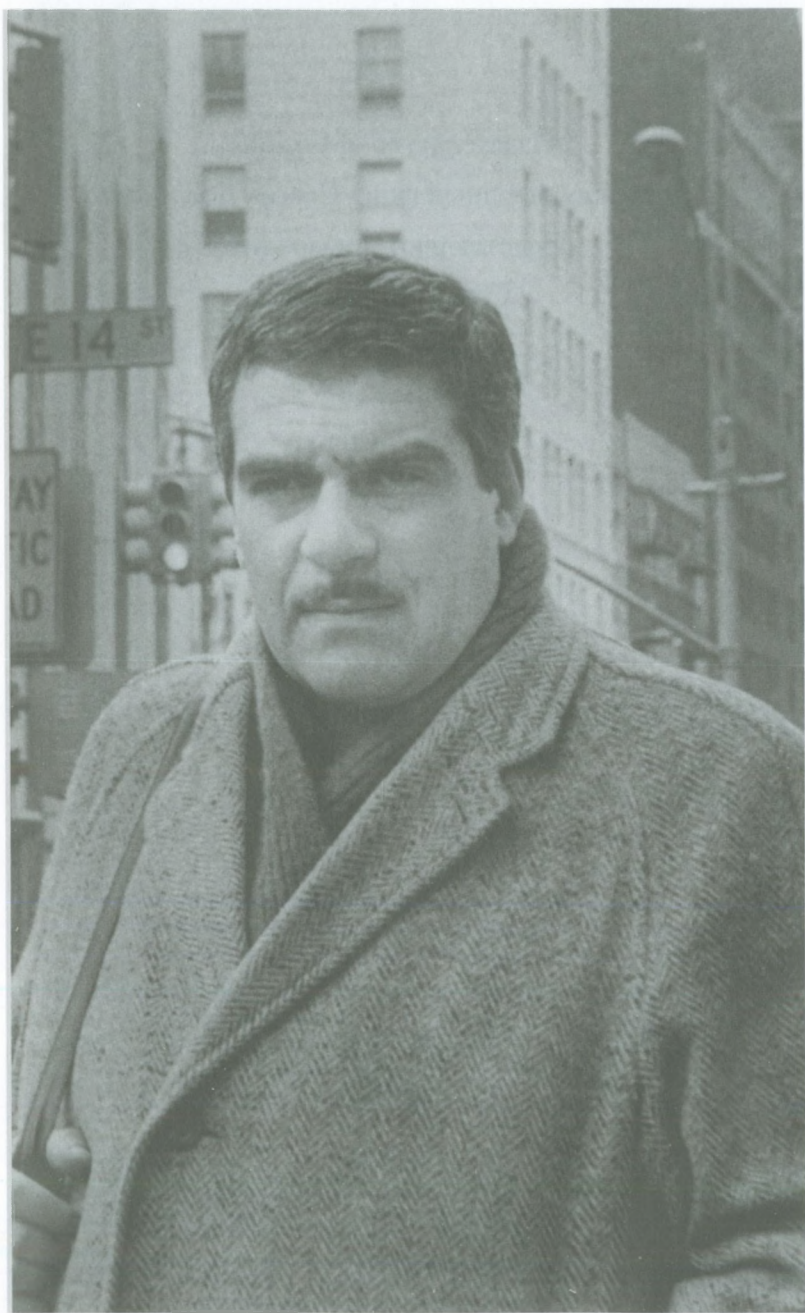
Издательство «Махаон»
и Международный фонд Сергея Довлатова
представляют новую книгу
Сергея Довлатова



Machaon

Довлатов

Международный фонд Сергея Довлатова



Сергей Довлатов

Речь без повода...
или Колонки редактора

Ранее неизданные материалы

Москва

Издательство «Махаон» и Международный фонд Сергея Довлатова

2006

УДК 882
ББК 84 Р7
Д58

*Издательство «Махаон» благодарит Елену и Катерину Довлатовых,
Петра Вайля, Александра Гениса, Нину Аловерт
за творческое сотрудничество и активную помощь в создании этой книги.*

Разработчик дизайна обложки — «Студия Арт. Лебедева».

Довлатов С.

Д58 Речь без повода... или Колонки редактора. — М.: Махаон, 2006. — 432 с. ; ил. — (Ранее неизданные материалы).
ISBN 5-18-001003-9

Книга Сергея Довлатова — событие для ценителей творчества одного из самых любимых и популярных в России писателей, событие в мире литературы и журналистики. Впервые публикуются произведения, неизвестные нашему читателю, созданные в период, который сам Довлатов называл «лучшими днями моей жизни».

Эта книга многомерна, многопространственна, многовекторна, как сама жизнь. Но ведь «искусство — в том зазоре, который остается между реальностью и словесностью. Это почти правда, но лучше правды — не потому, что глубже, тоньше, выше (здесь с жизнью не тягаться никакой литературе), а потому, что красивее» (П. Вайль).

**УДК 882
ББК 84 Р7**

ISBN 5-18-001003-9

© Международный фонд Сергея Довлатова, 2006
© П. Вайль, вступит. статья, 2006
© А. Генис, вступит. статья, 2006
© Н. Аловерт, вступит. статья, фотографии, 2006
© Е. Довлатова, вступит. статья, 2006
© К. Довлатова, вступит. статья, 2006
© Издательство «Махаон», 2006

Из жизни новых американцев

Довлатову в газете нравилось. Вообще-то удивительно: ведь единственное, чего он в жизни по-настоящему хотел, хотел истово и целеустремленно, — стать писателем. В российской же традиции газетная журналистика стояла неизмеримо ниже по статусу, чем писательское занятие. Оттого-то, наверное, редакции советских газет набиты были несостоявшимися прозаиками и невоплощенными поэтами. Оттого так причудлива, не сказать — уродлива, была советская журналистика, что тоже претендовала на роль учителя жизни: тогда как было ясно, что роль эта занята литературой. И если в газете оказывался настоящий писатель, то было заметно уже от входных дверей, как снисходительно (в лучшем случае) или брезгливо (в худшем) он опускался в презренные глубины низкого жанра.

Все довлатовские географические передвижения определяло стремление стать писателем — не для круга друзей, а для всех, настоящим, с книжками: в соответствии с таким азимутом он перемещался с востока на запад. В Таллин переехал из Ленинграда, потому что в Эстонии появился шанс издать книгу. Когда и эта надежда рухнула — решил эмигрировать и оказался в Нью-Йорке. За год до того в мичиганском «Ардисе» вышла его «Невидимая книга» — пора было выпускать видимые. В Штатах произошло торжество справедливости: явление писателя Сергея Довлатова.

И вот при всем этом Довлатов трудился в «Новом американце» вдохновенно и старательно. И вдохновенно, и старательно — что, опять-таки в российской традиции, обычно не совпадает. Свидетельствую, как подчеркнуто послушно он, главный редактор, принимал мелкие поручения секретариата — вычитать полосу, сочинить подпись под снимок, сократить заметку. Как заинтересованно спрашивал, все ли правильно исполнено, как расплывался от похвалы.

Не надо переоценивать: во всем ощущался оттенок иронической игры. Но не надо и недооценивать: игра воспринималась серьезно.

«Новый американец» был вообще предприятием во многом игровым. В каждом общественном движении есть юношеский, если не детский или подростковый, период — самая прекрасная пора, когда все милы и любезны друг другу и друг с другом, когда кажется, что заняты действительно важным и нужным.

К слову сказать, сейчас я понимаю, что мы делали и вправду что-то существенное. На дворе стояло начало 80-х, на востоке — незыблемый Советский Союз, а наша третья волна эмиграции только-только обосновывалась в Штатах. Там

единственным источником информации по-русски была ежедневная газета «Новое русское слово», где тон задавали первые две волны. В целом эмиграция идеологически представляла собой монолит не хуже советского, только с обратным знаком. Современный русский язык называли «совдеповским жаргоном». Писатель Андрей Седых, главный редактор «Нового русского слова», где я проработал два года, пока не перешел в «Новый американец», от меня впервые услышал имена Искандера и Шукшина, на уговоры посмотреть фильм Тарковского добродушно отвечал: «Голубчик, я последний раз в сорок пятом году был в синемá». К востоку от Карпат предполагалась выжженная земля, которая не могла, не должна была произвести ни одного ростка зелени, ни одного цветка. То, что мы оттуда прибыли на Запад во второй половине 70-х, видимо, проходило по разделу чудесного спасения. К нам и относились заботливо, но именно как к спасенным: им делают искусственное дыхание, а не заводят разговор о красотах прибоя. Мы, конечно, не зачислялись в «красную сволочь», но «розовая эмиграция» служила стандартным определением.

Либеральный «Новый американец» попытался нарушить единомыслие. Почуввав опасность, идейные монополисты встревожились: рекламодателям предлагали скидки за отказ от наших услуг или, наоборот, обещали занести в свой черный список. Андрей Седых напечатал статью, в которой Довлатов именовался «бывшим вертухаем», а мы с Сашей Генисом — «двое с бутылкой». Надо признать, определения основывались на фактах: Довлатов проходил срочную службу в лагерной охране, а мы от бутылки не уклонялись, но смущал уровень полемики. То, что позволял себе автор, некогда сотрудник Милюкова и секретарь Бунина, в изобилии встречалось в известинских фельетонах.

В конечном счете «Новый американец» преуспел и исторически победил. Правда, помогли время и демография: нас становилось все больше, их — все меньше. Другое дело, что наша веселая компания еще как-то умела делать приличную газету, но уж продать ее, взять рекламу, организовать подписку — куда там. Это было неинтересно. Интересно было собираться и болтать, походя работая над номером, засиживаться допоздна под скромную закуску, походя шатая устои.

Разрушалось единство не только мысли, но и стиля. Довлатовские «Колонки редактора» могли вызывающе посвящаться тараканам, и нам писали, что в пору, когда «Сахаров томится в горьковской ссылке, когда в лагерях...» Но Довлатов не унимался и, замечательно рисовавший, выпускал вместо текста «Колонки редактора» изображение водоразборной колонки. Или сооружал «Колонку редактора» из фотографий сотрудников.

Даже опечатки в «Новом американце» бывали поучительны. В списке сотрудников самый солидный и нравоучительный из всех — видный автор научно-популярных трудов Марк Поповский — появился как «Мрак Поповский». Только по-

сле долгих споров мы решили все-таки не давать поправки в такой форме: «В предыдущем номере допущена ошибка – вместо "Мрак Поповский" следует читать "Маркс Поповский"».

Легко о серьезном, несерьезно о важном – в такой атмосфере, что бы мы ни думали про себя о себе, чувство собственной значительности не возникало. Да и не могло возникнуть, еще и потому, что вокруг все такие, что словами на ходу подметки режут, и окорот происходит мгновенно и безжалостно.

Лидером в этом был, конечно, сам Довлатов. Помню, как один временный наш коллега – назовем его, допустим, Сеня Грот – обожал на редакционных летучках длинно с натужным пафосом рассуждать о необходимости чистоты языка. Однажды Довлатов, по заведенному порядку, оглашал на летучке отрывки из писем в редакцию, тут же вскрывая конверты. Один наш читатель возмущался засорением языка, почти дословно повторяя Сенины аргументы и примеры. Тот, так убедительно поддержанный гласом народа, торжествовал. Сеня триумфально потрясал письмом, когда Довлатов вдруг сказал: «Ой, здесь на обратной стороне листа тоже что-то написано». Там крупно прописными буквами значилось: «Сеня Грот – мудака».

Довлатову было не лень этим всем заниматься – сочинять письмо, излагать на бумаге измененным почерком, отправлять. Чтобы похохотать вместе со всеми над самодовольным простаком.

Впрочем, хохочущим Довлатова я никогда не видел. Он редко смеялся откровенно, чаще хихикал, прикрываясь ладошкой. Я как-то показал ему страницу из «Подростка» Достоевского о том, что смех – самый верный показатель человеческой природы, он даже надулся, зная за собой такую манеру смеяться. В нем это было – злорадство, что ли: не конкретное, а вообще по поводу несовершенства венца творения.

Сам обладая безукоризненной точностью меры и вкуса, Довлатов всякие нарушения меры и вкуса не просто не терпел, но и люто преследовал. Про одного из наших коллег (и основателей «Нового американца») он рассказывал, что тот будто бы произнес: «Мы с женой... вчера решили... что у нас в холодильнике... для друзей... всегда будет... минеральная вода». Такой напыщенной души даже этот веский и надутый человек не произносил. Но по всей своей сути – мог произнести.

Такова довлатовская достоверность, которую, кстати, надо иметь в виду, читая его книги. В повести «Невидимая газета» – история создания «Нового американца». Печальна была бы участь того, кто бы вздумал воспользоваться этой книжкой как документом, – примерно как писать историю МХАТа по булгаковскому «Театральному роману». При этом все главные характеристики ситуаций и персонажей (в том числе, того минерального) верны.

Довлатов был арбитр вкуса, и вот уж сколько лет я горько жалею, что его нет поблизости — помимо всего прочего и потому, что он создавал жестокую словесную дисциплину, не давал распускаться ни на письме, ни в речах. Достаточно было произнести даже не глупость, а нормальную житейскую банальность, чтобы он разворачивал террор: «Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду?» Такое могло длиться днями — у него это называлось «донять попреком». Мы годами с ним презванивались часов около семи, поскольку оба вставали рано, — и я время от времени свое получал с самого утра. На летучках самое страшное было — довлатовские разборки вышедшего номера, его язвительные и беспощадные замечания.

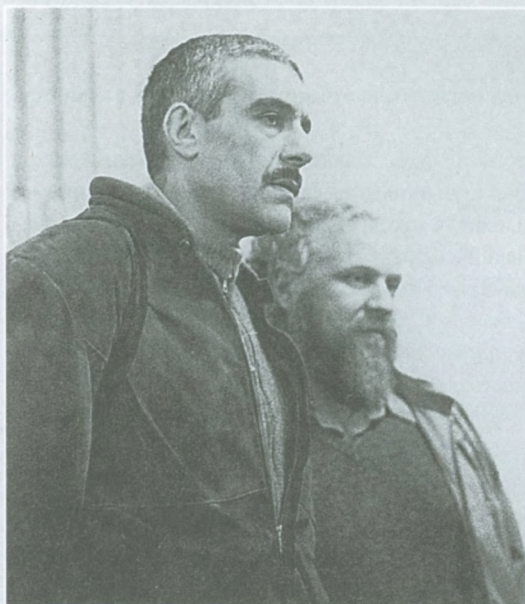
С ним можно было вступить в спор и даже одолеть в полемике, но только в спонтанной. В том, к чему готовился, он был непобедим. Непревзойденный рассказчик — такого уже не встретить. Читателю трудно представить — придется поверить на слово — что устные истории Довлатова были еще элегантнее и увлекательнее написанных. Больше оказывалось инструментов воздействия: плюс к тексту — внешность, красивый баритон, манера.

К летучкам он готовился, как и ко всему, что полагал своим делом, профессией, ремеслом. Как-то мы посвятили номер 40-летию Иосифа Бродского. Довлатов, перед Бродским благоговевший, заперся в кабинете, сказав, что вычитает все сам, потому что собирается захватить пачку газет к Бродскому на день рождения, и если там будут опечатки, позора не переживет. Он вышел через три часа изможденный и довольный. У Бродского кто-то из гостей, листая наш еженедельник с фотографиями, статьями, стихами, радостно ткнул пальцем в стихотворную строку: «Смотрите — "могила Неизвестного салата"!» Довлатов выжил.

Свои книги он преподносил, только исправив чернилами в дарственном экземпляре все опечатки. Уже по этому можно догадаться о его сакральном отношении ко всему, что связано со словом. Случайно что ли, две главные женщины его жизни — мать и жена — долгие годы работали корректорами.

Когда в конце 80-х мы с ним вместе сотрудничали на радио «Свобода», он приносил мне как редактору свои тексты — как их называли на радио, скрипты: для культурной программы «Поверх барьеров». Достаточно было сделать хоть одну маленькую правку, чтобы Довлатов уходил в угол и перепечатывал на машинке (компьютеры еще не были обиходны) всю страницу. Вид чужой руки на своих строчках казался ему непереносимым.

Как-то я сказал, что для оживления мы будем записывать передачи в виде беседы, а поскольку знал ревнивое отношение Довлатова к своим сочинениям, предложил ему вписывать для меня вопросы самому. Он принес. Выглядело это примерно так. «Довлатов: полстраницы текста. Вайль: "Неужели?" Довлатов: полстраницы текста. Вайль: "Да, это очень интересно". Довлатов: полстраницы текста. Вайль: "Ну и?"». Он вовсе не издевался надо мной, выстав-



Сергей Довлатов
и Петр Вайль



Иосиф Бродский и Сергей Довлатов

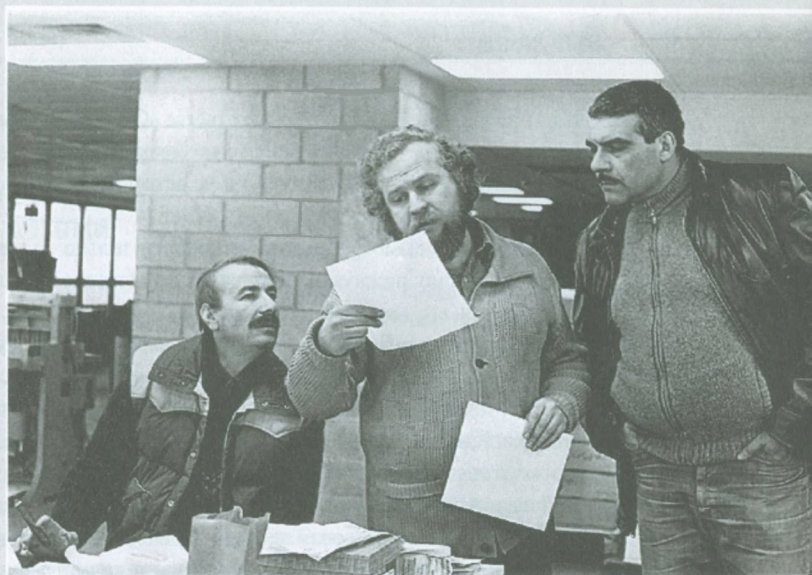
ляя законченным дебилом, ему просто было отчаянно жалко отдать кому-нибудь свои буквы.

Вот разгадка его добросовестного, совестливого отношения к низкому жанру газетной журналистики. Газетные статьи пишутся словами – такими же словами, из которых состояли его книги, одна за другой выходившие в Штатах, его рассказы, переводившиеся на английский и один за другим публиковавшиеся в лучшем литературном журнале Америки «Нью-Йоркере». Да, книги и престижные публикации занимали места важнее, значимее, но и газета была словесным ремеслом, и даже радио, хотя там-то слова не остаются, а по законам физики уходят в никуда.

Довлатов мог подолгу смотреть, как идет верстка, по-детски восхищаясь, как мы с Сашей, по совместительству метранпажи «Нового американца», режем бумажные столбцы набора и клеим на картонную полосу. Любые фокусы со словом представлялись ему занятием достойным.

Осенью 1980 года мы затеяли печатать в своем еженедельнике роман «Крестный отец» – большими кусками из номера в номер. Идея оказалась исключительно удачной: спрос и, стало быть, тираж у нас заметно подскочил. В ту пору существовал только халтурный перевод, сделанный в Израиле, – к примеру, Майкл Корлеоне там именовался по-своейски Михаилом. Но мы ничего не меняли, потому что экономили на наборе и, приобретя два экземпляра книги, разрезали страницы и расклеивали на полосы. Тут возникла этическая сложность: как быть с откровенными сексуальными сценами, как раз в начале романа. Надо сказать, в неуклюжем переводе они выглядели куда неприличнее, чем в оригинале. А мы были вчерашние советские люди, американцы на новенького, и тем более такими были наши читатели, которых мы страшились спугнуть. Кто бы мог тогда догадаться, что пройдет всего каких-нибудь лет семь и отечество заполонит безраздельная откровенность каких угодно описаний. Порчу романа взял на себя Довлатов. Вооружился метранпажным лезвием и уселся за работу. На мое предложение написать Марио Пьюзо: «Я сам буду твоим цензором», – даже не усмехнулся, уйдя в кропотливое вырезание постельных кувырканий. С чужими словами он обращался так же виртуозно, как со своими.

Он и ценил чужие слова. Как всякий по-настоящему талантливый человек, Довлатов делал стойку на талант. Как он искренне радовался, когда в «Новый американец» пришли из Чикаго стихи Наума Сагаловского, ставшего нашим постоянным автором, – именно при поддержке и поощрении Довлатова. Очень остроумный, Наум изящно демонстрировал диковинный эмигрантский язык: смесь русского, английского и идиш. Как настоящий поэт, многое предвидел – вот это писано про эмиграцию, а оказалось, про метрополию: «Погоны, кокарды, суровые лица, / труба заиграет – и с маршем на плац – / корнет Оболенский, поручик Голицын, / хорунжий Шапиро и вахмистр Кац». Потом, уже в 85-м, по до-



Борис Меттер, Петр Вайль и Сергей Довлатов за выпуском очередного номера



«Новый чикаговец» Наум Сагаловский, Борис Меттер, Петр Вайль, Сергей Довлатов, Виталий Длугий, Григорий Поляк и Александр Генис

влатовской инициативе, в парижском издательстве «Синтаксис» вышел сборник «Демарш энтузиастов» трех авторов – Вагрича Бахчаняна, Сергея Довлатова и Наума Сагаловского. Не стало Довлатова – и не встречаются что-то стихи Сагаловского: так бывает, для демарша нужен энтузиаст.

С подлинным энтузиазмом Довлатов относился только к литературе. Что знал, то знал превосходно: русскую и американскую словесность. Литература исчерпывала почти весь его кругозор. Помимо этого – только джаз, и еще кино: прежде всего американское. Довлатов застал тот подарок советскому народу в виде трофейных фильмов, на котором выросло его поколение. В 50-е спохватились, показы пресекли, моим сверстникам ничего уже из этого не досталось, но те успели пропитаться. Как написал Бродский: «Мы вышли все на свет из кинозала» – имея в виду как раз ненароком доставшееся им американское кино.

У джаза Довлатов учился искусству нелинейного повествования: когда вариации основной темы, посуществовав самостоятельно, возвращаются к главной мелодии, и стройный сюжет торжествует. Без конца мог слушать «Round Midnight» в исполнении Декстера Гордона, «Loveyman» Чарли Паркера, «My Favorite Things» Джона Колтрейна. Как-то мы вместе смотрели на Нью-Йоркском кинофестивале фильм о Телониусе Монке, и Сергей потом дня три заводил разговор о соотношении таланта и безумия. Эта тема его волновала: формула успеха. Сам-то он был, насколько это возможно, рационален и трезв – в писательстве и в журналистике.

Удивительное дело: один из самых любимых и популяризованных в России прозаиков, который шаг за шагом с редкой откровенностью описал свою жизнь сам, о ком вышли книги исследований и мемуаров, по сути – загадка. Не ясно, насколько совпадает авторский персонаж Сергей Довлатов с реальным автором Сергеем Довлатовым. В какую клеточку литературного процесса он должен быть занесен, на какую полку ставить его книги.

Довлатовская работа в газете может, кажется, кое-что прояснить: журналистский – по видимости – его способ работы. Всякий раз, когда о писателе говорят «подслушал» и записал, «подсмотрел» и описал – во-первых, подслушай так и подсмотри так. Во-вторых, окружающая жизнь всегда хаотична, и такой – бессмысленной и невнятной – запись и получится. На то и писатель, чтобы организовывать хаос. Довлатов пользовался для этого минималистскими методами: как журналист, сохранял (или узнаваемо видоизменял) подлинные имена и писал по канве фактических ситуаций. Искусство – в том зазоре, который остается между реальностью и словесностью. Это почти правда, но лучше правды – не потому, что глубже, тоньше, выше (здесь с жизнью не тягаться никакой литературе), а потому, что красивее.

Чесуча и рогожа

– А правда, что все журналисты мечтают написать роман?

– Нет, – солгал я.

С. Довлатов, «Компромисс»

Тему «Довлатов в газете» можно было бы исчерпать двумя словами, сказав, что он в ней не помещался. Другое дело, что она ему нравилась. Об этом я уже подробно написал в книге «Довлатов и окрестности». Добавляя к ней этот постскрипtum, я, собственно, хочу сказать только одно: иначе и быть не могло.

Газета была порталом советской литературы, ее пропиляями и проходным двором. Другого пути в официальную словесность не существовало, и Сергей принимал это как должное. В поисках случайного заработка и приблизительного статуса Довлатов служил в самых причудливых изданиях. Судя по его рассказам, он был королем многотиражек. В это, конечно, легко поверить, потому что Сергей умел любую халтуру украсить ловкой художественной деталью. Например – такой.

Когда знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон чудом оказался в Таллине и даже выступил там, Сергей написал на концерт газетную рецензию, которая заканчивалась на верхней – хемингуэвской – ноте: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Тридцать лет спустя мой коллега и тоже большой любитель джаза Андрей Загданский принес в студию запись того самого таллиннского концерта Оскара Питерсона – 17 ноября 1974 года. Мы пустили запись в эфир, предупредив, что в овации, которые то и дело прерывают музыку, вплелись и довлатовские аплодисменты.

Довлатовское мастерство, которым он расчетливо делился с прессой, льстило редакторам. Как все люди, включая партийных, они хотели, чтобы их принимали всерьез даже тогда, когда руководимый ими орган ратовал за победу в социалистическом соревновании. Сергей хвастался, что во всей России не было редактора, который не прошал бы ему запоев.

Накопив множество воспоминаний о газетной страде, Довлатов привез в Америку мстительный замысел. Собрав подборку цитат из своих материалов, он использовал их в качестве эпиграфов к выросшей из газет книге «Компромисс». Я слышал, что филологи Тарту собирались разыскать эти тексты в библиотечных подшивках, но сомневаюсь, что они их там найдут. Сергей любил фальсифика-

ции, замечательно при этом пародируя источники, в том числе — и собственные. Он виртуозно владел особым, романтически приподнятым стилем той части газеты, которая писала про обычную, а не коммунистическую жизнь. Пробравшись на эту (обычно — последнюю) страницу, автор, компенсируя идеологическую тесноту повышенной метафоричностью, воспарял над текстом. Ни разу не запнувшись, Довлатов мог сочинить такую лирическую зарисовку с универсальным, как он уверял, названием: «Караван уходит в небо».

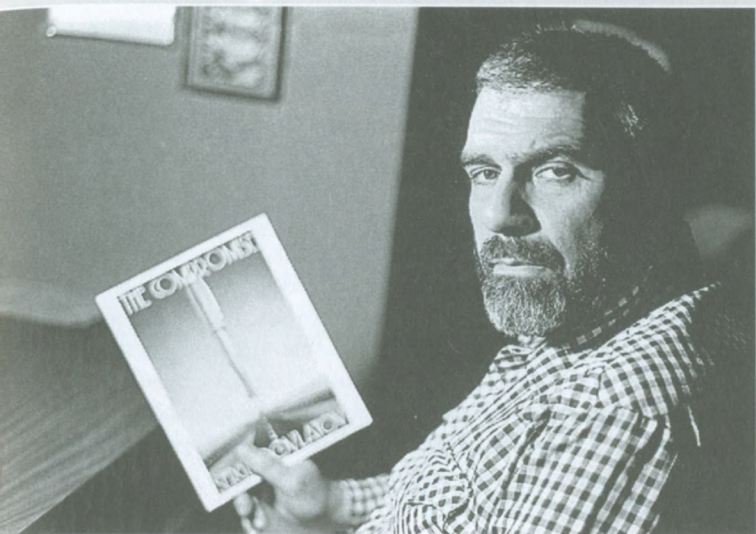
Дело в том, что напрочь лишенная информационной ценности всякая советская газета была литературной газетой. Такой она, в сущности, и осталась, вновь оказавшись в арьергарде СМИ. Другое дело, что тогда, четверть века назад, мы об этом даже не задумывались. Газета была нашим субботником, Довлатов — его главным украшением.

Когда Сергей появился в Нью-Йорке, эмигрантскую прессу исчерпывало «Новое русское слово», орган, отличавшийся от советских газет лишь тем, что был их антисоветским приложением. Возможно, сейчас я не стал бы так критично отзываться о газете, где еще встречались ветераны серебряного века — критик Вейдле или философ Левицкий. Но в молодости нам до них не было дела. Все мы хотели не читать, а писать. Печатать же написанное опять было негде.

Разобравшись в ситуации, Довлатов быстро созрел для своей газеты. Образовав непрочный и, как оказалось, случайный альянс с тремя товарищами, Сергей погрузился в газетную жизнь. Первые 13 недель мы следили за «Новым американцем» со стороны — с опаской и завистью. Но вскоре Довлатов сманил нас с Вайлем в газету, которую он считал своей, хотя такой ей еще только предстояло стать. Мы поставили редакции одно условие — назначить Довлатова главным редактором. Этот шаг представлялся естественным и неизбежным. Сергей еще не успел стать любимым автором третьей волны, но, как его восторженные читатели, мы были уверены в том, что долго ждать не придется.

Сперва Довлатов лицемерно, как Борис Годунов, отнекивался. Потом согласился и с наслаждением принялся руководить газетой. Больше всего ему нравилось подписываться: о том, кто главный редактор «Нового американца», знал читатель почти каждой страницы.

Довлатову всегда нравилась проформа, он обожал заседать и никогда не жалел времени на деловые — или бездельные — переговоры. Лишь намного позже я понял, чем для Сергея была его должность, которую он, важно заметить, исполнял безвозмездно. Привыкнув занимать положение неофициального писателя и принимать как должное связанную с ним популярность и безответственность, Довлатов наконец дослужился до главного редактора. Он дорожил вновь обретенным положением и принимал его всерьез. Когда в сложных перипетиях газет-



Довлатов с обложкой книги «Компромисс»



Редакция «Нового американца», 1980 г. Слева направо: Борис Меттер (спиной), Алексей Орлов, Сергей Довлатов (в центре), Любовь Федорова, Елена Довлатова

ной борьбы издатели попытались формально отстранить Сергея от поста, сохранив при этом за ним реальную власть, Довлатов сказал, что предпочитает форму содержанию, и все осталось, как было.

В газете Сергей установил конституционную монархию самого что ни на есть либерального образца, проявляя феноменальную деликатность. Он упивался демократическими формулами и на летучках брал слово последним. Но и тогда Довлатов оставлял за собой право критиковать только стиль и язык, заявляя, что на остальное его компетентность не распространяется. Несмотря на узость поставленной задачи, его разборы были увлекательны и – познавательны. Сергей важно бравировал невежеством, обладая при этом неординарными знаниями. Я, например, понятия не имел, что чесуча – дорогая шелковая ткань. Гриша Рыскин этого тоже не знал, поэтому и нарядил в чесучу – и рогожу – бездомных из своего темпераментного очерка. В сущности, пируя на газете, мы и сами были такими.

Самое интересное, что Довлатова в газете действительно волновала только форма – чистота языка, ритмическое разнообразие, органическая интонация. И тут он оказался совершенно прав!

«Новый американец», не сказав ничего нового, говорил иначе. Он завоевал любовь читателя только потому, что обращался к нему по-дружески, на хорошем русском языке. Газета стряхнула идиотское оцепенение, которое охватывало нас при виде печатной страницы. При этом Сергей с его безошибочным литературным вкусом вел газету по пути завещанного Ломоносовым «среднего штиля». Избегая тупого официоза и вульгарной фамильярности, под прямым нажимом Довлатова все тут писали на человеческом языке приятельского общения.

За это нас и любили. Конечно, не стоит заблуждаться насчет природы этой приязни. Лучшим в газете была сама атмосфера, но она быстрее всего выветривается и ее труднее всего передать.

В центре того магнитного поля, что затягивало благодарных читателей, помещался, конечно, Довлатов. Его авторский вклад был самым весомым. Начать с того, что каждый номер открывался кронкой редактора, которая играла сложную роль камертона и эпиграфа. Сергей писал эти мерные, как гири, тексты с той же тщательностью, что и свои рассказы. Именно поэтому не важно, чему колонки были посвящены. Расставшись с поводом, они легко вошли в довлатовский канон, представляя в нем элегантную импрессионистскую поэму. Эти резные, словно шкатулки, легкие опусы держались на тайном, но строгом, почти стихотворном, метре и требовали изрядного мастерства.

Несмотря на все сказанное, колонки часто бесили читателей, которых раздражала принципиальная несерьезность изложения. Теперь, в век тотального стёба, с этим спорить и поздно, и глупо, но тогда Довлатову постоянно приходилось от-



Петр Вайль и
Александр Генис —
Портос и Арамис
«Нового
американца»

“The New American’s Press”

• Russian Weekly •
Room 701, One Times Square
New York, New York 10036
Telephone (212) 648-2943

Прошу вернуть Халифа книгу,
Халифа книгу я прошу
вернуть. Имя города Рого
я в германский список занесу!

Верните книгу, Саша с Кетой,
Иметь такую книгу — честь!
Я прославляя её в газете,
Теперь хочу её вернуть.

C. D



Рисунок Сергея Довлатова
«Рой Медведей»

Автограф шуточного послания Петру Вайлю
и Александру Генису. Из архива П. Вайля

бываться от претензий. Он страдал и не сдавался, хотя чего ему это стоило, можно было увидеть невооруженным глазом. Однажды, открыв письмо с нелестной (хамской) критикой, Сергей разорвал его на клочки и выскочил из комнаты, когда мы Жизнерадостно напомнили ему про гласность и демократию.

В целом, однако, Сергей был покладистым редактором и не презирал своих читателей. Что было не так просто, особенно когда они обращались на «ты» и свысока давали советы. Сергей умел кротко сносить всякое обращение. Обижался он только на своих – часто и азартно.

Размолвки, впрочем, никогда не мешали веселому труду, который «Новый американец» сделал высшей формой досуга. Наши открытые редакционные совещания собирали толпу зевак. Когда Сергей хотел наказать юную дочку Катю, которая переводила для газеты телепрограмму, он запрещал ей приходить на работу. Подводя итоги каждому номеру, Сергей отмечал лучший материал и вручал его автору огромную бутылку дешевого вина, которое тут же распивалось на 16 – по числу сотрудников – бумажных стаканов. В редакции всегда толпились коллеги, мешая нам клеить газету, – даже тогда, когда мы переносили верстку на воскресенье. В этот процесс Сергей особенно любил вмешиваться. Ему нравились все технические детали – полиграфический жаргон, типографская линейка, макетные листы. Он млеял от громадного и сложного фотоувеличителя, которого у нас все боялись, горячо обсуждал проекты обложки и рисовал забавные картинки для печати. Кроме этого, Сергей пристрастно следил за работой нашего художника – симпатичного и отходчивого Виталия Длугого, которого он любовно и безжалостно критиковал за неумный авангардизм. В разгар эпопеи с «Солидарностью» мы решили поместить на первой полосе польский флаг. Из высших художественных соображений вместо красного и белого Виталий использовал бурые и серые цвета, объясняя, что суть в контрасте. Обложку переделали, когда Довлатов, всегда стоявший на страже здравого смысла, расвирипел.

С ним это бывало редко, потому что злости Сергей предпочитал такое отточенное ехидство, что оно восхищало даже его жертв. Этот талант он тоже вложил в газету.

Дело в том, что если довлатовские колонки вызывали наше безоговорочное восхищение, то с остальными жанрами было сложнее. Как бывший боксер, Сергей считал, что интереснее всего читателю следить за бурной полемикой. Поэтому, упиваясь дружбой в частной жизни, в публичной мы постоянно спорили. Сергей умел так издеваться, что даже огорчиться не выходило. Однажды он сравнил Вайля с Портосом, а меня с Арамисом. Мы решили не обижаться: все-таки – мушкетеры.

В газете Довлатов, конечно, умел все, кроме кроссвордов. Он владел любыми жанрами – от проблемного очерка до подписи под снимком, от фальшивых пи-

сем в редакцию до лирической зарисовки из жизни русской бакалеи, от изящного анекдота до изобретательной карикатуры. Так, под заголовком «РОЙ МЕДВЕДЕВ» он изобразил мишек, летающих вокруг кремлевской башни.

Труднее всего Довлатову давались псевдонимы. Он писал так узнаваемо, что стиль трудно было скрыть под вымышленным именем. Когда не оставалось другого выхода, Сергей подписывался «С.Д.». Ему нравились инициалы, потому что они совпадали с маркой фирмы «Christian Dior», о чем Довлатов и написал рассказик.

Как ни странно, но авторский эгоцентризм не мешал Довлатову отличаться в неожиданной роли. Сергей печатал в газете роскошные интервью. Первое было взято у только что приехавшего в Америку пожилого эмигранта. Кончалось оно примечательно: интервью с отцом вел С. Довлатов. Перейдя от ближних к дальним, Сергей разошелся и напечатал в газете беседы со всеми своими знакомыми, включая, надо признать, и вымышленных персонажей, вроде незадачливого дворника из Барселоны. Придумывая не только вопросы, но и ответы, Сергей в таких «интервью» оттачивал свой непревзойденный диалог, то самое искусство реплики, когда каждая из них кажется не только остроумной, но и (что гораздо труднее) естественной.

Обжив «Новый американец», Сергей чувствовал себя в газете как дома — в халате и тапочках. Когда, сочиняя «Довлатова и окрестности», я внимательно изучил подшивку, мне показалось, что эта пухлая груда газетной бумаги тоже была записной книжкой Сергея. Может быть, потому он считал этот короткий год лучшим в своей жизни, что разделенное счастье удачного коллективного труда рождало резонанс, возносящий его к прозе.

«В любой игре существенен итог»

Каждая волна эмиграции имеет свое лицо. Эмиграцию из России 70–80-х годов, к которой принадлежал Довлатов, я и другие сотрудники «Нового американца», принято называть третьей волной. Сегодня мы из «новых американцев» превращаемся в динозавров эпохи третьей волны. Мы постепенно растворились в американской среде, осели в своих квартирах, наладили деловые и творческие отношения с Россией или начали вымирать. Во всяком случае, новые поколения смотрят на нас как молодежь — на ветеранов войны.

Третья волна действительно очень отличалась от всех последующих (я говорю о легальных эмигрантах, а не о тех, кто приехал в гости и «забыл вернуться»). Дело не в деталях, а в самом основном: мы уезжали от советской власти и для того, чтобы свободно осуществлять свои затеи. Мы уезжали, навсегда оставляя всех, кто был нам близок, друзей и родных. Мы знали, что никогда в жизни их больше не увидим. Есть много и других различий, но для меня эти — главные.

Так вот в те почти доисторические годы из России буквально хлынул поток творческой интеллигенции (добровольно или под нажимом властей): писатели, художники, журналисты, фотографы. Словом, все те, кому не удалось в России пробиться сквозь препоны советской цензуры к читателю и зрителю, представители той самой «так называемой второй культурной действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность» (все цитаты взяты из книг Довлатова). Когда открылись советские границы, когда в России стали печатать как своих бывших нонконформистов, так и эмигрантов, оказалось, что эта реальность русской культуры складывалась в равной степени как в России, так и на Западе. И что одним из самых ярких создателей русской культуры является эмигрантский писатель Сергей Довлатов.

«Что начинается после смерти? После смерти начинается история».

К сожалению, жизнь внесла свою поправку в этот афоризм Довлатова: после его смерти начался поток воспоминаний, где каждый торопился рассказать историю писателя на свой манер, причем не всегда — доброжелательно... Евгений Рубин, например, с возмущением обвиняет Довлатова в присвоении себе права называться создателем газеты. Действительно, газету «Новый американец» придумал и начал издавать Рубин, который вскоре из газеты ушел. Это



«Въездная сессия» редакции «Нового американца»

исторический факт. Но именно Довлатов сделал газету фактом сначала иммигрантской, а затем и русской культуры. Именно поэтому он и имел право называть себя «создателем» газеты.

Но превращение газеты «Новый американец» из факта истории русской эмиграции в факт истории русской культуры можно считать длительным процессом. Те, кто приехал в Америку за последние годы, знают, что сегодня русскоязычные газеты размножаются простым делением. А в доисторические 70-е в Нью-Йорке выходила одна еженедельная газета «Новое русское слово», да и то в более скромном объеме, чем сейчас. «И тут появились мы, усатые разбойники...» – пишет Довлатов.

Я застала подготовительный период создания газеты, когда усатых и безусых «разбойников» было еще, кажется, четверо: Сергей Довлатов, Борис Меттер, Евгений Рубин, Алексей Орлов. Подготовительные маневры велись в крошечном помещении на Таймс-сквер, где Довлатов и предлагал мне принять участие в этом увлекательном плаванье. Официальное предложение затем мне сделал Меттер. Думаю, я лично со своей любовью к балету была Меттеру совсем неинтересна, но ему хотелось заручиться через мое участие в газете поддержкой Михаила Барышникова, с которым я была знакома еще по Ленинграду. Из мечтаний Меттера ничего не вышло, все ограничилось тем, что я принесла в газету свою фотографию Барышникова, на которой великий танцовщик сделал надпись: «"Новому американцу" от старого». Где теперь эта фотография – не знаю.

Я работала в газете и как балетный критик, и как фотограф. Для меня лично эта работа была увлекательной страницей новой жизни, частью того путешествия «в зазеркалье», которым тогда эта новая жизнь в Америке мне казалась. Кроме того, как и для многих из нас, – хорошей журналистской школой (что я оценила гораздо позднее). Я относилась к своему участию в газете со страстью, как, думаю, и остальные работники «Нового американца», но все-таки для меня, возможно, единственной из всех, участие в ней не было главным делом жизни. Интерес к балетному миру Америки стоял для меня всегда на первом месте, кроме того, я готовила материалы к книге «Барышников в России». Наверно, поэтому я не могла бы написать связную историю того времени: в моих воспоминаниях об истории газеты много изъянов и белых пятен.

Из комнатухи на Таймс-сквер редакция переехала на Юнион-сквер, где и происходил самый революционный и победный период ее существования. Появились новые сотрудники: Петр Вайль, Александр Генис, Наталья Шарымова, Александр Батчан, Лев Гальперин. Люба Федорова (она же – Лана Форд) начала свою работу в газете весьма экстравагантно.

Как-то в начале существования газеты на Юнион-сквер Федорова, заведующая редакцией, задержалась на работе. В редакцию явился негр из местных



Евгений Рубин

Переезд в новый офис. Лев Штерн, Сергей Довлатов



Петр Вайль, Виталий Длугий и Александр Генис устанавливают верстальный стол

бездомных наркоманов – обитателей сквера и, приставив к ее виску пистолет, потребовал денег. Люба, еще не усвоившая правила: отдай все, что есть, но не вступай в дебаты, деньги отдала, но стала его уговаривать: мы нищие журналисты, это русская газета, посмотри, какая у нас бедность... Негр огляделся, изумился и вернул Любе деньги. «Ну, – сказал Довлатов Любе, – если ты бандита уговорила, значит, можешь писать для газеты». Правда, наркоман явился опять через несколько дней, застал все ту же Любу и потребовал деньги. «Как?! – возразила Люба, – ты же мне их отдал!» – «А сегодня, – ответил бандит, – они мне нужны позарез».

Сегодняшнему российскому читателю трудно себе представить, какой фурор произвела газета среди читающей публики. Одни газету любили, другие – ненавидели. И те и другие дружно шли в киоск в день продажи покупать «Новый американец» – одни, чтобы насладиться чтением, другие, чтобы возмущаться: газета родилась с нашим приездом, она полностью отражала наши интересы, разноречивое отношение как к русским проблемам, так и к Америке.

«Число подписчиков и рекламодателей росло с каждым днем. В интеллигентных компаниях только о нас и говорили, – писал Довлатов. – Одновременно раздавались и негодующие выкрики: – Шпана! Черносотенцы! Агенты госбезопасности! Прислужники мирового сионизма! О нас писали крупнейшие американские газеты... Короче, шум стоял невообразимый».

Газета печатала авторов с диаметрально противоположными точками зрения, отвечая лишь за уровень дискуссий. Темы поднимались самые серьезные, включая полемику вокруг А. И. Солженицина. Какой замечательный скандал стоял вокруг газеты во время этой дискуссии! Это и был прорыв к демократии.

А также редакторы и журналисты «позволяли себе шутить, иронизировать.

И более того – смеяться... а главное, заметьте – над собой!» Одни «Колонки редактора», которые писал Довлатов, чего стоили! Иногда это были маленькие эссе на важные моральные темы, часто – полемического характера. Именно в колонках было больше всего издевательства над официозным пафосом, фальшью и скукой советских передовиц. Однажды Довлатов попросил всех сотрудников принести свои фотографии и составил из них «Колонку редактора». Одна бывшая партийная дама выговаривала мне свое возмущение: «Газета должна нас направлять! Она должна нас призывать!» Другой читатель писал: «Вы бы ещё о тараканах написали!» И Довлатов написал «передовицу» в защиту тараканов...

Газета росла и менялась вместе с иммигрантами третьей волны. Отсюда – и народная любовь. Приезжая в другие города на встречу с читателем, мы собирали огромную аудиторию. Эмигрировали Василий Аксенов, Владимир Войнович – редакция в полном составе встречала их в аэропорту: газета ощущала себя частью передовой русской культуры. Все новые иммигранты художествен-



Встреча Василия Аксенова в аэропорту. Слева направо: Г. Поляк, П. Вайль, С. Довлатов, А. Орлов, Е. Довлатова, В. Аксенов

Владимир Войнович и Сергей Довлатов



На юбилей «Нового американца». Нора Сергеевна Довлатова (мать) и Григорий Поляк (издатель, издательство «Серебряный век»)

ных и литературных профессий спешили объявиться в редакции. Когда в феврале 1981 года газета праздновала годовщину своего существования, это был буквально всенародный праздник. Ресторан «Сокол» с трудом вместил человек 900, которые приехали из разных городов Америки. Эрнст Неизвестный прислал в подарок картину...

Редакция переехала в более просторное помещение, обросла новыми журналистами и попутчиками. Росла подписка. И все-таки... И все-таки именно в этот период обнаружили все проблемы, которые привели газету к закрытию: неумение вести финансовые дела, неумение быть лояльными друг к другу. «Под нашими мятежными бородами обнаружили самые разные лица...»

Готовя к публикации свои колонки редактора, Довлатов писал: «Переписывать их я не решился. Ведь наши глупости, срывы, ошибки – это тоже история». История «Нового американца» закончилась с уходом Довлатова из газеты. То есть газета еще некоторое время существовала. Но без Довлатова «Новый американец» утратил главное, ради чего он создавался: «черты демократической альтернативной газеты. Он перестал быть свободной дискуссионной трибуной». (Несмотря на то, что там продолжали работать талантливые журналисты.)

Недавно мы с Александром Генисом говорили о газете. (Помимо всего прочего – сколько журналистов выросло, сформировалось, работая в газете! В том числе – журналист и писатель Генис, которого печатают и знают сегодня в одинаковой степени по обе стороны океана.) Генис перечитал газету сегодняшними глазами и пришел к выводу, что статьи Довлатова и тогда заметно выделялись на общем фоне. Значит, все было именно так.

Имеет ли сегодня кто-нибудь полный набор, все номера газеты?

Возможно, Елена Довлатова. Генис, оказалось, не имеет. «Ну, приходил каждый сотрудник, брал номер, когда было нужно, потом выкидывал... Кто тогда думал, что газета станет раритетом и некоторые собиратели русской культуры будут платить тысячи долларов даже за разрозненную подшивку?» Кто думал об этом в 1981 году? Мы работали. .

Мы работали почти бесплатно. То есть каждый как-то зарабатывал на стороне, у некоторых сотрудников зарабатывали жены... Я убирала офисы и расаживала гостей в очаровательном ресторанчике в Гринич-Вилледж, начала печататься в американской прессе (прежде всего – как фотограф). Сейчас это уже не важно. Мы делали газету. Это и была свобода, ради которой ехала в те годы творческая интеллигенция.

Эрнст Неизвестный
на юбилей газеты
подарил свою
картину



Григорий Поляк,
Эрнст Неизвестный
и Лев Штерн в студии
Э. Неизвестного

«Новый американец» в Новом Свете

В Нью-Йорке мы с дочерью оказались в 1978 году. В конце февраля 79-го к нам присоединились Сергей с матерью. К тому времени я уже больше полугода работала в старейшей и единственной русской ежедневной газете.

В своей биографии Довлатов писал, что полгода провалялся на диване в поисках своего места в новой жизни. Но это не совсем так. За эти полгода он успел опубликоваться в журнале «Время и мы», где старались не платить авторам. Опубликоваться в парижском «Континенте», который, наоборот, платил авторам, и даже очень хорошо по тем временам. Сделал несколько передач на радио «Свобода». И даже однажды поместил статью о Владимире Уфлянде в «Новом русском слове», где ее приняли сдержанно благосклонно. За это время был опубликован в «Нью-Йоркере» его первый рассказ, переведенный на английский.

Он также познакомился и подружился с творческим тандемом Вайль—Генис, которые работали в старейшей газете «Новое русское слово» метранпажами. И время от времени публиковали там свои статьи, получая гонорар как один автор.

Владельцем «НРС» был эмигрант первой волны с соответствующим отношением к представителям третьей. Его личные симпатии и антипатии довольно сильно искажали реальную картину русской жизни в Америке.

К тому времени в Нью-Йорке оказалось уже довольно много новых эмигрантов — профессиональных журналистов. Но опять-таки, из-за личных пристрастий главного редактора единственной газеты, не все имели возможность публиковаться там. Стали возникать разговоры о том, что нужна альтернативная газета. Среди тех, кто этой идеей заболел, были Женя Рубин и два журналиста из Ленинграда — Алексей Орлов и Борис Меттер.

Через несколько месяцев после приезда Сергея в Нью-Йорк Боря Меттер позвал нас на встречу, которая состоялась в квартире у Жени и Жанны Рубиных.

В тот вечер долго и шумно обсуждали, какой должна быть новая газета. Она должна была отображать все аспекты жизни эмигрантов, отвечать на множество вопросов: от того, на какие курсы по изучению языка пойти, где купить мебель, как найти врача, где снять квартиру, как провести досуг, какие книги и где купить или взять прочесть, до советов экономистов и врачей. Все материалы должны быть написаны живо, увлекательно и хорошим русским языком.

Но главное — газета должна отличаться от «Нового русского слова». И форматом, и версткой, и подходом к освещению одних и тех же событий.

Борис Меттер дал ей название – «Новый американец» (так в НАЯНе, нью-йоркской организации, принимавшей и опекавшей вновь прибывших, называли новых эмигрантов).

Не было никаких сомнений, какое место в газете займет каждый. Боря Меттер – президент. Евгений Рубин, очень популярный спортивный обозреватель и журналист из Москвы, – редактор. Орлов брал на себя политику, спорт и многое другое. Довлатов назначался в отдел культуры.

Почти ничего не понимая в экономических делах, но обсудив имеющиеся возможности, решили, что до поры до времени надо выпускать еженедельник. Слова «гонорарный фонд», «накладные расходы» заволаживали. Уж не помню, на каком основании, но предварительные расчеты позволили решить, что через полгода максимум газета станет ежедневной. А это повлечет за собой нормальные зарплаты, приличный уровень жизни.

Домой в этот вечер мы ехали окрыленные. Сергей уже в метро обсуждал план работы своего отдела. Придумывал рубрики. Планировал, каких авторов нужно привлечь и заинтересовать работой в газете.

В повести «Невидимая газета» Сергей описал этот период. Но написано это было уже с позиций так или иначе осмысленных, уже после завершения большого этапа.

Тогда же... Невозможно описать то состояние, те ощущения первых дней. Невозможно было без волнения думать о том, что ты нашел себе место в новой жизни. И не просто место, а возможность делать, что умеешь. И это не отупляющая физическая работа, а творческая. Все время хочу сказать «в достаточной степени», потому что Сергей не считал журналистику делом своей жизни. До сих пор это был способ заработать на жизнь. Потому что главным было – жить жизнью профессионального литератора, писателя.

Но в этот момент одно было равно другому.

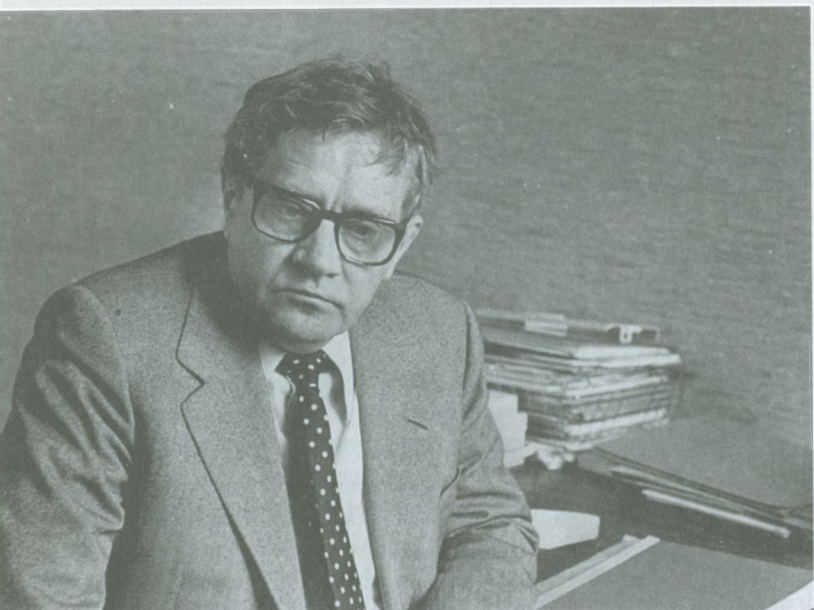
До выхода первого номера пришлось столкнуться со множеством сложностей.

В итоге подготовительный этап протянулся почти год. Не буду останавливаться здесь на том, что пришлось пережить каждому из четырех главных работников и их женам, которые мужественно переносили все невзгоды наравне с мужьями, поддерживая их, вселяя уверенность в том, что дело выйдет. И самые первые расходы на газету были поровну оплачены женами четырех журналистов.

Это было время равенства и единодушия.

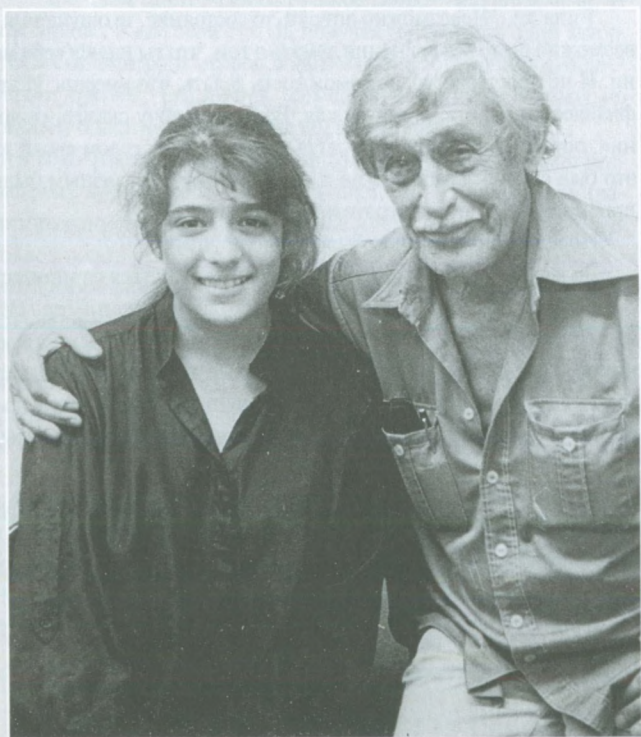
И вот 8 февраля 1980 года вышел первый номер «Нового американца». На второй полосе были опубликованы поздравления, присланные к этому дню Владимиром Максимовым, Валентином Турчиным, Виктором Некрасовым, Игорем Ефимовым, Владимиром Марамзиным.

В этом же номере в разделе «Круг чтения» был впервые опубликован рассказ «Мой дед Исаак».



Владимир Максимов

Виктор Некрасов
и Катя Довлатова



Через несколько недель, заразившись духом того невероятного энтузиазма, которым был пропитан каждый день работы «новых американцев», трое сотрудников «Нового русского слова» Лев Штерн, Петр Вайль и Александр Генис перешли в новую газету. И стало еще более шумно, и еще более ярко то настроение необычайного подъема, которое сопутствовало молодому изданию.

Но через какое-то время возникла некоторая напряженность в отношениях между журналистами, и при подготовке одиннадцатого номера произошел раскол. «Новый американец» в полном составе ушел от своего главного редактора Евгения Рубина.

Почти сразу коллектив редакции пополнился новыми постоянными сотрудниками. Это была Ляля Федорова, секретарь. Целый день она сидела в офисе на Юнион-сквер и отвечала на все телефонные звонки, прочитывала почту, приходившую в газету, сортировала письма, сообщала президенту и редактору о каждом подписчике. Нина Аловерт, художественные фотографии которой украшали первые страницы еженедельника. Именно она запечатлела в фотографиях хронику главных событий «Нового американца». Наташа Шарымова и Алик Батчан, журналисты, писавшие о кино и театральной жизни Нью-Йорка. Появился Наум Сагаловский, живущий в Чикаго, он создал в нашем еженедельнике новую рубрику, газету в газете — «Новый чикагоанец».

В какой-то момент, перестав быть автором «Нового русского слова», Марк Поповский стал сотрудником «Нового американца»...

На летучке, при обсуждении вышедшего двенадцатого номера и подготовке тринадцатого, Сергею Довлатову было предложено стать редактором.

В каждом номере на второй полосе Довлатов писал обращение к читателю, получившее название «Колонка редактора». Эти колонки казались настолько интересными, что люди начинали чтение каждого номера именно с них. И каждый раз гадали, о чем будет следующая.

Колонки в значительной степени определяли лицо газеты, ее отличие от «Нового русского слова» и от еженедельника «Новая газета», которую стал выпускать Рубин после того, как «Новый американец» ушел от него. Колонки редактора в большой степени создавали атмосферу участия читателя в жизни газеты.

Вскоре газету стали в простоте называть «довлатовской». С его именем связан наиболее значительный период ее существования. Хотя все члены редакции были известны читателям и, не побоюсь сказать этого, все были любимы. Отношение к газете было почти личным. Каждый номер обсуждался не только сотрудниками на летучках. Читатели выражали свое мнение по телефону, писали письма, заходили в редакцию. Равнодушных в то время не было.

И если критики иногда указывали на некоторую облегченность в подаче тем, им можно было противопоставить разнообразие и доступность всего публикуемого на страницах еженедельника. Там можно было найти все: политический обзор за

неделю, обзор культурной жизни, литературное приложение, то есть увлекательное чтение, статьи экономистов и многое другое. Было много информации о самом необходимом. Популярностью среди эмигрантов третьей волны газета пользовалась необычайной. Это была, если можно так выразиться, народная газета.

Примером тому служит такая история. «Новый американец» одно время набирался в типографии при украинской газете «Свобода». Денег, как всегда, не хватало, и редакция сильно задолжала типографии. Украинцы отказались работать в долг. И вот в день, когда надо было делать верстку, читать корректуру и сдавать номер в печать, все мы сидели по домам у телефонов и ждали распоряжений Бори Меттера. Только в середине дня он сообщил, что ему удалось в очередной раз уломать руководство типографии, они согласились подождать с уплатой долга. Мы сорвались с мест, помчались в типографию, ожидая, что придется провести ночь в работе. Каково же было наше удивление, когда, приехав, мы узнали, что наборщица тайком от своего начальства сделала набор. Все это поднимало дух, давало силы и укрепляло нас всех в намерении выстоять.

За время работы в «Новом американце» Довлатов, кроме чисто журналистских материалов, опубликовал множество своих рассказов, статей, докладов, прочитанных им на нескольких международных конференциях славистов. Большое количество рассказов, вошедших в книгу «Наши», было впервые опубликовано в газете.

С первых шагов существования «Новый американец» привлек к себе внимание. О нем писали в американской прессе, была сделана передача на четвертом канале американского телевидения, были сняты фильмы немецкой и шведской киногруппами. Думаю, этому способствовало то, что к тому времени Сергей Довлатов успел опубликоваться в одном из очень престижных журналов Америки «Нью-Йоркере» и в «Ти-Ви-гайде», — одном из самых популярных, тиражом в несколько миллионов. И читающие американцы обратили на это внимание. На страницах журнала «Сатердей ревью» появилась статья о «Новом американце» с фотографиями Нины Аловерт.

К тому времени, когда меня уволили из «Нового русского слова», в «Новом американце» появилась первая наборная машина. И по 12 часов в день я в одиночестве сидела в огромном помещении украинской типографии в Нью-Джерси и набирала тексты. В конце недели там собиралась уже вся редакция. Начинались чтение корректуры и верстка.

Когда через год «Новый американец» отмечал свой первый юбилей, на нем собралось около тысячи человек не только из Нью-Йорка и городов вокруг него, но и из других штатов Америки. При этом огромное количество читателей и почитателей не смогли попасть. Мест оказалось мало.

За этот год еженедельник успел разрастись, поменял адрес. Был снят просторный офис в центре Манхэттена. Как ни странно, через дорогу от «Нового



Нина Аловерт — автор всех фотографий в этой книге



В типографии газеты «Свобода»

русского слова». Появилась комната для наборщиков, которых было уже два. Вайль и Генис, верставшие газету, тоже теперь имели свое помещение, оснащенное нужным оборудованием. Был и кабинет редактора, которым он никогда не пользовался, там разместился книжный склад. Имелся кабинет и у президента — Бориса Меттера, на большом столе он устроил живописный беспорядок из набора курительных трубок и неразобранных деловых бумаг. В большой общей комнате сидели наш секретарь, три рекламных агента и постоянно находилась куча всякого знакомого и незнакомого люда. Казалось, скоро сбудется мечта всех сотрудников — газета может стать ежедневной.

Но... законы бизнеса учитываются в газетном деле в не меньшей степени, чем законы творческие. Тех, кто пишет, в газете было много, а деловых людей не было. И при выросшей до значительных размеров подписке газета всегда была в убытке.

К тому же «Новое русское слово», совершенно справедливо боявшееся утратить положение монополиста, шло на всевозможные уловки, чтобы осложнить положение конкурента. В ход шло все. Авторам ежедневной газеты недвусмысленно давали понять, что они не могут публиковаться в обоих изданиях. И авторам, и рекламодателям часто намекали, что в еженедельнике работают сотрудники КГБ. И так в продолжение всего срока существования «Нового американца».

В конце второго года накопившаяся усталость стала отражаться на отношениях между сотрудниками. Опять произошел раскол. Опять все сотрудники ушли, теперь от президента — Бориса Меттера. «Новый американец» нашел спонсора в лице хозяина «Руссики» (издательство и магазин), но потерял право на название, которое принадлежало Меттеру. Газета стала называться «Новый свет». Но рядом с номером нового издания в скобках помещался номер «Нового американца», потому что каждый надеялся, что прежнее название удастся вернуть тем, кому оно по праву принадлежит. То есть творческому коллективу.

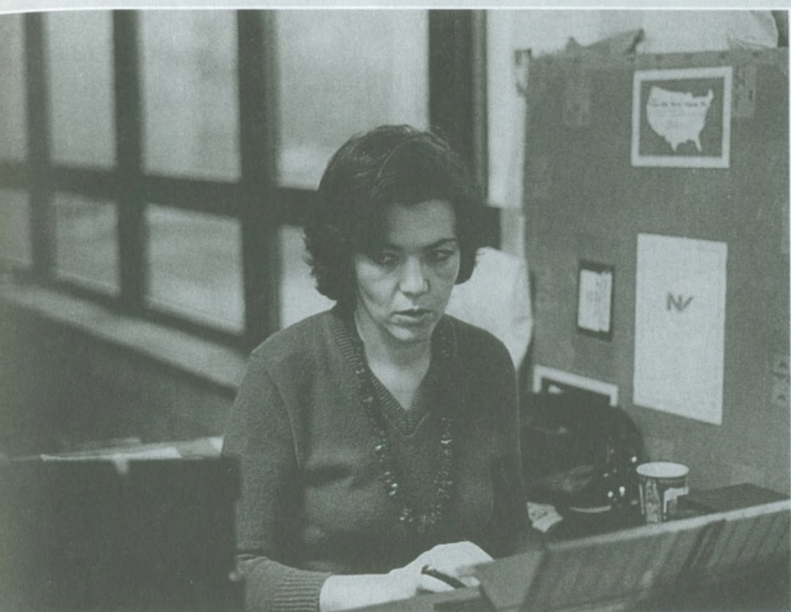
Так оно и произошло. Через 9 недель газета стала снова выходить с названием «Новый американец».

Я ушла из «Нового американца» вместе со всеми, когда произошел второй раскол. Но, когда снова начал выходить «Новый американец», я в него уже не вернулась, потому что у нас с Сергеем родился сын. А когда нашему сыну было два месяца, Сергей ушел из «Нового американца». Уход был обусловлен нарушением издателем договора не вмешиваться в творческие дела. Главный редактор демонстративно ушел из своей газеты.

Закончился напряженный, но чрезвычайно интересный период, про который Довлатов говорил, как о лучшем времени в жизни, называя газету своим детищем.

Самый яркий период существования «Нового американца» — первые два с небольшим года, когда он родился и рос вместе с теми, кто его основал, и вместе с ними менялся.

Существование этой газеты становится теперь фактором историческим.



Елена Довлатова



Президент Борис Меттер

КАТЕРИНА ДОВЛАТОВА

Повторяю, это были лучшие дни моей жизни.

С. Довлатов, «Невидимая газета»

Перед вами та часть жизни Сергея Довлатова, которая является журналистским периодом, периодом его работы в газете «Новый американец». В этом издании собраны все «колонки редактора», статьи, интервью, отклики на злобу дня. Мне хотелось ознакомить российского читателя с Сергеем Довлатовым – нью-йоркским журналистом. Довлатов работал в многотиражках и до того, в Таллинне и Ленинграде, но это была своя газета, газета эмигрантов третьей волны, газетой без надзора органов и партии. Это была независимая газета.

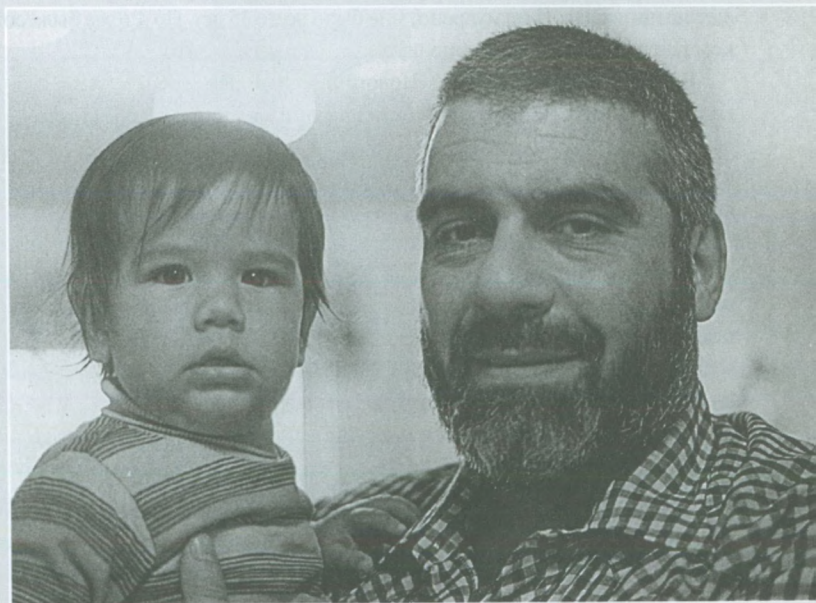
Об этом периоде жизни отца в России знают мало. За последние 15 лет, годы бурного интереса к жизни писателя, мне задали множество вопросов. И почти ни разу не спросили про тот период жизни, когда он был редактором русскоязычного нью-йоркского еженедельника. Мне трудно судить о жизни отца до моего рождения, но те два года, что он создавал «самую объемистую русскую газету»¹, я могу смело сказать – были самыми насыщенными и в его жизни, и в жизни нашей семьи в целом. В это время у нас дома произошли большие перемены: родился мой брат Коля. Первый Довлатов, ставший гражданином США.

В этом сборнике, который вы держите в руках, отражен именно этот период жизни Сергея Довлатова. Довлатов-писатель известен сейчас многим. О Довлатове-человеке все, кто считает себя вправе, уже рассказали подробно. А вот о работе Довлатова в газете почти не говорят. Вероятно, останавливает то, что Довлатов когда-то сказал сам. Что «когда он занимается журналистикой, задействовано другое полушарие его мозга», что у него меняется почерк, когда он «халтурит». И все же это не совсем так. Ведь журналистика бывает разная. «Новый американец» не был халтурой. Не был он и литературой, но он был детищем Сергея Довлатова. Отец создавал эту газету сам. Его интересовал каждый аспект издательского дела, от содержания номера до технических возможностей фотоувеличителя. Его так же интересовали проблемы каждого сотрудника. Ведь все жили как одна семья, и неудачи, а так же радости одного отражались на всем коллективе. Сначала работали в тесноте и на протяжении долгих месяцев добровольно работали бесплатно. Такое случается только с друзьями, и только, если все одержимо одной идеей. За те два года, 1980–1981, что выходил «довлатовский америка-

¹ «НА», № 73. Из выступлений на конференции в Лос-Анджелесе.



Катерина Довлатова



Сергей Довлатов с сыном Николаем

нец», «...мы двадцать раз горели. Пятнадцать раз закрывали лавочку. Четырежды умирали и возрождались»².

Все это происходило со сравнительно недавно приехавшими эмигрантами. Это были первые шаги в новой, непонятной стране. Первый опыт. Газета, которую они сами создали. После жизни в стране, где о таком даже помыслить было невозможно. Тогда все было внове, а это всегда оставляет самые яркие впечатления. «Это — первые робкие шаги в нескончаемых лабиринтах американского бизнеса. Это — невнятный лепет освобожденной младенческой речи. Это — слабые, едва уловимые толчки независимого сознания»³.

Дела шли не очень гладко. Были ссоры и перемирия. Сплетни, обиды и объятия. Недаром в сотом, юбилейном, номере, всего за полтора месяца до ухода из газеты, отец написал: «И все-таки каждая неделя завершается праздником. Выходит "Новый американец". А ведь это — двести машинописных страниц. Объем "Капитанской дочки". Пятьдесят две "Капитанских дочки" в год!..»⁴.

Было все — и плохое, и хорошее. В какой-то момент плохое перевесило. Так бывает. Но и про это уже писали. Написал об этом и сам отец, в «Невидимой газете». Но ошибочно было бы думать, что художественное произведение полностью совпадает с действительностью. Особенно у Довлатова. В те годы я многого еще не понимала. И не мудрено, мне было всего 15 лет. Но я тоже была сотрудником газеты. И даже регулярно получала зарплату.

В моей памяти рождение «Нового американца» ассоциируется с огромным количеством телефонных звонков. Аппарат стоял в прихожей, которая была как бы продолжением гостиной, а перед ним кресло. И весь день папа был прикован к трубке — стоя, сидя, нервно подергивая ногой... мешая мне смотреть телевизор, который находился в гостиной.

Вероятно, из желания занять меня делом, а заодно и отвлечь от телепередач с «записанным смехом» (папа не мог принять юмора, где зрителю диктуют, в каких местах смеяться), он предложил мне переводить телевизионную программу для газеты. Каждую неделю, после школы, я ездила в Манхэттен, в редакцию. Часто возвращалась домой с отцом. Годы «Нового американца» были последними, когда я принимала активное участие в делах родителей.

С некоторым опозданием я наконец, ассимилировалась в Нью-Йорке, приобрела друзей своего возраста, и стала просто «американкой». Газета осталась в прошлом, как и проблемы того времени.

² «НА», № 100.

³ «НА», № 53.

⁴ «НА», № 100.



«Новый американец» становится «Новым светом». Слева направо:
К. Довлатова, С. Довлатов, Г. Поляк, А. Генис, А. Батчан (сидит), Л. Штерн,
П. Вайль, М. Поповский, Е. Довлатова, Г. Рыскин



Именно в «Новом американце» появились главы из произведений, хорошо известных впоследствии российскому читателю, таких как «Зона», «Наши», «Невидимая газета», «Филиал»

И вот недавно мама перебирала подборку «Нового американца», которую отец полностью сохранил. С первого по 107-й номер. Я стала читать колонки редактора и публицистику. Меня привлекли в них не только папина стилистика и юмор, но и история газеты, через которую прослеживается и история нашей иммиграции. История и моей иммиграции.

Сейчас, когда я обрела некую дистанцию, как временную, так и возрастную, я вижу, как наивны были некоторые суждения отца по поводу Америки. Как мало мы все тогда о ней знали и еще меньше понимали. И я вижу, как тяжело ему давалась эта газета. На какое количество личных компромиссов ему пришлось пойти, чтобы спасти «Новый американец»! К каким ухищрениям приходилось прибегать, чтобы не ущемить чьего-то гипертрофированного чувства национального достоинства. Сколько же надо было иметь терпения и, главное, чувства юмора. Зачем, как ни ради того, чтобы газета выжила. Зачем, если не потому, что любишь!

Папа любил «Новый американец». Он любил работу главного редактора и все, что было с ней связано, и очень ответственно относился к своим обязанностям. В «Новом американце» также появились прообразы многих художественных персонажей, которые вошли в ранние варианты его произведений. Появились в «Новом американце» и главы из произведений, известных российскому читателю, как «Зона» и «Наши», «Невидимая газета» и «Филиал».

Сравнив литературное творчество с первоисточником, можно наблюдать эволюцию довлатовского слога, довлатовского стиля. Становится видно, какую работу он проделал, чтобы добиться той отточенности, того изящества, легкости и чистоты, которые были присущи ему как литератору. Но об этом пусть напишут профессионалы.

Петр Вайль и Александр Генис написали о том, каким им запомнился Довлатов в газете. Каждый запомнил какой-то случай, особенно характерный, «довлатовский». Нина Аловерт, которую тогда (как, впрочем, и сейчас), невозможно было увидеть без гирлянды фотоаппаратов, предоставила мне свой фотоархив и вспомнила об отце все то, что оставило след в ее памяти. Это отчетливо видно в ее снимках, где не пропущено ни одно мероприятие, ни одна встреча. Где все еще молодые, красивые и дружные.

Моя мама, Лена Довлатова, написала о том, как это все происходило. Как зародилась идея делать газету, как работала ее редакция, как «довлатовский американец» закончил свое существование.

Я бы хотела поблагодарить всех, кто откликнулся на мою просьбу поделиться воспоминаниями об отце в период «Нового американца». В том числе и за те истории, которые, по тем или иным причинам, не вошли в этот сборник, но которые не менее ценны и еще больше сблизили меня с отцом.

А также выразить благодарность издательству «Махаон» за поддержку и энтузиазм, с которым они отнеслись к этому сборнику и творчеству Довлатова. Спасибо, Александр. Спасибо, Аркадий. Спасибо, Елена.

Мне бы хотелось закончить свое предисловие текстом из «Колонки редактора», где Довлатов сам объясняет, что они собой представляют, откуда этот жанр, который стал прообразом его радиопередач для радио «Свобода»:

«Колонки редактора появились не от хорошей жизни. Необходимо было что-то доказывать уважаемой публике. О чем-то просить. Освещать какие-то подробности редакционного быта. Короче — быть посредником между читателями и газетой.

Постепенно отношения с читателями наладились. А колонки тем не менее сохранились. Речь в них шла о чем угодно.

< . . . >

Это было короткое сочинение на вольную тему. Иногда веселое, иногда печальное. Как говорится — взгляд и нечто... Речь без повода... Случайный разговор на остановке...

Встречаются утром два человека:

— Как поживаешь?

— Да ничего. А ты?

— А у меня, брат, произошла такая история...

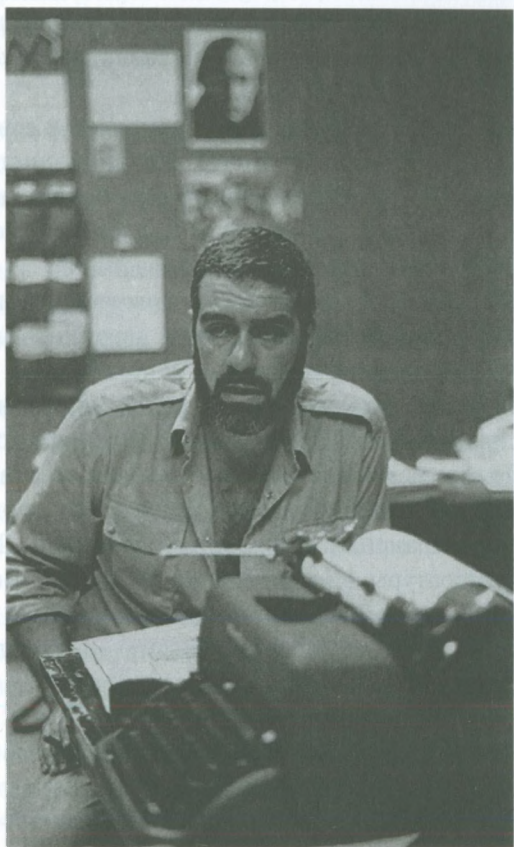
Поговорили и разошлись. Впереди наполненный событиями день. Содержательные разговоры, деловые встречи, ответственные заседания...

Потом неожиданно задумываешься:

"А вдруг самое главное было произнесено утром? В этом случайном разговоре на троллейбусной остановке? В грохоте нью-йоркского метро?.."»⁵.

⁵ «НА», № 71.

Невидимая газета



Предисловие

Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан. (Если верить, что Земля действительно круглая.)

Мы — это наше безумное семейство, где каждый вечно прав. В конце 79-го года мы дружно эмигрировали. Хотя атмосфера взаимной правоты не очень-то располагает к совместным действиям.

У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена — единственная христианка в басурмацкой семье — ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают.

Последний год в Союзе был довольно оживленным. Я не работал. Жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией — Миркин.

Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу. Мы боялись выпускать ее из дома.

Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Каляевский спецприемник. Я обвинялся в тунеядстве, притонодержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения.

Как говорил Зошенко, тюрьма не место для интеллигентного человека. Худшее, что я испытал там, — необходимость оправляться публично. (Хотя некоторые проделывали это с шумным, торжествующим воодушевлением...)

Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил:

- Что у тебя болит?
- Живот и голова.

Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес:

- Это — от головы. А это — от живота. Да смотри не перепутай...

Выпустили меня на девятые сутки. Я так и не понял, что случилось. Забрали без повода и выпустили без объяснений.

Может, действовали сообщения в западных газетах. Да и по радио упоминали мою фамилию. Не знаю...

Говорят, литовские математики неофициально проделали опыт. Собрали около тысячи фактов загадочного поведения властей. Заложили данные в кибернетическую машину. Попросили ее дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение: намеренный алогизм... А затем, по слухам, добавила короткое всеобъемлющее ругательство...

Все это кажется мне сейчас таким далеким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса.

Пятый год я разгуливаю вверх ногами. И все не могу к этому привыкнуть.

Ведь мы поменяли не общественный строй. Не географию и климат. Не экономику, культуру или язык. И тем более — не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего.

Я выбрал здешние печали и, кажется, не ошибся. Теперь у меня есть все, что надо. У меня есть даже американское прошлое.

Я так давно живу в Америке, что могу уже рассказывать о своих здешних печалях. Например, о том, как мы делали газету. Недаром говорят, что Америка — страна зубных врачей и журналистов.

Оказалось, быть русским журналистом в Америке — нелегкое дело. Зубным врачам из Гомеля приходится легче.

Однако мы забежали вперед.

ДОМ

Мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка. В одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами.

У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионное бюро. Свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и проститутки.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Напротив моего дома висит объявление:

«Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Риту или Яшу. Также продается итальянский столик на колесах...»

Кроме нас, в этом районе попадают американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях.

Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это — бестактность.

К неграм мы относимся с боязливым пренебрежением. Мы убеждены, что все они насильники и бандиты. Даже косоглазая Фира боится изнасилования. (Я думаю, зря.) Она говорит:

— Зимой и летом надеваю байковые рейтузы...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Союзе к чернокожим относятся любовно и бережно. Вспоминаю, как по телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр, черный, как вакса, дрался с белокурым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил:

«Чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой камке на трусах...»

Как-то мы с Фирой разговорились возле лифта. Фира пожаловалась на свое одиночество. Давала, говорит, объявление в газету — никакого эффекта. Все приличные мужчины женаты. А годы идут...

Мне захотелось чем-то ее утешить.

— Ты, — говорю, — еще встретишь хорошего человека. Не отчаивайся. У меня с женой тоже были всякие неприятности. Мы даже чуть не развелись. А потом все наладилось.

— Я твою жену хорошо понимаю, — откликнулась Фира, — каж-

дая русская баба в Америке держится за свое говно. В любом случае — чужое еще хуже. Вот попадетс какой-нибудь шварц...

Кстати, негры в этом районе — люди интеллигентные. Я думаю, они нас сами побаиваются.

Однажды Хася Лазаревна с четвертого этажа забыла кошелек в аптеке. И черный парень, который там работал, бежал за Хасей метров двести. Будучи настигнутой, Хася так обрадовалась, что поцеловала его в щеку.

Негр вскрикнул от ужаса. Моя жена, наблюдавшая эту сцену, потом рассказывала:

— Он, знаешь, так перепугался! Впервые я увидела совершенно белого негра...

В общем, район у нас спокойный. Не то что Брайтон или даже Фар Раковой. Многие из русских эмигрантов научились зарабатывать приличные деньги. Наиболее удачливые купили собственные дома.

А неудачники поняли главный экономический закон. Хорошо здесь живет миллионерам и нищим. (Правда, миллионером в русской колонии считают любого терапевта, не говоря о дантистах.) Много и тяжело работают представители среднего класса. Выше какого-то уровня подняться нелегко. И ниже определенной черты скатиться трудно.

Самые мудрые из эмигрантов либо по-настоящему разбогатели, либо вконец обнищали. А мы с женой все еще где-то посередине. Сыты, одеты, бывали в Европе. Меню в ресторане читаем слева направо.

А ведь первую кровать я отыскал на мусорной свалке. Тогда, четыре года назад, мы оказались в совершенно пустой квартире. Хорошее было время...

МЫ СТРОИМ ПЛАНЫ

Перед отъездом все мои друзья твердили:

— Главное, вырваться на свободу. Бежать из коммунистического ада. Остальное не имеет значения.

Я задавал им каверзные вопросы:

— Что же ты будешь делать в этой фантастической Америке? Кому там нужен русский журналист?

Друзья начинали возмущаться:

— Наш долг — рассказать миру правду о коммунизме!

Я говорил:

— Святое дело... И все же, как будет с пропитанием?

В ответ раздавалось:

— Если надо, пойду таскать мешки... Тарелки мыть... Батрачить...

Самые дальновидные неуверенно произносили:

— Я слышал, в Америке можно жить на государственное пособие...

Лишь немногие действовали разумно, то есть — постигали английский, учились водить машину. Остальные в лучшем случае запапались дефицитными товарами.

СОЛО НА УНДЕРБУДЕ

Мой друг Шулькевич вывез из Ленинграда семь ратиновых отрезов на пальто. Впоследствии на Западе сшил, говорят, из них чехол для микроавтобуса...

И все же большинство моих друзей главным образом рассуждало на философско-политические темы. Был такой популярный мотив в рассуждениях:

— Мы уезжаем ради своих детей. Чтобы они росли на свободе. Забыли про ужасы тоталитаризма...

Я соглашался, что это веский довод. Хотя сам уезжал и не ради детей. Мне хотелось заниматься литературой.

Знакомый журналист Дроздов говорил мне:

— Лично я, старик, устроен неплохо! Но дети! Я хочу, чтобы Димка, Ромка и Наташка выросли свободными людьми. Ты меня понимаешь, старик?

Я вяло бормотал:

— Что мы знаем о своих детях? Как можно предвидеть, где они будут счастливы?!

Дроздов готовился к отъезду. Научил своих бойких детишек трем американским ругательствам. Затем произошло несчастье.

Жена Лариса уличила Дроздова в мимолетной супружеской измене. Лариса избила мужа комнатной телевизионной антенной, а главное — решила не ехать. Детей по закону оставили с матерью. Заметно повеселевший Дроздов уехал без семьи.

Теперь он говорил:

— Каждый из нас вправе распоряжаться лишь собственной жизнью. Решать что-либо за своих детей мы не вправе.

О Дроздове мы еще вспомним, и не раз...

Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться к собственному рождению. Невозможно подготовиться к гробной жизни. Можно только смириться.

Поэтому мы ограничивались разговорами.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой знакомый Щепкин работал синхронным переводчиком в ленинградском Доме кино. И довелось ему переводить американский фильм. События развивались в Нью-Йорке и Париже. Действие переносилось туда и обратно.

Причем в картине был использован довольно заурядный трюк. Вернее, две банальные эмблемы. Если показывали Францию, то неизменно возникала Эйфелева башня. А если показывали Соединенные Штаты, то Бруклинский мост. Каждый раз Щепкин педантично выговаривал:

«Париж... Нью-Йорк... Париж... Нью-Йорк...»

Наконец он понял, что это глупо, и замолчал.

И тогда раздался недовольный голос:

«Але! Какая станция?»

Щепкин немного растерялся и говорит:

«Нью-Йорк».

Тот же голос:

«Стоп! Я выхожу...»

ТЕЛЕЖКА С ХЛЕБНЫМ КВАСОМ

Как я уже говорил, наш район — Форест-Хиллс — считается довольно изысканным. Правда, мы живем в худшей его части, на границе с Короной.

Под нашими окнами — Сто восьмая улица. Выйдешь из дома, слева — железнодорожная линия, мост, правее — торговый центр. Чуть дальше к северо-востоку — Мидоу-озеро. Южнее — шумный Квинс-бульвар.

Русский Форест-Хиллс простирается от железнодорожной ветки до Шестидесятых улиц. Я все жду, когда здесь появится тележка с хлебным квасом. Не думаю, что это разорит хозяев фирмы «Пепси-кола».

По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их разноцветные костюмы. Все они — местные жители. Русские эмигранты такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать. Мы единственные в Америке завтракаем как положено. Едим, например, котлеты с макаронами.

Детей мы наказываем за одно-единственное преступление. Если они чего-то не доели...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

*Наша шестилетняя соседка Лиля говорит:
«Пока жива мама, я должна научиться готовить».*

Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев шесть, как подобает российскому литератору, валялся на диване.

Какие-то деньги нам выдавали благотворительные организации. Какую-то мебель и ворох одежды притащили американские соседи. Кроме того, помогали старые друзья, уехавшие раньше нас. Они давали нам ценные практические указания.

Потом моя жена довольно быстро нашла работу. Устроилась машинисткой в русскую газету «Слово и дело». Это была старейшая и

в ту пору единственная русская газета на Западе. Редактировал ее бывший страховой агент, выпускник Таганрогского коммерческого училища — Боголюбов. (Настоящую его фамилию — Штемпель — мы узнали позже.)

Моя жена зарабатывала около ста пятидесяти долларов в неделю. Тогда нам казалось, что это большие деньги. Домой она возвращалась поздно. Мои накопившиеся за день философские соображения выслушивала без особого интереса.

Во многих русских семьях происходила такая же история. Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах. Интеллигентные жены кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках.

Почему-то жены легче находили работу. Может, у наших жен сильнее чувство ответственности? А нас просто сдерживает бремя интеллекта? Не знаю...

Я валялся на диване и мечтал получить работу. Причем какую угодно. Только непонятно, какую именно. Кому я, русский журналист и литератор, мог предложить свои услуги? Тем более что английского я не знал. (Как, впрочем, не знаю и теперь.)

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то мы с женой случайно оказались в зоомагазине. У двери висела клетка с попугаем. Я почему-то решил, что это какаду. У попугая была семитская физиономия, зеленые крылья, желтый гребень и оранжевый хвост. Неожиданно он что-то выкрикнул противным хриплым голосом.

«Обрати внимание, — сказала моя жена, — даже какаду говорит по-английски лучше нас...»

Шесть месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дивана, и все разноцветные.

Излюбленным нашим занятием было — ругать американцев.

Американцы наивные, черствые, бессердечные. Дружить с американцами невозможно. Водку пьют микроскопическими дозами. Все равно что из крышек от зубной пасты...

Мировые проблемы американцев не волнуют. Главный их девиз — «Смотри на вещи просто!». И никакой вселенской скорби!..

С женой разводятся — идут к юристу. (Нет чтобы душу излить товарищам по работе.) Сны рассказывают психоаналитикам. (Как будто им трудно другу позвонить среди ночи.) И так далее.

В стране беспорядок. Бензин дорожает. От чернокожих нет спасения. А главное — демократия под угрозой. Не сегодня, так завтра пошатнется и рухнет. Но мы ее спасем! Расскажем всему миру правду о тоталитаризме. Научим президента Картера руководить страной. Дадим ему ряд полезных указаний.

Транзисторы у чернокожих подростков — конфисковать! Кубу в срочном порядке — оккупировать! По Тегерану водородной бомбой — хлоп! И тому подобное...

Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Каляевского спецприемника мне нравилось решительно все. И нравится до сих пор.

Единственное, чего я здесь категорически не принимаю, — спички. (Как это ни удивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих?!) Остальное нам с женой более или менее подходит.

Мне нравилась Америка. Просто ей было как-то не до меня...

ИЩУ РАБОТУ

Как-то раз моя жена сказала:

— Зайди к Боголюбову. Он хитрый, мелкий, но довольно симпатичный. Все-таки закончил царскую гимназию. Может, возьмет тебя на работу литсотрудником или хотя бы корректором. Чем ты рискуешь?

И я решил — пойду. Когда меня накануне отъезда забрали, в газете появилась соответствующая информация. И вообще, я был чуть ли не диссидентом.

Жена меня предупредила:

— Гостей у нас встречают по-разному. В зависимости от политической репутации. Самых знаменитых диссидентов приглашают в итальянский ресторан. С менее известными Боголюбов просто разговаривает в кабинете. Угощает их растворимым кофе. Еще более скромных гостей принимает заместитель редактора — Троицкий. Остальных вообще не принимают.

Я забеспокоился:

— Кого это вообще не принимают?

— Ну тех, кто просит денег. Или выдает себя за кого-то другого.

— Например, за кого?

— За родственника Солженицына или Николая Второго... Но больше всего их раздражают люди с претензиями. Те, кто недоволен газетой. Считается, что они потворствуют мировому коммунизму... И вообще, будь готов к тому, что это — довольно гнусная лавочка.

Моя жена всегда преувеличивает. Шесть месяцев я регулярно читал газету «Слово и дело». В ней попадались очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был довольно убогим. Таким языком объяснялись лакеи в произведениях Гоголя и Достоевского. С примесью нынешней фельетонной риторики. Например, без конца мне встречался такой оборот: «...с энергией, достойной лучшего применения...» А также: «Комментарии излишни!».

При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения «я». Использовал, например, такую формулировку: «Пишущий эти строки».

Но все это были досадные мелочи. А так — газета производила далеко не безнадежное впечатление.

И я пошел.

Редакция «Слова и дела» занимала пять комнат. Одну большую и четыре поменьше. В большой сидели творческие работники. Она была разделена фанерными перегородками. В остальных помещались: главный редактор, его заместитель, бухгалтер с администратором и техническая часть. К технической части относились наборщики, метранпажи и рекламные агенты...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Рекламное объявление в газете «Слово и дело»:

«Дипломированный гинеколог Лейбович. За умеренную плату клиент может иметь все самое лучшее! Аборт, гарантированное установление внематочной беременности, эффективные противозачаточные таблетки...»

Встретили меня по низкому разряду. То есть разве что не выпроводили. Пригласили в кабинет заместителя редактора. А потом уже туда заглянул и сам Боголюбов. Видимо, редакция избрала для меня какой-то промежуточный уровень гостеприимства. Кофе не предложили.

Мало того, заместитель редактора спросил:

— Надеюсь, вы завтракали?

Вопрос показался мне бестактным. Точнее, обескуражила сама формулировка, интонация надежды. Но я кивнул.

Могу поклясться, что заместитель редактора оживился. Это был высокий, плотный и румяный человек лет сорока. Его манеры отличались той степенью заурядной безупречности, которая рождает протест. Он напоминал прогрессивного горкомовского чиновника эпохи Хрущева. В голосе его звенели чеканные требовательные нотки:

— Устроились?.. Прекрасно!.. Квартирu сняли?.. Замечательно!.. Мамаша на пенсии?.. Великолeпно!.. Ваша жена работает у нас?.. Припоминаю... А вам советую поступить на курсы медсестер...

Очевидно, я вздрогнул, потому что заместитель добавил:

— Вернее, медбратьев... Короче — медицинских работников среднего звена. Что поможет вам создать материальную базу. В Америке это главное! Хотя должен предупредить, что работа в госпитале — не из легких. Кому-то она вообще противопоказана. Некоторые теряют сознание при виде крови. Многим неприятен кал. А вам?

Он взглянул на меня требовательно и строго. Я начал что-то вяло бормотать:

— Да так, — говорю, — знаете ли, не особенно...

— А литературу не бросайте, — распорядился Троицкий, — пишите. Кое-что мы, я думаю, сможем опубликовать в нашей газете.

И потом, уже без всякой логики, заместитель редактора добавил:

— Предупреждаю, гонорары у нас более чем скромные. Но требования — исключительно высокие...

В этот момент заглянул Боголюбов и ласково произнес:

— А, здравствуйте, голубчик, здравствуйте... Таким я вас себе и представлял!..

Затем он вопросительно посмотрел на Троицкого:

— Это господин Довлатов, — подсказал тот, — из Ленинграда. Мы писали о его аресте.

— Помню, помню, — скорбно выговорил редактор, — помню. Отлично помню... Еще один безымянный узник ГУЛАГа... — (Он так и сказал про меня — безымянный!) — Еще одно жертвоприношение коммунистическому Молоху... Еще один свидетель кровавой агонии большевизма...

Потом с еще большим трагизмом редактор добавил:

— И все же не падайте духом! Религиозное возрождение ширится! Волна протестов нарастает! Советская идеология мертва! Тоталитаризм обречен!..

Казалось бы, редактор говорил нормальные вещи. Однако слушать его почему-то не хотелось...

Редактору было за восемьдесят. Маленький, толстый, подвижный, он напоминал безмерно истаскавшегося гимназиста.

Пережив знаменитых сверстников, Боголюбов автоматически возвысился. Около четырехсот некрологов было подписано его фамилией. Он стал чуть ли не единственным живым бытописателем довоенной эпохи.

В его мемуарах снисходительно упоминались — Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представляли заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, Боголюбов писал:

«...Глубокой ночью мне позвонил Иван Бунин...»

Или:

«...На перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шагал...»

Или:

«...В эту бильярдную меня затащил Набоков...»

Или:

«...Боясь обидеть Рахманинова, я все-таки зашел на его концерт...»

Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали Боголюбова. Хотя почему-то в своих мемуарах его не упомянули.

Лет тридцать назад Боголюбов выпустил сборник рассказов. Я их прочел. Мне запомнилось такое выражение:

«Ричарду улыбалась дочь хозяина фермы, на которой он провел трое суток...»

В разговоре Боголюбов часто использовал такой оборот:

«Я хочу сказать только одно...» За этим следовало: «Во-первых... Кроме того... И наконец...»

Боголюбов оборвал свою речь неожиданно. Как будто выключил заезженную пластинку. И тотчас же заговорил опять, но уже без всякой патетики:

— Знаю, знаю ваши стесненные обстоятельства... От всей души желал бы помочь... К сожалению, в очень незначительных пределах... Художественный фонд на грани истощения... В отчетном году пожертвования резко сократились... Тем не менее я готов выписать чек... А вы уж сообразовайте дать расписку... Искренне скорблю о мизерных размерах вспомоществования... Как говорится, чем богаты, тем и рады...

Я набрался мужества и остановил его:

— Деньги не проблема. У нас все хорошо.

Впервые редактор посмотрел на меня с интересом. Затем, едва не прослезившись, обронил:

— Ценю!

И вышел.

Троицкий в свою очередь разглядывал меня не без уважения. Как будто я совершил на его глазах воистину диссидентский подвиг.

О работе мы так и не заговорили. Я попрощался и с облегчением вышел на Бродвей.

ОСТРОВ

Три города прошли через мою жизнь. Первым был Ленинград.

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином.

Такие города есть в любой приличной стране. (В Италии — Милан. Во Франции — Лион. В Соединенных Штатах — Бостон.)

Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России...

Следующим был Таллин. Некоторые считают его излишне миниатюрным, кондитерским, приторным. Я-то знаю, что пирожные эти — с начинкой.

Таллин — город вертикальный, интровертный. Разглядываешь готические башни, а думаешь — о себе.

Это наименее советский город Прибалтики. Штрафная переписка между Востоком и Западом.

Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад. Третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк.

Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще безмятежен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп. Готов облагодетельствовать тебя, но способен и разорить без минуты колебания.

Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии.

Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы школьной геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов.

Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда, развлечений и гибели.

Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке.

Случись революция — нечего будет штурмовать.

Здесь нет ощущения места. Есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь — здесь есть угол и для тебя.

Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну...

МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ

В нашем доме поселилось четверо бывших советских журналистов. Первым занял студию Лева Дроздов. Затем с его помощью нашел квартиру Эрик Баскин. Мы с женой поступили некрасиво. А именно — пообещали взятку суперу Мигуэлю. Через месяц наши проблемы были решены. За нами перебрался из Бронкса Виля Мокер. И тоже не без содействия Мигуэля.

Взятки у нас явление распространенное. Раньше, говорят, этого не было. Затем появились мы, советские беженцы. И навели свои порядки.

Постепенно в голосе нашего супера зазвучали интонации московского домоуправа:

— Крыша протекает?.. Окно не закрывается?.. Стена, говорите, треснула?.. Зайду, когда будет время... Вас много, а я — один...

В этот момент надо сунуть ему чудодейственную зеленую бумажку. Лицо Мигуэля сразу добреет. Через пять минут он является с инструментами.

Соседи говорят — это все появилось недавно. Выходит, это наша заслуга. Как выражается Мокер — «нежные ростки социализма...».

Мы собирались почти каждый вечер. Дроздов был настроен оптимистически. Он кричал:

— Мы на свободе! Мы дышим полной грудью! Говорим все, что думаем! Уверенно смотрим в будущее!..

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

*Мокер называл Дроздова:
«Толпа из одного человека».*

Лично мне будущее представлялось туманным. Баскину — тоже. Мокер явно что-то задумал, но, хитро улыбаясь, помалкивал.

Я говорил:

— Существуют различные курсы — программистов, ювелиров, бухгалтеров...

Тон у меня был неуверенный. Мне было далеко за тридцать. Дроздову и Мокеру — под сорок. Баскину — за пятьдесят. Нелегко в эти годы менять профессию.

Мы слышали, что западные люди к таким вещам относятся проще. Был человек коммерсантом, разорился, пошел водить такси. Или наоборот.

Но мы-то устроены по-другому. Ведь журналистика, литература — это наша судьба! Наше святое призвание! Какая уж тут бухгалтерия?! И тем более ювелирное дело. Не говоря о программировании...

К нашим сборищам часто присоединялась местная интеллигенция. В том числе: конференсье Беленький, музыковед Ирина Гольц, фарцовщик Акула, экономист Скафарь, загадочный религиозный деятель Лемкус. Всех нас объединяли поиски работы. Вернее — хотя бы какого-то заработка. Все мы по очереди делились новой информацией.

(Впоследствии откровенничали реже. Каждый был занят собственным трудоустройством. Но тогда в нас еще сохранялся идеализм.)

Конференсье Беленький с порога восклицал:

— Я слышал, есть место на питомнике лекарственных змей. Работа несложная. Главное — кормить их четыре раза в сутки. Кое-что

убрать, там, вымыть, подмести... Платят — сто шестьдесят в неделю. И голодным, между прочим, не останешься.

— То есть? — гадливо настораживался Баскин. — Что это значит? Что ты хочешь этим сказать?

Беленький в свою очередь повышал голос:

— Думаешь, чем их тут кормят? Мышами? Ни хрена подобного! Это тебе не совдепия! Тут змеи питаются лучше, чем наши космонавты. Все предусмотрено: белки, жиры, углеводы...

На лице у Баскина выразалось крайнее отвращение:

— Неужели будешь есть из одного корыта со змеями? Стоило ради этого уезжать из Москвы?!

— Почему из одного корыта? Я могу захватить из дома посуду...

Сам Эрик Баскин тяготел к абстрактно-политической деятельности. Он все твердил:

— Мы должны рассказать людям правду о тоталитаризме!

— Расскажи, — иронизировал Беленький, — а мы послушаем.

Баскин в ответ только мрачно ругался. Действительно, языка он не знал. Как собирался проповедовать — было неясно...

Бывший фарцовщик Акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил:

— В Москве я жил как фрайер. Покупал у финского туриста зажималку и делал на этом свой червонец. С элементарного гондона мог наварить три рубля. И я был в порядке. А тут — все заграничное! И никакого дефицита. Разве что кроме наркотиков. А наркотики — это «вилы». Остается «телега», честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка. Что требует начального капитала...

При слове «капитал» все замолкали.

Музыковед Ирина Гольц выдвигала романтические проекты:

— В Америке двадцать три процента миллионеров. Хоть одному из них требуется добродетельная жена с утонченными манерами и безупречным эстетическим вкусом?..

— Будешь выходить замуж, — говорил Скафарь, — усынови меня. А что особенного? Да, мне сорок лет, ну и что? Так и скажи будущему мужу: «Это — Шурик. Лично я молода, но имею взрослого сына!..»

Тут вмешивался Лемкус:

— Вы просто не знаете американской жизни. Тут есть проверенные и вполне законные способы обогащения. Что может быть проще? Вы идете по фешенебельной Мэдисон-авеню. Навстречу вам собака, элементарный доберман. Вы говорите: «Ах, какая миленькая собачка!» И быстрым движением щелкаете ее по носу. Доберман хватается за ногу. Вы теряете сознание. Констатируете нервный шок. Звоните хорошему адвокату. Подаете в суд на хозяина добермана. Требуете компенсации морального и физического ущерба. Хозяин-миллионер выписывает чек на двадцать тысяч...

Мы возражали:

— А если окажется, что собака принадлежит какому-нибудь бродяге? Мало ли на Бродвее черных инвалидов с доберманами?

— Я же говорю не о Бродвее. Я говорю о фешенебельной Мэдисон. Там живут одни миллионеры.

— Там живет художник Попазян, — говорил Скафарь, — он нищий.

— Разве у Попазяна есть собака?

— У Попазяна нет даже тараканов...

Экономист Скафарь хотел жениться на богатой вдове. Он был высок, худощав и любвеобилен. Кроме того, носил очки, что в российском захолустье считается признаком интеллигентности.

Мы интересовались:

— Что же ты скажешь невесте? Хай? А потом?

Скафарь реагировал тихо и задушевно:

— Подлинное чувство не требует слов. Я буду молча дарить ей цветы...

Вновь подавал голос загадочный религиозный деятель Лемкус. Когда-то он был евреем, выехал по израильским документам. Но в Риме его охмурили баптисты, посулив какие-то материальные льготы. Кажется, весьма незначительные. Чем он занимается в Америке, было неясно.

Иногда в газете «Слово и дело» появлялись корреспонденции Лемкуса. Например: «Как узреть Бога», «Свет истины», «Задумайтесь, малoverы!».

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В очередной заметке Лемкуса говорилось:

«Как замечательно выразился Иисус Христос...» Далее следовала цитата из Нагорной проповеди...

Так Лемкус похвалил способного автора.

Лемкус творчески развивал свои же идеи:

— Собака, я думаю, это мелко. Есть более эффективные методы. Например, вы покупаете старую машину. Едете в Голливуд. Или в Хьюстон, где полно миллионеров. Целыми днями разъезжаете по улицам. Причем игнорируя светофоры. И, естественно, попадая в аварии. Наконец вас таранит роскошный лимузин. В лимузине сидит нефтяной король. Вы угрожаете ему судебной процедурой. Нефтяной король приходит в ужас. Его время стоит огромных денег. Десять тысяч — минута. Ему гораздо проще откупиться на месте. Выписать чек и ехать по своим делам...

— А Бог тебя за это не покарает? — ехидно спрашивал Мокер.

— Не думаю, — отвечал Лемкус, — маловероятно... Бог любит страждущих и неимущих.

— А жуликов? — не унимался Мокер.

— Взять у богатого — не грех, — реагировал Лемкус.

— Вот и Ленин так думал...

Шло время. Чьи-то жены работали. Дроздов питался у знакомых, студию ему оплачивала «НАЙАНА». Лемкуса подкармливали баптисты. Ирина Гольц обнаружила в Кливленде богатого родственника.

А мы все строили планы. Пока однажды Мокер не сказал:

— А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать.

Дроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился. Я вдруг почувствовал странное беспокойство.

Помедлив несколько секунд, Мокер торжествующе выговорил:

— Мы будем издавать вторую русскую газету!

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

Подсознательно каждый из нас мечтал о русской газете. Ведь журналистика была нашей единственной профессией. Единственным любимым занятием. Просто мы не знали, как это делается в США.

Дома все было очень просто. Там был обком, который все знал. У любой газеты было помещение, штат и соответствующее оборудование. Все необходимое предоставлялось государством. Начиная с типографии и кончая шариковыми авторучками.

Дома был цензор. Было окошко, где вы регулярно получали зарплату. Было начальство, которое давало руководящие указания. Вам оставалось только писать. При этом заранее было известно — что именно.

А здесь?!

Английского мы не знали. (За исключением Вили Мокера, который объяснялся не без помощи жестов.) О дешевой газетной технологии не имели представления. Кроме того, подозревали, что вся затея эта стоит немалых денег.

— И вообще, — поинтересовался Баскин, — кто нам даст разрешение? Мы ведь даже гражданства не имеем. Выходит, каждый поц может издавать газету? А что, если мы начнем подрывать устои капитализма?

Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информацией. И на вопросы отвечал без запинки:

— Специального разрешения не требуется. Мы просто регистрируем нашу корпорацию, и все. Затем снимаем недорогое помещение в Манхэттене. Заказываем русскую наборную машину. Дешевых типографий в Нью-Йорке сколько угодно. Технология в Штатах более современная, а значит — простая. Вместо цинковых клише используются фотостаты. Вместо свинцового набора — компьютерные машины...

Далее Мокер засыпал нас терминами: «айбиэм», «процессор», «селектрик-композер»...

Наше уважение к Мокеру росло. Он продолжал:

— Что же касается устоев, то их веками подрывают десятки экстремистских газет. Кого это волнует? Если газета легальная, то все остальное не имеет значения. Тем более что мы намерены придерживаться консервативной линии.

— Мы должны рассказать американцам правду о тоталитаризме, — ввернул Эрик Баскин.

— Мне все равно, какой линии придерживаться, — объявил Дроздов.

— А деньги? — спросил я.

Мокер не смутился:

— Деньги это тоже не фокус. Америка буквально набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их потратить. Мы — находка для этих людей...

Мокер рассуждал уверенно и компетентно. Значит, он не терял времени. Мы все питали к нему чувство зависти и доверия. Недаром он первый стал курить сигары. А главное, раньше других перестал носить одежду из кожзаменителя...

Понизив голос, он сказал:

— Я хочу продолжить разговор без свидетелей. Останутся, — (томительная пауза), — Баскин, Дроздов и Серега.

Когда обиженные соседи вышли, Мокер тоном заговорщика произнес:

— Есть у меня на примете крупный гангстер. Человек из мафии. Нуждается, как я понимаю, в инвестициях. Иначе говоря, в легализации тайных капиталов.

— Где ты его откопал? — спросили мы.

— Все очень просто. У меня есть незамужняя соседка. — (Мокеры жили в левом крыле здания.) — Высокая, симпатичная баба...

Дроздов попытался развить эту тему:

— Полная такая, с круглым задом?

— Дальше, — нервно перебил его Баскин.

— У этой Синтии, — продолжал Мокер, — бывает итальянец. Мы часто сталкиваемся в лифте. Причем заходит он к ней исключительно днем. После чего Синтия немедленно опускает шторы. Какой мы из этого делаем вывод?

— Черт его знает, — сказал Эрик Баскин.

Дроздов игриво засмеялся, потирая руки:

— Обычное дело, старик, поддали — и в койку!

Мокер уничтожающе посмотрел на Дроздова и сказал:

— Из этого мы делаем вывод, что Риццо — хозяин ночного заведения. Поэтому он и занимается любовью только днем. А все ночные заведения контролируются мафией. Не говоря о том, что все итальянцы — прирожденные мафиози.

Баскин выразил сомнение:

— Все женатые мужики развлекаются днем. Для этого не обязательно быть гангстером.

Но Мокер перебил его:

— А если я с ним говорил, тогда что?.. Я долго не решался. Подыскивал наиболее емкую формулировку. И наконец вчера многозначительно спросил: «Уж не принадлежишь ли ты к известной организации?»

— А он?

— Он понял мой намек и кивнул. Тогда я попросил его о встрече. Мы договорились увидеться завтра после шести. В баре на углу Семнадцатой и Пятой.

Баскин тяжело вздохнул:

— Смущает меня, ребята, вся эта уголовщина...

ВСТРЕЧА

Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились. Джемпер с надписью «Помни Валенсию!» обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца.

Он вежливо представился:

— Меня зовут Риццо. Риццо Фьезоли. Очень приятно.

В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел из-за стойки, подал нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочел водку.

Нас было шестеро, включая Риццо. Я пришел не один. У жены выходной, и ей захотелось посмотреть на мафиози.

Все, кроме Риццо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, что уплачу за два коктейля.

— Кам-ан, — широко отмахнулся Мокер и тут же перевел: — Еще бы!..

Мы чокнулись и выпили. Риццо, Баскин и моя жена пили через соломинку. Мокер, я и Дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей.

После этого Мокер заговорил. Кое-что мы понимали. Кое-что он переводил нам. Вообще, чем хуже люди говорят по-английски, тем доступнее мне их язык. Короче, состоялся примерно такой разговор:

— Могу я называть тебя просто Риццо?

— Еще бы, ведь мы друзья.

— Эти ребята — бывшие советские журналисты.

— О!.. Могу я заказать еще один коктейль?

— Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои?

Мокер обвел нас строгим испытующим взглядом. Мы постарались выразить абсолютную лояльность.

Мокер продолжал:

— В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело, как ты сейчас убедишься, верное. В Америке четыре миллиона граждан русского происхождения. Аудитория и рынок — неисчерпаемы. Есть возможность получить солидную американскую рекламу. Через год вся эта затея принесет хорошие деньги. Что ты об этом думаешь?

— Я не читаю по-русски, — ответил гангстер, — я вообще читаю мало.

— Как и все мы, — сумрачно откликнулся Баскин.

Мокер попытался выровнять направление беседы:

— Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами?

— Несомненно, — реагировал итальянец.

Затем добавил:

— Наш капитал — это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам!

Мокер взволнованно приподнялся:

— Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения. Но я готов отдать жизнь за твое право свободно их выражать!..

Эти слова прозвучали как цитата. Мокер сел и продолжал:

— Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов независимо от их убеждений. Я много слышал про твою организацию. Лично мне ее цели, и в особенности — средства, не очень-то близки. Но я привык отдавать должное стойкости и мужеству в любой конкретной форме... Мне известно, что законы организации суровы.

Риццо гордо кивнул:

— Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто ее предает. Вряд ли можно позавидовать тому, кто нарушит слово, данное организации...

— Прекрасно, — вставила моя жена. — Сережа обязательно что-то нарушит, и его ликвидируют. И останусь я молодой привлекательной вдовушкой.

Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но Мокер перевел ее слова. Наверное, хотел разрядить обстановку.

Риццо нахмурился и отчеканил:

— Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью!

Затем извиняющимся тоном добавил:

— Жизнестойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной...

Я заметил, что все избегают слова «мафия».

— Ближе к делу, — продолжал Мокер, — у организации есть средства. Она заинтересована в легальных капиталовложениях. Мы готовы предоставить ей такую возможность. Разумеется, вы получите соответствующие гарантии...

Музыкальный автомат затих.

— Извините меня, — сказал Риццо.

Он поднялся, достал из кармана мелочь. Опустил ее в щель.

Некоторое время раздавалось шипение. Потом зазвучали аккорды гитары и слащавый тенор вывел:

«О Валенсия, моя родина! Солнце шепчет мне — улыбнись!.. О Валенсия...»

Риццо вернулся, достал сигарету. Что-то в нем отвечало музыкальному ритму. Банально выражаясь, он приплясывал.

Мокер протянул ему зажигалку с изображением голой девицы. Гангстер прикурил. Мы ждали.

— Ну, так что? — спросил Мокер.

Риццо приподнял брови:

— Вам нужны деньги?

Мокер уверенно кивнул.

— Я не уполномочен решать такие вопросы. Конечно, я поговорю с Рафаэлем. Он заведует партийной кассой. Откровенно говоря, не думаю, чтобы он согласился. Рафаэль немножко консервативен. Я убежден, что Рафаэль гораздо правее своего кумира Троцкого. Наша фракция левых маоистов значительно дальше от центра.

Мы переглянулись.

— Фракция маоистов? — переспросил Баскин.

Затем повернулся к Мокеру:

— Ты говорил, что он из мафии. На самом деле все гораздо хуже. На самом деле этот поц еще и большевик!

Итальянец живо пояснил:

— В юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против индивидуального террора. Но затем присоединился к радикалам. А недавно увлекся маоистской программой. Мне хочется примирить ленинизм с конфуцианством. Правая фракция считает меня ренегатом. Но я-то знаю, что истина придет с Востока.

— Пошли отсюда вон! — сказал Эрик Баскин.

Дроздов колебался.

— Вообще-то деньги не пахнут, — сказал он.

Баскин повысил голос:

— Какие могут быть деньги у этой шпаны?!

Мокер выглядел крайне подавленным. Моя жена откровенно веселилась.

Риццо выпил еще один стакан коктейля и невозмутимо продолжал:

— Истина придет с Востока. Лично я восхищаюсь русскими.

Они революционеры и добились справедливости. Затем революция перешла в бюрократическую фазу. Зародилась новая советская буржуазия... Лично я — революционер и враг буржуазии. Я читал Солженицына и Толстого. Толстой — буржуазный писатель. Его волнуют переживания изнеженных богачей. А вот Солженицын написал хорошую книгу. Солженицын показывает, как опасно вырождение революционного духа...

Баскин еле сдерживался:

— Что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана!

Риццо не унимался. Он жестикулировал и восклицал:

— Революция должна победить на всей земле! Богачи начнут трудиться, а простые люди отдыхать и курить марихуану! И это будет справедливо... Русские — молодцы! Им нужна еще одна революция. И вождем ее будет Солженицын, а не Лев Толстой... Вот именно, Солженицын!

— Хватит! — крикнул Баскин.

— Хватит! — радостно повторил итальянец. Видно, решил, что это значит — «браво!» Мы расплатились и встали. Маоист долго жал нам руки, повторяя:

— Америка — плохая страна! Я живу здесь только ради денег! Мое сердце принадлежит Валенсии!.. Да здравствуют ортодоксы и радикалы!.. Долой Льва Толстого и буржуазию!

— Виват! — сказал Дроздов.

Мы вышли на Семнадцатую улицу. Риццо остался в баре. Видимо, хотел еще больше укрепить свой революционный дух. Мокер смущенно посмеивался.

— Кретин, — сказал ему Баскин.

— Я ишу, — оправдывался Мокер, — я нащупываю ходы... Деньги будут... Америка — страна неограниченных возможностей...

Потом он вспомнил:

— С каждого по четыре доллара. С Довлатова — восемь. А за этого говенного Риццо, так уж и быть, плачу я...

— В сущности, неплохо посидели, — успокаивал Баскина Дроздов.

— Увидите, деньги будут, — заверял нас Мокер, — я клянусь!

КТО МЫ И ОТКУДА?

Наша эмиграция условно делится на три потока. Даже на четыре: политический, экономический, художественный и авантюрный.

Политические эмигранты чувствуют себя здесь неплохо. Особенно те, у кого хорошая специальность. Например: врачи, инженеры, знаменитые ученые, квалифицированные ремесленники. Ведь диссидентство — не профессия.

Эти люди добивались свободы и получили ее.

Хотя свобода — тоже не профессия. Поэтому желательно быть еще и квалифицированным специалистом.

Люди из экономического потока тоже не жалуются. Ведь они добивались материальных благ. Попросту говоря, хотели жить лучше. Забыть о бедности, веревочных макаронах, фанерных пиджаках и ядовитом алкоголе.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Говорят, если выпить советской мадеры и помочиться на шакал, то шакал околеваает...

Людам хотелось жить нормально, путешествовать, есть фрукты и смотреть цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной — уже достижение. Короче, они свое получили. Многие довольно быстро устроились на тяжелую, хорошо оплачиваемую работу. Сели, например, за баранку такси. Наиболее целеустремленные открыли собственные предприятия.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Разговаривают двое эмигрантов.

«Ну как, ты хорошо устроился?»

«Да нет, все еще работаю...»

«Авантюристы» — люди вечно недовольные. В Америку попали случайно. Кто-то с женой поругался и уехал. Кому-то захотелось послушать Гиллеспи. Или, допустим, плюнуть в Гудзон с небоскреба.

Это все доступно. Но приходится еще и работать. Что для многих явилось полной неожиданностью. Хорошо еще, что в Америке можно быть государственным паразитом. Так что большинство «авантюристов» на велфере.

Мы с друзьями относимся к художественному потоку. Мы — люди творческих наклонностей: писатели, художники, редакторы, искусствоведы, журналисты. Мы уехали в поисках творческой свободы. И многие из нас действовали сознательно. Хоть и не все. Если дать творческую свободу петуху, он все равно будет кукарекать.

Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем. Профессию менять, естественно, не хотим. Велфер получать благородно стыдимся.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Старуха-эмигрантка в рыбном магазине:

«Я догадывалась, что здесь говорят по-английски. Но кто же мог знать, что до такой степени?!»

Мы — неудачники. Хотя многие из нас когда-то были знаменитостями. Например, Эрик Баскин.

Он был известным спортивным журналистом. Редактором журнала «Хоккей—футбол». А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник — алкоголь.

Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий.

Эмигрировал Баскин, поругавшись с влиятельным инструктором ЦК. Случилось это на идейной почве. Поскольку спорт у нас —

явление идеологическое. А Эрик в одном из репортажей чересчур хвалил канадских хоккеистов. И его уволили после неприятного разговора в Центральном Комитете.

Прощаясь, инструктор сказал:

— У меня к вам просьба. Объясните коллегам, что вы уходите из редакции по состоянию здоровья. Надеюсь, вам понятно?

Баскин ответил:

— Товарищ инструктор! Вообразите такую ситуацию. Допустим, вам изменила жена. И после этого заразила вас гонореей. Вы подаете на развод. А жена обращается к вам с просьбой: «Вася, объясни коллегам, что мы разводимся, поскольку ты — импотент».

Инструктор позеленел и указал Баскину на дверь...

Виля Мокер работал на ленинградском телевидении. Вряд ли он был звездой, но прохожие его узнавали. Уехал Виля потому, что был евреем и страдал от антисемитизма. При слове «еврей» он лез драться. Он был уверен, что «еврей» — ругательство...

Дроздов трудился в отделе пропаганды «Смены». А пропагандировать, как известно, можно все. От светлого коммунистического будущего и фиолетовых гусиных желудков до произведений художника Налбандяна и зловонных резиновых бот.

Это породило в Дроздове легкую моральную неразборчивость.

Помню, редактор «Смены» говорил о нем:

— У этого даже задница почтительная...

Я не знаю, почему Дроздов уехал.

О политических мотивах здесь нечего и говорить. Ходили слухи, что Дроздов бежал от алиментов. Не знаю.

Но человек он был довольно умелый и работающий. А это — главное.

О себе я уже рассказывал в первой книге.

Спрашивается, кому мы были нужны в Америке?..

ДЕНЬГИ

Мокер продолжал энергично действовать. Звонил в различные организации. Начиная с Толстовского фонда и кончая Лигой защиты евреев. Мокеру назначали ежедневно по шесть деловых свиданий.

Все это обнадеживало нашего лидера. Видно, он был слегка дезориентирован американской любезностью. Куда ни позвонишь, везде отвечают:

— Заходите, например, шестого мая в одиннадцать тридцать...

В Союзе было по-другому. Там все знакомо, ясно и понятно. Если тебе открыто не хамят, значит, дело будет решено в положительном смысле. И даже когда хамят, еще не все потеряно. Поскольку некоторые чиновники хамят автоматически, рефлекторно. Такое хамство одинаково близко соловьиному пению и рычанию льва.

Здесь все иначе. Беседуют вежливо, улыбаются, наливают кофе. Любезно тебя выслушивают. Затем печально говорят:

— Сожалеем, но мы лишены удовольствия воспользоваться данными предложениями. Наша фирма чересчур скромна для осуществления вашего талантливой, блестящего проекта. Если что-то изменится, мы вам позвоним.

Иногда после этого даже записывают номер телефона...

Однако лидер не сдавался. Стояло влажное и душное нью-йоркское лето. В мягком асфальте поблескивали колечки от содовых банок. Они напоминали драгоценные перстни.

Небоскребы в Манхэттене были окутаны клубами горячего пара. Бесчисленные кондиционеры орошали прохожих теплым дождем. Режущие звуки тормозов и грохот джаза сливались в одну чудовищную какофонию.

Мокер ходил по улице в костюме-тройке, дарованном ему синагогой. В руках он держал бесформенный советский портфель эпохи Коминтерна. Там хранилась удобная складная вешалка. В метро наш лидер, достав ее из портфеля, быстро раздевался. Пиджак и жилет терпеливо держал он на вытянутой руке. Галстук с изображе-

нием американского флага делал Мокера похожим на удавленника. Ослабить узел было невозможно. Завязать его Виля мог только перед зеркалом.

Покидая сабвей, Мокер вновь одевался. На переговоры шел в костюме. И, получив отказ, снова раздевался в метро...

Дроздов между тем нашел себе временную работу. Устроился на базу перетаскивать свиные туши и рыбу. Закончилось все это довольно грустным инцидентом.

Дроздов украл килограмма четыре мороженого трескового филе. Сунул ледяной брикет под рубашку. Час ехал таким образом в сабвее. Филе начало таять. У Дроздова подозрительно закапало из брюк. Кроме того, от него запахло рыбой. Настолько, что два индуса, ворча, пересели. И к тому же наутро Дроздов заболел воспалением легких...

Баскин держался уверенно и спокойно. К нему, человеку знаменитому, проявляли интерес американские журналисты. Интервью с ним появились в нескольких крупных газетах. Его жена Диана поступила на курсы медсестер...

А я тем временем нашел себе литературного переводчика. Вернее, переводчицу. Звали ее Линн Фарбер. Родители Линн еще до войны бежали через Польшу из Шклова. Дочка родилась уже в Америке. По-русски говорила довольно хорошо, но с заметным акцентом.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Вернее, рекомендовал ей заняться моими сочинениями. Линн позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? — спрашиваю. — Я же не читаю по-английски.

— Вас не интересует перевод? Вы сможете показать его знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

— Пошлите, — говорю, — лучше в какой-нибудь журнал...

Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зэки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. Боль-

шую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о юной американке? Как, например, можно перевести такие выражения: «Игруля с Пердиловки...» Или «Бздиловатой конь породы...» Или, допустим: «Все люди как люди, а ты — как хрен на блюде...» И так далее.

Я сказал переводчице:

— Мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить я сейчас не могу.

— Я знаю. Бродский говорил мне.

— Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорар делим пополам.

Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже Бродский вынужден заниматься преподавательской работой.

Линн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый финансовый шаг, который я предпринял в Америке...

Мокер звонил нам каждый вечер. Голос его звучал все менее уверенно. Мы уже теряли надежду. Да и стоило ли надеяться? Работать по специальности в Америке! Писать и говорить, что думаешь, — на русском языке! Да еще и получать небольшую зарплату! Уж слишком фантастической казалась нам такая перспектива.

Выздоровевший Дроздов поступил на шоферские курсы. Чтобы в дальнейшем арендовать такси. Жена Вили Мокера работала сиделкой. Моя жена продолжала служить в конторе у Боголюбова. Диане Баскиной удалось получить небольшую стипендию.

Однажды мы пили чай у Баскина на кухне. Вдруг зазвонил телефон. Эрик снял трубку.

Из уличного шума выплыл торжествующий голос Мокера:

— Я раздобыл деньги! Звоню из автомата...

— Сенсация, — язвительно произнес Баскин, — Вили Мокер раздобыл десять центов.

— Болван! — закричал Мокер. — Я достал шестнадцать тысяч! Представь себе, шестнадцать тысяч! Мы победили!..

Было такое ощущение, что Мокер слегка помешался. Он так кричал, что мы все хорошо его слышали. Баскин, морщась, отодвинул трубку. Диана из кухни спросила:

— Чего он хочет?

А Мокер все не унимался:

— Мы просидели два часа в шикарном ресторане «Блимпи». Я почти не заглядывал в словарь. Я был в ударе. Даже официанты прислушивались к нашему разговору. Наконец он сдался, протянул мне руку и воскликнул: «Файн! Я подумаю. Ты хороший малый, Вилли! Америка нуждается в тебе!..»

Мокер запнулся и деликатно прибавил:

— «И в твоих друзьях...»

— Так где же деньги? — спросил Эрик Баскин.

— Теоретически — у нас в кармане. Он даст. Я чувствую, он даст!

— Кто — он?

— Ларри Швейцер!

— Кто такой Ларри Швейцер?

— Это большой человек! Фигура! Настоящий капиталист!.. Я все объясню. Не расходитесь. Пошлите Дроздова за водкой. Я беру машину. Но у меня всего шесть долларов и токен. Скиньтесь понемногу и ждите меня внизу..

Через полчаса я уже разливал водку. Диана приготовила фирменный салат. В салате были грибы, огурцы, черносливы, редиска, но преобладали макаронны.

Мокер говорил торопливо, сбивчиво и невнятно. Вот что я усвоил из его рассказа.

Есть такой Ларри Швейцер. Мокер познакомился с ним в еврейском центре. Швейцер — адвокат и бизнесмен. Скупает разоренные кварталы в Бруклине. Делает косметический ремонт. И затем поселяет там русских эмигрантов. То есть возрождает город.

При этом мечтает сыграть какую-то общественную роль. А потом чуть ли не баллотироваться в Конгресс.

Для этого ему нужна общественная репутация. Чтобы заслужить ее, Швейцер учредил «Комитет». Задача «Комитета» — оказание помощи российским беженцам. Параллельно Швейцер организовал курсы английского языка и музей неофициальной советской живописи. Мокер, кажется, сумел убедить Ларри Швейцера в необходимости еще одной русской газеты. Причем Швейцеру вовсе не обязательно тратить собственные деньги. Он может содействовать нам в

получении долгосрочного займа. Речь идет о пятнадцати—двадцати тысячах.

Итак, газета нужна этому типу как выразительный штрих общественной репутации.

Швейцер и его родители — американцы. Но дед, естественно, из Кишинева. Так что эмигрантские проблемы Швейцеру более или менее доступны...

Мокер перевел дыхание. Мы боялись верить. Эрик Баскин сказал:

— По-моему, рано бить в литавры. Дождемся окончательного решения вопроса.

— Но выпьем-то мы уже сейчас? — забеспокоился Дроздов.

— Возражений, — говорю, — не имеется...

НАКАНУНЕ

Как это ни удивительно, деньги мы все же получили — шестнадцать тысяч. Я спросил у Мокера:

— А почему не двадцать? Или не пятнадцать?

Мокер ответил, что круглая сумма — это всегда подозрительно. А в шестнадцати тысячах ощущается строгий расчет.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой приятель Валерий Грубин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил:

«Я уже должен вам тридцать рублей. Одолжите еще пятерку для ровного счета...»

Таинственный Ларри Швейцер захотел с нами познакомиться. Мы приехали в его служебный офис. Это были две небольшие комнаты, заваленные всяким хламом.

Баскин разочарованно поморщился. Но Мокер объяснил ему:

— Миллионеры здесь не любят выделяться. В «мерседесах» раз-

езжают только гангстеры и сутенеры. А настоящие богачи стараются выглядеть поскромнее.

Я говорю:

— Наверное, меня все принимают за богача. Поскольку мои единственные брюки лопнули на заднице...

Но тут появился Ларри Швейцер. Мокер стал представлять нас. Баскина и Дроздова он назвал знаменитыми журналистами, а меня — знаменитым писателем. Каждый раз Ларри дружелюбно восклидал: «О!...»

Это был подвижный рыжеватый человек лет сорока. На его кремовых брюках выделялась ровная складка. Коричневые туфли блестели. Зеленая бобочка облегла не слишком тощую поясицу. В Ленинграде так одеваются продавцы комиссионных магазинов.

Ларри куда-то позвонил. Через минуту нам принесли бутерброды и кофе.

Виля Мокер торжествующе взглянул на Баскина. Мол, что я говорил?! Солидная фирма...

Дроздов предложил:

— Может, сбегать за водкой?

— Этого еще не хватало! — прикрикнул Мокер.

Ларри достал блокнот, калькулятор и авторучку.

Потом сказал:

— Я очень рад, что познакомился с вами. Америке нужны талантливые люди. Я говорил с друзьями... Я думаю, вы можете получить ссуду на издание еврейской газеты. Но это должна быть именно еврейская газета. Еврейская газета на русском языке для беженцев из Союза. Цель такой газеты — приблизить читателей к еврейскому Богу и сионистским традициям.

Я попытался возразить:

— Нельзя ли использовать более общую формулировку? Например, «газета третьей эмиграции»? Без ударения на еврействе. А еще лучше — вообще не указывать, кто мы такие. Издавать еженедельник для всех, кто читает по-русски. Уделяя, разумеется, при этом место и еврейскому вопросу. Так мы соберем наибольшее число подписчиков.

— Но ведь бегут из России главным образом евреи? — удивился Ларри.

— Не только. Уехало довольно много русских, грузин, прибалтийцев. Не говоря о смешанных браках. Кроме того, советские евреи не очень религиозны. Большая часть еврейской интеллигенции воспитана на русской литературе.

Пока я говорил все это, Мокер страшно нервничал. Он делал мне знаки. Затем с нежнейшей улыбкой выговорил по-русски:

— Заткнись, мудака, ты все испортишь, чучело гороховое, анти-семит проклятый!..

Но меня поддержал Баскин:

— Я согласен. Еврейскую газету покупать не будут. В этом есть что-то местечковое. И вообще, я не люблю, когда мне ставят условия.

— Интересно, — возмутился Мокер, — с каких это пор? А в московских газетах тебе не ставили условий?

— Потому-то я и уехал, — возразил Баскин.

Дроздов безмолвствовал. Он пил кофе и ел бутерброды.

Мокер сказал:

— Одну минутку, Ларри.

И затем, обращаясь к нам, с едва заметным бешенством:

— Вы просто идиоты! Человек готов нам помочь. Он хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем сбоку микроскопическими буквами: «Еврейская газета на русском языке», и все. Будем раз в год давать материалы по еврейской истории. Отмечать большие праздники... Что же тут плохого? В конце концов, большинство из нас действительно евреи... А главное, иначе денег не получим...

— Лично мне все равно, — отозвался Дроздов.

Баскин махнул рукой.

Мокер сказал:

— Извини, Ларри! Мои друзья уже рвутся в бой. Обсуждают конкретные творческие проблемы. Нам кажется, еврейская газета должна быть яркой, талантливой, увлекательной...

— Повело, — говорю, — кота на блядки!

— Что? — заинтересовался Ларри.

— Непереводаемая игра слов, — быстро пояснил Мокер...

— Значит, — сказал Ларри Швейцер, — в общих чертах мы договорились...

В ДЖУНГЛЯХ КАПИТАЛА

На следующее утро мы получили деньги. Для начала — шесть с половиной тысяч. Тогда нам казалось, что это гигантская сумма. А впрочем, так оно и было.

Мы открыли счет в банке. Зарегистрировали нашу корпорацию. Отправились в Манхэттен снимать помещение.

В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и Четырнадцатой. Строго напротив публичного дома «Веселые устрицы».

Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция.

По такому случаю мы организовали вечеринку. Выпивали, сидя на полу, порожние бутылки ставили в угол. Они появились в нашей редакции задолго до электрической лампы, телефона, календаря и наборной машины.

Допивали в полной темноте. Мокер разливал вино на слух...

Теперь я понимаю — это были лучшие дни моей жизни. Мы покупали оборудование на распродажах. Заказывали монтажные верстаки и компьютеры с русской программой. Вели переговоры с будущими авторами.

С кадрами проблем не ожидалось. Неустроенных интеллектуалов было вполне достаточно. Из одних докторов наук можно было сколотить приличную футбольную команду. Десятки журналистов предлагали нам свои услуги.

О нас заговорили. Причем не только с любовью. В русской колонии циркулировали тревожные слухи. Например, о том, что деньги мы получили в КГБ.

Я рассказал об этом Мокеру. Виля страшно обрадовался:

— Это прекрасно, что нас считают агентами КГБ. Пусть думают, что за нами стоит могущественная организация. Это повысит наш кредит.

Однако мы все же предприняли небольшое расследование. Выяснилось, что легенды о нас распространяет «Слово и дело». Бого-

любов в разговоре с посетителями делал таинственные намеки. Появилась, мол, в Нью-Йорке группа авантюристов. Намерена вроде бы издавать коммунистический еженедельник. Довлатова недавно видели около советского посольства. И так далее. А слухи распространяются быстро.

Все это меня удивило. О конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке существует конкуренция. Но это касалось производства автомобилей, ботинок, сигар. Мы же хотели выпускать демократическую независимую газету. То есть участвовать в культурной жизни. Просвещать наших многострадальных соотечественников. Пропагандировать серьезное искусство. Борьаться за чистоту русского языка. И, как неизменно добавлял Эрик Баскин, рассказывать миру правду о тоталитаризме.

И вдруг такое отношение.

Позже мы убедимся, что Америка — не рай. И это будет нашим главным открытием. Мы убедимся, что свобода равно благосклонна к дурному и хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают гладиолусы и марихуана. Все это мы узнаем позже.

А тогда я был наивным младенцем. Я следовал принципу обратной логики. То, что плохо у нас, должно быть замечательно в Америке. Там — цензура и портвейн, здесь — свобода и коньяк.

Америка была для нас идеей рая. Поскольку рай — это, в сущности, то, чего мы лишены.

В Союзе меня не печатали. Значит, тут я превращусь в Арта Бухвальда.

Мы говорили, уезжая:

«Я выбрал свободу!»

При этом наши глаза взволнованно блестели. Ибо свободу мы понимали как абсолютное и неоспоримое благо. Как нечто обратное тоталитарной зоне.

Подобное чувство характерно для эзков, которые глядят на мир сквозь тюремную решетку. А также для инвалидов, которых санитары нехотя подвозят к больничному окну.

Свобода представлялась нам раем. Головокружительным попури из доброкачественного мяса, запрещенной литературы, пластинок Колтрейна и сексуальной революции.

И вдруг, повторяю, такое странное отношение...

Мы решили обратиться к самому Боголюбову. Все же он был когда-то знаком с Набоковым, Джойсом, Пикассо. Должны же в нем были сохраниться остатки человечности?! И вообще, если советские редакторы — шакалы, то здесь они должны быть как минимум похожи на людей!

Боголюбов делегацию не принял. Рекламирывать наш еженедельник отказался. А когда вышел первый номер, уволил из своей редакции мою жену. Она казалась ему лазутчицей, шпионкой.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Недавно Боголюбов говорил мне:

«Скажите, как поживает ваша жена Леночка? Она всегда такая бледная. Мы все ей так сочувствуем. Как она?»

Я отвечал:

«Борис Исаевич! С тех пор, как вы ее уволили, мы живем хорошо...»

Первый номер еженедельника «Зеркало» вышел 16 февраля. Он произвел небольшой фурор.

Шестьдесят лет «Слово и дело» властвовало над умами читателей. Шестьдесят лет прославляло монархию. Шестьдесят лет билось над загадкой советской власти. Шестьдесят лет пользовалось языком Ломоносова, Державина и Марлинского. Шестьдесят лет ожидало мифического религиозного возрождения.

Эти люди не знали главного. Они не знали, что старая Россия давно погибла. Что коммунизм есть результат длительного биологического отбора. Что советская власть — не форма правления, а образ жизни многомиллионного государства. Что религиозное возрождение затронуло пятьсот интеллигентов Москвы, Ленинграда и Киева.

Им казалось, что газета должна быть мрачной. Поскольку мрачность издали напоминает величие духа.

И тут появились мы, усатые разбойники в джинсах. И заговорили с публикой на более или менее живом человеческом языке.

Мы позволяли себе шутить, иронизировать. И более того — смеяться. Смеяться над русофобами и антисемитами. Над лжепророками и псевдомучениками. Над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством. Над воинствующими атеистами и религиозными кликушами.

А главное, заметьте, — над собой!

Мы заявили в полный голос:

«Еженедельник «Зеркало» — независимая свободная трибуна. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам. Редакция несет ответственность лишь за уровень дискуссии...»

Из сотни авторов мы выбрали лучших. Всех тех, кого отказывалось печатать «Слово и дело». Остальные стали нашими злейшими врагами.

Месяца два прошло в атмосфере безграничного энтузиазма. Число подписчиков и рекламодателей увеличивалось с каждым днем. В интеллигентных компаниях только о нас и говорили.

Одновременно раздавались и негодующие выкрики:

— Шпана! Черносотенцы! Агенты госбезопасности! Прислужники мирового сионизма!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Старый друг позвонил мне из Франции:

«Говорят, ты стал правоверным евреем! И даже сделал обрезание!»

Я ответил:

«Володя! Я не стал правоверным евреем. И вовсе не сделал обрезания. Я могу это доказать. Я не в состоянии протянуть тебе мое доказательство через океан. Но я готов предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу...»

Каждое утро мы распечатывали десятки писем. В основном это были чеки и дружеские пожелания. Но попадались и грубые отповеди. В одном письме меня называли (клянусь!) учеником Риббентропа, Жаботинского, Бубера и Арафата. В другом — какой-то ненор-

мальный интересовался, правда ли, что я, будучи охранником, физически мучил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было три года. В охрану же я попал через двадцать лет. Когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию.

Короче, шум стоял невообразимый.

Повторяю, это были лучшие дни моей жизни.

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ

Зимой я наконец познакомился с Линн Фарбер. Линн позвонила и говорит:

— Я отослала перевод в «Ньюйоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.

Я спросил:

— «Ньюйоркер» — это газета? Или журнал?

Линн растерялась от моего невежества:

— «Ньюйоркер» — один из самых популярных журналов Америки. Они заплатят вам несколько тысяч!

— Ого! — говорю.

Честно говоря, я даже не удивился. Слишком долго я всего этого ждал.

Мы решили встретиться на углу Бродвея и Сороковой.

Линн предупредила:

— В руках у меня будет коричневая сумочка.

Я ответил:

— А меня часто путают с небоскребом «Утюг»...

Я пришел ровно в шесть. По Бродвею двигалась шумная, нескончаемая толпа. Я убедился, что коричневая сумочка — не очень выразительная примета. Слава Богу, меня заранее предупредили, что Линн Фарбер — красивая. Типичная «Мадонна» Боттичелли...

В живописи я разбираюсь слабо. Точнее говоря, совсем не разбираюсь. (С музыкой дело обстоит не лучше.) Но имя Боттичелли — слышал. Ассоциаций не вызывает. Так мне казалось.

И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что преградил ей дорогу.

Наверное, Боттичелли жил в моем подсознании. И, когда понадобилось, выплыл.

Действительно — Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что тут особенного?! А в жизни это попадает так редко!

Надо ли говорить, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. Что может быть разумнее — жениться на собственной переводчице?

Затем состоялся примерно такой диалог:

— Здравствуйте, я — Линн Фарбер.

— Очень приятно. Я тоже...

Видно, я здорово растерялся. Огромный гонорар, «Ньюйоркер», юная блондинка... Неужели все это происходит со мной?!

Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Выкрикнул что-то размашистое. То ли — «К цыганам», то ли — «В пампасы»... Я изображал неистового русского медведя. Я обратился к бармену:

— Водки, пожалуйста. Шесть двойных!

— Вы кого-то ждете? — поинтересовался бармен.

— Да, — ответила моя знакомая, — скоро явится вся баскетбольная команда...

Линн Фарбер молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась:

— Закусывай! А то уже хорош!

Кстати, в баре и закусывать-то нечем...

Молчит и улыбается.

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество — никогда...

А девушка все молчала. Пока я о чем-то не спросил. Пока не сказал чего-то лишнего... Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр, и центр тяжести уже

где-то позади. Еще секунда, и окунешься в пустоту. Тут важно не-медленно остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало имя — Дэннис. Дэннис Блэкли — муж или жених...

Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо. И совершенно детская улыбка. (Как это они друг друга находят?!) Ладно, подумал я, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, когда блондинка исчезает с хорошим человеком...

НАШИ БУДНИ

Каждое утро мы дружно отправлялись в редакцию. Командные посты у нас распределились следующим образом. Мокер стал президентом корпорации, администратором и главным редактором. Я заведовал литературным отделом. Баскин отвечал за спорт и публицистику. Дроздов был работником широкого профиля. Он выступал на любые темы, давал финансовые консультации, рекламировал медицинские препараты. Кроме того, убирал помещение и бегал за водкой. Да еще ухаживал за тремя женщинами: секретаршей, машинисткой и переводчицей.

Все мы трудились бесплатно. Мокера и Баскина кормили жены. Моей жене, как безработной, выдали пособие. Дроздов обедал у своих многочисленных подруг. А также гулял с чужой собакой и получал велфер.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то Дроздов похитил банку анчоусов в супермаркете. Баскин его отчитал. Дроздов оправдывался:

«Это моя личная борьба с инфляцией!..»

Доходов газета не приносила. Виля Мокер объяснял нам:

— Мы должны продержаться год. Это самое трудное время. Небольшие предприятия гибнут обычно в течение шести или семи месяцев...

Мокер учил:

— В газете есть три источника дохода. Подписка, розница и объявления. Подписка — это миф. Это деньги, которые мы, в сущности, занимаем у читателя. Розница дает гроши — тридцать пять центов с экземпляра. Чистые деньги приносят только рекламные объявления. На этом держатся все западные газеты. Но получить рекламу довольно трудно. Американцев русский еженедельник не интересует. А наши деятели целиком зависят от Боголюбова. Он дает им скидку, лишь бы не рекламировались в «Зеркале». Боголюбов говорит им: «С кем вы имеете дело? С агентами Кремля?!»

Мокер не фантазировал. К сожалению, так оно и было. Кроме всего прочего, редактор «Слова и дела» звонил нашим авторам. Угрожал, что перестанет рекламировать их книги. При этом клялся, что скоро увеличит гонорары.

Многие были вынуждены подчиниться. Боялись испортить отношения с влиятельной ежедневной газетой.

Боголюбов говорил о нас:

— Диссидентов мы тут не потеряем!

(Спрашивается, почему же их должен был терпеть Андропов в Москве?..)

И все-таки популярность нашей газеты росла. Мы побуждали читателей к спорам. Касались запрещенных тем. Например, позволяли себе критиковать Америку.

Поклонников у нас становилось все больше. Но и количество противников росло.

Помню, мы опубликовали в «Зеркале» рецензию на книгу Солженицына. И были в ней помимо дифирамбов мягкие критические замечания.

Боже, какой начался шум!

— Кто смел замахнуться на пророка?! Его особа священна! Его идеи вне критики!..

Десятилетия эти болваны молились Ленину. А теперь готовы крушить монументы, ими самими воздвигнутые.

Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений!.. С легкой оговоркой — для тех, чье мнение я разделяю.

А как быть с теми, чьего мнения я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На галеры?..

Люди уехали, чтобы реализовать свои законные права. Право на творчество. Право на материальный достаток. И в том числе — священное право быть неправым. Право на заблуждение!

Дома тех, кто был не прав, убивали. Ссылали в лагеря. Выгоняли с работы. Но сейчас-то мы в Америке. Кругом свобода, а мы за решеткой. За решеткой своей отвратительной нетерпимости...

Четыре телефона было в нашей редакции. И все они звонили непрерывно. Иногда мы выслушивали комплименты. Гораздо чаще — обвинения и жалобы. Видимо, негативные эмоции — сильнее.

Со временем мне надоело оправдываться. Пускай думают, что именно я отравил госпожу Бовари...

Так прошло месяцев шесть. Мы побывали в Чикаго, Детройте, Бостоне, Филадельфии. Встречали нас очень хорошо. Наши поклонники образовали что-то вроде секты. Мы по-прежнему были главной темой разговоров в эмиграции. При этом еженедельно теряли долларов четырехста. Денег оставалось все меньше. Но мы все равно ликовали...

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В Америке нас поразило многое. Телефоны без проводов и съедобные дамские штанишки. Улыбающиеся полицейские и карикатуры на Рейгана... Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, грязь в метро, нью-йоркский климат, чернокожих подростков с транзисторами...

И конечно же достается от нас тараканам. Тараканы занимают среди язв капитализма весьма достойное место.

Вообразите шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и гнусными бумажными спичками. Чуть ниже безработицы и чуть выше марихуаны.

Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое. Дома было хамство и лицемерие. КГБ и цензура. Коммунальные жилища и очереди за мылом.

А вот тараканов не было. Я их что-то не припомню. Хотя жить приходилось в самых разных условиях.

Однажды я снял комнату во Пскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было.

Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники? Вроде уцелевших сталинистов? Не знаю...

Короче, приехали мы, осмотрелись. И поднялся ужасный крик:

— Нет спасения от тараканов! Лезут, гады, изо всех щелей! Ну и Америка! А еще цивилизованная страна!

Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью.

Вроде бы и зверя нет страшнее таракана! Совсем разочаровал нас проклятый капитализм!

А между тем кто видел здесь червивое яблоко? Хотя бы одну гнилую картофелину? Не говоря уже о старых большевиках...

И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же...

Таракан безбиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля.

Таракан не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос?

Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов.

Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить — это слишком. Но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это — взаимно...

БОГОЛЮБОВ ТОПАЕТ НОГАМИ

Редактор «Слова и дела» без конца шельмовал нас в частном порядке. Газета его хранила молчание. Напасть открыто — значило бы дать рекламу конкуренту. Да еще бесплатную.

Мы же то и дело выступали с критикой. И Боголюбов не выдержал. Он написал большую редакционную статью — «Доколе?». «Зеркало» в этой статье именовалось «грязным бульварным листком». А я — «бывшим вертухаем».

Речь в статье, естественно, шла о том, что мы продались КГБ. В ответ я написал:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО *редактору газеты «Слово и дело»*

Уважаемый господин Боголюбов!

Я прочитал вашу статью «Доколе?». Мне кажется, она знаменует собой новый этап вашей публицистической деятельности. И потому заслуживает серьезного внимания.

Статья написана абсолютно чуждым вам языком. Она напориста и агрессивна. Более того, в ней попадаются словечки из уголовно-милицейского жаргона. (Например, «вертухай», как вы соизволили дружески меня поименовать.) И я бесхитростно радуюсь этому как сторонник живого, незакрепощенного литературного языка.

Я оставляю без внимания попытки унижить меня, моих друзей и наш еженедельник. Отказываюсь реагировать на грубые передержки, фантастические домыслы и цитируемые вами сплетни.

Я оставляю без последствий нанесенные мне оскорбления. Я к этому привык. К этому меня приучили в стране, где хамство является нормой. Где за вежливым обращением чудится подвох. Где душевная мягкость воспринимается как слабоумие.

Кем я только не был в жизни! Стилягой и жидовской мордой. Агентом сионизма и фашиствующим молодчиком. Моральным разложением и политическим диверсантом. Мало того, я — сын армянки и еврея — был размашисто заклеен в печати как «эстонский националист» (!).

В результате я закалился и давно уже не требую церемонного отношения к себе. Что-то подобное я могу сказать и о нашей газете. Мы — не хризантема. Нас можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли мы растем. Мне кажется, нам это даже полезно.

Короче, быть резким — ваше право старшего, или, если хотите,

право мэтра. Таким образом, меня не унижает форма ваших словоизъявлений. Меня интересует не форма, а суть.

Что же так неожиданно вывело из равновесия умного, интеллигентного, пожилого господина? Что заставило его нарушить обет молчания? Что побудило его ругаться и топтать ногами, опускаясь до лагерной «фени»? Чем мы так досадили вам, господин Боголюбов?

Я могу ответить на этот вопрос. Мы досадили вам фактом нашего существования.

До семидесятого года в эмиграции царил относительный порядок. Отшумели прения и споры. Распределились должности и звания. Лавровые венки повисли на заслуженных шеях.

Затем накатилась третья волна эмиграции.

Как и всякая человеческая общность, мы — разнородны. Среди нас есть грешники и праведники. Светила математики и герои черного рынка. Скрипачи и наркоманы. Диссиденты и бывшие работники партаппарата. Бывшие заключенные и бывшие прокуроры. Евреи, православные, мусульмане и дзэн-буддисты.

При этом в нас много общего. Наш тоталитарный опыт. Болезненная чувствительность к демагогии. Идиосинкразия к пропагандистской риторике.

И пороки у нас общие. Нравственная и политическая дезориентация. Жизнестойкость, переходящая в агрессию. То и дело проявляющаяся неразборчивость в средствах.

Мы не лучше и не хуже старых эмигрантов. Мы решаем те же проблемы. Нам присущи те же слабости. Те же комплексы чужестранцев и неофитов.

Мы так же болеем душой за нашу ужасную родину. Ненавидим и проклинаем ее тиранов. Вспоминаем друзей, с которыми разлучены.

Мы не хуже и не лучше старых эмигрантов. Просто мы — другие.

Мы приехали в семидесятые годы. Нас радушно встретили. Помогли нам адаптироваться и выстоять. Приобщиться к ценностям замечательной страны. Нам удалось избежать того, что пережили старые эмигранты. И мы благодарны всем, кто способствовал этому.

Мы вывезли из России не только палехские шкатулки. Не только коралловые и янтарные бусы. Не только пиджаки из кожзаменителя.

Мы вывезли свои дипломы и научные работы. Рукописи и партитуры. Картины и открытия.

Мы начали создавать газеты и журналы. Телевизионные студии и финские бани. Рестораны и симфонические оркестры.

Мы ненавидим бесплодное идеологическое столочерчение. Нас смешат инфантильные проекты реорганизации тоталитарного общества. Потешают иллюзии религиозного возрождения. Мы поняли одну чрезвычайно существенную вещь. Советские лидеры — не инопланетные. Не космические пришельцы. А советская власть — не татаро-монгольское иго. Она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях. В наших пристрастиях и антипатиях. В нашем сознании и в нашей душе. Советская власть — это мы.

А значит, главное для нас — победить себя. Преодолеть в себе раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста.

Вы пишете:

«Есть только один враг — коммунизм!»

Это неправда. Коммунизм не единственный враг. Есть у нас враги и помимо обветшалой коммунистической доктрины. Это — наша глупость и наше безбожие. Наше себялюбие и фарисейство. Нетерпимость и ложь. Своекорыстие и продажность...

Когда-то Иосифа Бродского спросили:

— Над чем вы работаете?

Поэт ответил:

— Над собой...

Вы обрушиваетесь на дерзкий, самостоятельный, формирующийся еженедельник. Обвиняете его в смертных грехах.

Что произошло! Чем мы вас травмировали!

И вновь я отвечаю — фактом нашего существования.

Была одна газета — «Слово и дело». Властительница дум. Законодательница мод и вкусов. Единственная трибуна. Единственный рупор общественного мнения.

В этой газете можно было прочесть любопытные вещи. Что Иосиф Бродский не знает русского языка. Что Россия твердо стоит на пути христианского возрождения. Что в борьбе против коммунистов любые средства хороши. Что Адриана Делианич выше Набокова.

И все кивали. Затем возник наш еженедельник. И началась паника в старейшей русской газете:

— Да как они смеют?! Да кто им позволил?! Да на что они рассчитывают?! (А мы-то, грешным делом, рассчитывали именно на вас.)

Вы утверждали, господин Боголюбов:

— Прогорите! Лопнете! Наделаете долгов!

Вы многого не учили. Не учили жизнестойкости третьей эмиграции. Меры нашего энтузиазма. Готовности к самопожертвованию.

Еженедельник существует. Монополия нарушена. Возникли новые точки зрения, новые оценки, новые кумиры.

И вы, господин Боголюбов, забили тревогу. Вы отказались поместить нашу рекламу. Запретили своим авторам печататься у нас. Стали обрабатывать наших партнеров и заказчиков.

Теперь вы хитроумно объявляете себя жертвой политической критики. А нас — советскими патриотами и функционерами КГБ.

Это — уловка. Мы не подвергали вашу газету идеологической критике. Для этого она слишком безлика. Мы критиковали профессиональные недостатки газеты. Ее неуклюжий и претенциозный язык. Консервативное оформление. Ее прекраснодушность и бесконфликтность. Тусклую атмосферу исторических публикаций.

Мы признаем заслуги вашей газеты. Мы также признаем ваши личные заслуги, господин Боголюбов. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты. И требовать от ее администрации честного делового поведения в рамках федеральных законов.

Вы озаглавили статью — «Доколе?». По всей статье рассыпаны таинственные намеки. Упоминаются какие-то загадочные инстанции. Какие-то неназванные зловещие силы. Какие-то непонятные органы и учреждения.

Дома бытовало всеобъемлющее ругательство — «империалист». Что не так — империалисты виноваты.

Здесь — «агенты КГБ». Все плохое — дело рук госбезопасности. Происки товарища Андропова.

Пожар случился — КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло — под нажимом КГБ. Жена сбежала — не иначе как Андропов ее охмурил. Холода наступили — знаем, откуда ветер дует.

Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупы и бездарны — Андропов ни при чем. У него своих грехов хватает. А у нас — своих.

Так зачем же нагнетать мистику? Зачем объяснять свои глупости, хитрости и неудачи происками доблестных чекистов? Зачем в благодатной Америке корчить из себя узников Лубянки?!

Это неприлично и смешно.

КГБ здесь вне закона. Пособничество КГБ — судебно-наказуемое деяние. Голословное обвинение в пособничестве КГБ — также является наказуемым деянием. А именно — клеветой.

Надеюсь, с этим покончено?

Вы пытались удушить наш еженедельник самыми разными методами. Вы лишили нас рекламы и запугали многих авторов. Вы использовали еще одно средство — заговор молчания. Вы чванливо игнорировали «Зеркало». Притворялись, что его не существует.

Сейчас этот заговор нарушен. Великий немой заговорил. Правда, он заговорил крикливым, истерическим голосом. С неясными витиеватыми формулировками:

«Так называемый еженедельник...», «Сомнительный бульварный листок...» А также — «некий господин из бывших вертухаев...».

И все-таки заговор нарушен. Я считаю, что это маленькая победа демократии. И надеюсь, разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших эмигрантских проблемах.

Мы готовы к этому разговору! Готовы ли к нему вы?

К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать, вычеркивая отдельные строки. Исправить опечатки будет невозможно.

Уважающий вас Сергей Довлатов

КУХНЯ

Увы, дела в редакции шли не лучшим образом. Боголюбов, конечно, отравлял нам существование. Но и сами мы делали разнообразные глупости.

Отсутствие денег порождало легкую нервозность. Мы начали ссориться.

Баскин, например, постепенно возненавидел Мокера. Он называл его «кипучим бездельником». А ведь Мокер казался поначалу самым энергичным. И деньги раздобыл фактически он.

Наверное, это была вершина его жизнедеятельности. Единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства.

После этого Мокер не то чтобы стал лентяем. Но ему категорически претили будничные административные заботы. Он ненавидел счета, бумаги, ведомости, прејскуранты. Реагировал на одно письмо из десяти. При этом забывал наклеивать марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначил свидание. Короче, Виля был чересчур одухотворенной личностью для простой работы.

Зато целыми днями, куря сигару, говорил по телефону. Разговоры велись по-английски. Содержание их было нам малодоступно. Однако, беседуя, Мокер то и дело принимался хохотать. На этом основании Баскин считал все его разговоры праздными.

Мокер оправдывался:

— Я генерирую идеи...

Баскина раздражало слово «генерирую».

Мокер тоже не жаловал Баскина. Он называл его «товарищем Сталиным». Обвинял в тирании и деспотизме.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Баскин и Мокер сильно враждовали. Я пытался быть миротворцем. Я говорил Баскину:

«Эрик! Необходим компромисс. То есть система взаимных уступок ради общего дела».

Он перебивал меня:

«Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Мокер становится на колени и при всех обещает честно работать. Тогда я его, может быть, и прощу...»

Дроздов, наоборот, работал много и охотно. Он был готов писать на любые темы. В любых существующих жанрах. А главное — с любых позиций.

Случалось мне давать ему на рецензию книги. Дроздов уточнял:

— Похвалить или обругать?

Однажды Баскин заявил:

— Мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта!

Дроздов заинтересованно приподнялся:

— На чьей стороне?..

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лева Дроздов говорил:

«За что все так ненавидят евреев? По-моему, румыны и китайцы еще хуже...»

Ларри Швейцер в редакции появлялся не часто. Первые месяцы вел себя деликатнейшим образом. Казалось, газета его совершенно не интересует. Важно, что она есть. Фигурирует в соответствующих документах. Для чего ему газета, я так и не понял.

Затем он стал более придирчивым. Видимо, у него появились советники и консультанты.

Как-то раз мы давали израильский путевой очерк. Сопроводили его картой Иерусалима.

На следующее утро в редакции появился Швейцер:

— Что вы себе позволяете, ребята? Что это за гнусная антисемитская карта?! Там обозначены крестиками православные церкви.

Баскин сказал:

— Мы не виноваты.

— Кто же виноват? — повысил голос Швейцер.

— Крестоносцы, — ответил Баскин, — они построили в Иерусалиме десятки церквей.

Тогда Ларри Швейцер закричал:

— Пускай ваши засранные крестоносцы издадут собственный еженедельник! А мы будем издавать еврейскую газету. Без всяких православных крестов. Этого еще не хватало!

— Ну и мудака! — сказал Баскин.

— Что такое — «нуйм удак»? — внезапно заинтересовался Швейцер.

— Идеалист, романтик, — перевел Виля Мокер...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой друг Изя Шапиро часто ездил в командировки по Америке. Оказываясь в незнакомом городе, Изя первым делом брал телефонную книгу. Его интересовало, много ли в городе жителей по фамилии Шапиро. Если таковых было много, город Изе нравился. Если мало, Изю охватывала тревога. В одном техасском городке Изя, представляясь хозяину фирмы, сказал:

«Я — Изя Шапиро».

«Что это значит?» — удивился бизнесмен.

И все-таки дело шло. О нас писали крупнейшие американские газеты. Две статьи вышли под одинаковыми заголовками — «Русские идут».

К нам приходили радио- и тележурналисты. Нами интересовались славистские кафедры. Мы давали бесчисленные интервью.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Журналист спросил Вилю Мокера:

«На родине вы, очевидно, были диссидентом?»

Мокер ответил:

«Достаточно того, что я был евреем...»

Короче, резонанс мы вызвали довольно бурный.

НАШИ ЛЮДИ

За год мы обросли целым кругом постоянных внештатных сотрудников. Это были разные, в основном талантливые и симпатичные люди. Платили мы им сушие гроши.

Среди наших авторов выделялся публицист Зарецкий. Когда-то он был известным советским писателем. Выпустил двадцать шесть толстых книг о деятелях науки. Достигнув творческой зрелости, начал писать о гениальном биологе Вавилове. И тут его пригласили в КГБ:

— Разве товарищ публицист не знает, что Вавилов был арестован как шпион? Что он скончался в лагерном бараке? Ах знает, и все-таки собирается писать о нем книгу?! Разве мало у нас гениальных людей, которые умерли в собственных постелях?..

— Раз, два и обчелся! — сказал Зарецкий.

Так начались его разногласия с властями. Через год Зарецкий эмигрировал.

Этот был талантливый человек с дурным характером. При этом самоуверенный и грубый. Солидные годы и диссидентское прошлое возвышали Зарецкого над его молодыми коллегами.

С Мокером он просто не здоровался. Администратор для Зарецкого был низшим существом.

Разговаривая с Баскиным, он простодушно недоумевал:

— Так вы действительно увлекались хоккеем? Что же вы писали на эту странную тему? Если не ошибаюсь, там фигурируют гайки и клюшки?

— Не гайки, а шайбы, — мрачно поправлял его Эрик.

Зарецкий спрашивал Дроздова:

— Скажите, у вас есть хоть какие-нибудь моральные принципы? Самые минимальные? Предположим, вы могли бы донести на собственного отца? Ну, а за тысячу рублей? А за двадцать тысяч могли бы?

Дроздов отвечал:

— Не знаю. Не думаю. Вряд ли...

Ко мне Зарецкий относился чуть получше. Хотя, разумеется, презирал меня, как и всех остальных. Его редкие комплименты звучали примерно так:

— Я пробежал вашу статью. В ней упомянуты Толстой и Достоевский. Оказывается, вы читаете книги.

Выносили его с трудом. Но у Зарецкого была своя аудитория. За это старику многое прощалось.

Кроме того, он был прямой и честный грубиян. Далеко не худший тип российского интеллигента...

Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный, добросовестный и компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами:

«Будущее покажет».

Наконец я ему сказал:

— Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, черт возьми, но будь смелее.

Гуревич сказал:

— Постараюсь.

Теперь его обзоры заканчивались словами:

«Поживем — увидим».

Отдел театра и кино вела у нас супружеская пара Лисовских. Толя и Рита. Толя был инфантильным, капризным, начитанным мальчиком с хорошим английским. Рита обладала волевым и напористым характером. Как ни странно, их брак получился удачным. Хотя Рита была старше мужа лет на двадцать. Я с юности знал ее по Ленинграду.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то мы завтракали с Лисовскими в пиццерии. Рита вышла позвонить. Толя вдруг покраснел и спрашивает:

«Это правда, что вы ухаживали за моей женой?»

Я мягко ответил:

«Правда. Но это было за год до вашего рождения...»

Статьи они писали быстро и талантливо.

Отделом юмора заведовал Соколовский. Один из самых ярких людей в эмиграции. Писал он с необычайной легкостью и мастерством. Чаще всего это были стихотворные фельетоны. Или миниатюры примерно такого содержания:

Трещит на улице мороз,
Снежинки белые летают,
Замерзли уши, мерзнет нос...
Замерзло все. А деньги — тают!

Кроме журналистов, в редакции постоянно находились самые загадочные личности. К нам тянулись все обездоленные, праздные, разочарованные, запутавшиеся люди. Тем более что рабочий день у нас, как правило, заканчивался выпивкой.

Заходил эстражник Беленький, который так и не смог получить работу. Зато успел пристраститься к марихуане.

Заезжал на своем радиофицированном такси бывший фарцовщик Акула. Рассказывал о ночных похождениях в Гарлеме и Бронксе.

Например, он говорил:

— Америка любит сильных, мужественных и хладнокровных. Вот уже год я занимаюсь карате. Под сиденьем у меня хранится браунинг. В кармане — нож. Мои нервы превратились в стальные тросы. Как-то останавливают меня двое черных. Что-то говорят по-своему. Я понял только одно слово «деньги». А у меня было долларов пятьдесят...

— Ну и чем же все это кончилось? — спрашивали мы.

— Отдал им пятьдесят долларов и рад был, что ноги унес, — мрачно заканчивал Акула...

Появлялся у нас религиозный деятель Лемкус. Говорил, что ведет на какой-то загадочной радиостанции передачи о любви и христианском смирении. Параллельно торгует земельными участками в Рочестере.

Баскин подозрительно спрашивал:

— Что такое Рочестер? Может, это название кладбища?

— Ничего подобного, — заверял его Лемкус, — это сказочное место. Вы можете купить там недорогое бангало. Эрика раздражало слово «бангало»...

Заходил в редакцию и отставной диссидент Караваев. Это был прирожденный революционер, темпераментный, мужественный и самоотверженный. Недаром он двадцать лет провел в советских лагерях.

Караваев ненавидел советскую власть и отважно противостоял

ее давлению. На счету его было девять голодовок и тринадцать месяцев в ШИЗО.

На одном из судебных процессов Караваеву задали вопрос:

— Ваша национальность?

— Заключенный, — ответил Караваев.

Наконец его выпустили по ходатайству Киссинджера. И Караваев оказался на свободе.

Первую неделю он беспрерывно давал интервью западным газетам. Затем прочитал несколько лекций. Опубликовал в русской прессе десяток статей. Речь в этих статьях шла о преимуществах демократии над тоталитаризмом.

Через шесть недель Караваев исчерпал все свои мысли. Отныне ему было совершенно нечего делать.

Профессии он не имел. Языком овладеть не пытался. Литературных способностей не обнаружил. Становиться таксистом ему не хотелось.

Караваев был только героем. К сожалению, это не профессия.

Он ненавидел советский режим. Однако жизнь без него для Караваева лишилась смысла.

Он все больше пил. Неумоимо создавал какие-то партии, лиги, объединения. Писал нескончаемые манифесты и декларации. Призывал окружающих к борьбе за новую Россию. Как, впрочем, и за новую Америку.

Все его произведения начинались словами:

«В обстановке надвигающегося кризиса демократии считаю целесообразным заявить...»

Мы испытывали к нему глубокое сочувствие.

Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дореволюционной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу:

«Барон учтиво приподнял изящное соломенное канапе...»

(Автор, видимо, хотел сказать — канотье.)

Печатать эти рассказы, да еще в газете, было невозможно. Караваев затаил на меня обиду...

Реже других заглядывал экономист Скафарь, который уже год подыскивал невесту. На это уходили все его силы. Пока что брачные конторы рекомендовали ему всякий залежалый товар.

Да и сам экономист едва ли был завидным женихом. Чужестранец в синтетическом пиджаке, без определенных занятий. Вряд ли на такого польстится мадемуазель Брук Шилдс...

Жили мы довольно весело, хотя тучи на горизонте уже сгушались...

БРЕМЯ ДЕМОКРАТИИ

В Союзе нам казалось, что мы убежденные демократы. Еще бы, ведь мы здоровались с уборщицами. Пили с электромонтерами. И, как положено, тихо ненавидели руководство.

Тоталитаризм нам претил. И мы ощущали себя демократами.

Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на Запад. Приехали, осмотрелись. И стало ясно, что выбрать демократию недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.

Профессией надо овладеть. То есть учиться. Осваивать знания.

С демократией такая же история. Потому что демократия — это великая сила, но и тяжелое бремя.

В редакции я многое понял. Ощутил, например, всю степень бессилия мистера Рейгана.

Давить — нельзя. Приказывать — нельзя. Самые незначительные вопросы решаются голосованием.

А главное, все без конца дают тебе советы. И ты обязан слушать. Иначе будешь заклеен как авторитарная личность...

В Союзе мы были очень похожи. Мы даже назывались одинаково — «идейно чуждыми». Нас сплачивали общие проблемы, тяготы и горести. Общее неприятие режима. На этом фоне различия были едва заметны. Они не имели существенного значения. Не стукач, не воруга — уже хорошо. Уже достижение.

Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружили самые разные лица.

Есть среди нас либералы. Есть демократы. Есть сторонники монархии. Правверные евреи. Славянофилы и западники. Есть, го-

ворят, в Техасе даже один марксист. И у каждого — свое законное, личное, драгоценное мнение. Так что любой разговор немедленно перерастает в дискуссию.

Настоящему капиталисту легче. У него в руках механизмы финансового стимулирования. А наши-то сотрудники работали почти бесплатно. А если ты человеку не платишь, значит, хотя бы должен его любить...

В общем, мало того что нас давили конкуренты. Мало того что публику иногда шокировали наши выступления. Но и в самой редакции проблем хватало.

Дело шло с перебоями, рывками.

БИЗНЕС НЕ ПОРОК

Мы постигали азбучные истины. Азы капиталистического производства. Так, мы обнаружили, что бизнес — не порок. Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны.

В Москве «деловыми людьми» называют себя жулики и аферисты. Понятия «маклер», «бизнесмен» ассоциируются с тюремной решеткой.

А уж в литературной, богемной среде презрение к деловитости — нескрываемое и однозначное.

Ведь мы же поэты, художники, люди искусства! Эдакие беспечные, самозабвенные жаворонки! Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» — нам и выговорить-то противно. По-нашему, уж лучше красть, чем торговать.

Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий на рынке лимонами, — объект бесконечных презрительных шуток.

В Америке, мне кажется, бизнесмен — серьезная, уважаемая профессия. Требуется ума, проницательности, высоких моральных качеств. Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа. А в случае удач — тем более.

Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке.

Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? Двести, триста тысяч? А люди здесь ворочают миллиардами.

Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.

Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному, гармоническому тождеству усилий и результата. Самым доступным показателем которого является цифра...

Короче, нам требовался бизнесмен-менеджер. Попросту говоря, хороший администратор. Деловой человек. Потому что Мокер занимался только общими вопросами.

Журналистского опыта было достаточно. С административными кадрами дела обстояли значительно хуже. Умный пойдет в солидную американскую фирму. Глупый вроде бы не требуется. А без хорошего менеджера работать невозможно.

Тем более что мы узнали столько нового! Во-первых, окончательно стало ясно, что наша газета — товар. Примириться с этой мыслью было трудно.

Вы только подумайте! Любимая, родная, замечательная газета! Плод бессонных ночей! Результат совместных героических усилий! Наше обожаемое чадо, боготворимое дитя! Нетленный крик души! И вдруг — товар! Наподобие колбасы или селедки...

Увы, все это так. Ты можешь написать «Четырнадцатую симфонию», «Гернику», «Анну Каренину». Создать искусственную печень, лазер или водородную бомбу. Ты можешь быть гением и провидцем. Великим еретиком и героем труда. Это не имеет значения. Материальные плоды человеческих усилий неминуемо становятся объектом рыночной торговли.

В сфере духа Модильяни — гений. А художник Герасимов — пошляк и ничтожество. Но в сфере рынка Модильяни — хороший товар, а Герасимов — плохой. Модильяни рентабелен, а Герасимов — нет.

Законам рынка подчиняется все, что создано людьми. И законы эти — общие. Для Зарецкого и Микеланджело. Для гусиных желудков и еженедельника «Зеркало»...

Я все твердил:

— Без хорошего администратора дело не пойдет...

Баскин соглашался:

— Значит, надо выгнать этого бездельника Мокера...

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

В декабре журнал «Ньюйоркер» опубликовал мой рассказ. И мне действительно заплатили около четырех тысяч долларов.

Линн Фарбер казалась взволнованной и счастливой. Я тоже, разумеется, был доволен. Но все-таки меньше, чем предполагал. Слишком долго, повторяю, я ждал этой минуты. Ну а деньги, естественно, пришлось очень кстати. Как всегда...

Все меня поздравляли. Говорили, что перевод выразительный и точный.

Затем мне позвонил редактор «Ньюйоркера». Сказал, что и в дальнейшем хочет печатать мои рассказы. Интересовался, как я живу.

Я сказал:

— Извините, у меня плохой английский. Вряд ли мне удастся выразить свои переживания. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, вы меня понимаете?

Редактор ответил:

— Все это даже американцу понятно...

Деньги, полученные в «Ньюйоркере», мы, к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за девять тысяч. Сделала первый взнос.

Заказы мы надеялись получать у русских издателей. Например, у Карла Проффера в «Ардисе». И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу.

Линн Фарбер взялась переводить следующий рассказ. В эти же дни ей позвонил литературный агент. Сказал, что готов заниматься моими делами. Поинтересовался, есть ли у меня законченная книга. Линн Фарбер ответила:

— Как минимум штук пять...

Агента звали Чарли. Я сразу же полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу брал руками.

Для меня это было важно. Поскольку в ресторанах я испытываю болезненный комплекс неполноценности. Не умею есть как следует. Боюсь официантов. Короче, чувствую себя непрощеным гостем.

А с Чарли мне всегда было легко. Хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это получается.

К тому же Чарли был «розовым», левым. А мы, российские беженцы, — правые все как один. Правее нас, как говорится, только стенка.

Значит, я был правым, Чарли левым. Но мы великолепно ладили. Я спрашивал его:

— Вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый? Почему живешь на Семьдесят четвертой улице?

Чарли в ответ говорил:

— Во-первых, я, к сожалению, не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живется лучше...

В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди...

Я твердил:

— Спасибо тебе, Чарли! Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты идеалист, хоть и американец.

Чарли отвечал мне:

— Не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя...

Я все думал — бывает же такое! Американец, говорящий на чужом языке, к тому же «розовый», левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело — человеческое общение...

ПИСЬМО ОТТУДА

Это письмо дошло чудом. Вывезла его из Союза одна героическая француженка. Храни ее Бог, которого нет..

Из Союза она нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по двадцать, тридцать штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана.

А мы еще ругаем западную интеллигенцию...

Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше:

«...Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично — живая, яркая, талантливая. Есть в ней шегольство, конечно — юмор и так далее. В общем, много есть хорошего.

Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает.

Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности.

Твоя эмиграция — не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартирьер-съемщик. И несущественно где — в Америке, в Японии, в Ростове...

Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко. Все остальное лишь унижает достоинство писателя. Хотя растут, возможно, шансы на успех.

Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. Ты ехал — рассказать. Так помни же о нас...

Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными, динамичными. Почти такими же стремительными, как ваши автомобили. Почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьезные проблемы. Например: какой автомобиль потребляет меньше бензина?

Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так, игра, притворство. Да какие вы американцы?! Бродский, о котором мы только и говорим? Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Стремянной до Штаба? Смешнее этого трудно что-нибудь придумать.

Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое. То есть мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и эки. Мы.

Еще раз говорю — помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи.

В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как — это наше дело!..»

Я много раздумывал над этим письмом.

Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло.

Если изменила любимая, благородный человек говорит:

— Я был невнимателен и груб. Подавлял ее индивидуальность. Не замечал ее проблем. Оскорблял ее чувства. Я сам толкнул ее на этот шаг.

Если друг оказался предателем, благородный человек говорит:

— Я раздражал его своим мнимым превосходством. Высмеивал его недостатки. Задевал его амбиции. Я сам вынудил его к предательству...

А если произошло что-то самое дикое и нелепое? Если родина отвергла нашу любовь? Унизила и замучила нас? Предала наши интересы?

Тогда благородный человек говорит:

— Матерей не выбирают. Это моя единственная родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная и спившаяся! Потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей! Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой?!

Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче?

Родина — это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих коричневых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки... Нелепые, ужасающие стихи... Мысли о самоубийстве... Стакан «Агдама» в подворотне... Армейская махорка... Дочка,

варежки, рейтузы, подвернувшийся задник крошечного ботинка... Косо перечеркнутые строки... Рукописи, милиция, ОВИР.. Все, что с нами было, — родина. И все, что было, — останется навсегда...

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

В редакции сгущались тучи. Ларри Швейцер становился все более нудным и придиричивым. Теперь ему хотелось просматривать газетные материалы заранее. Видно, Ларри обзавелся какими-то цензорами, читающими по-русски. Подозревать в этом можно было любого из отвергнутых нами авторов. Позднее мы выяснили, что этим занимался Дроздов.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды Ларри Швейцер появился в редакции недовольный и злой. Он спросил:

«Зачем вы, ребята, упоминаете свинину? Еврейским читателям это неприятно».

Я не понял.

Ларри развернул последний номер газеты. Ткнул пальцем в экономический обзор, написанный Зарецким. Речь шла о хозяйственных проблемах в Союзе. В частности, об уменьшении производства свинины...

«Ларри, — говорю, — это же статья на хозяйственную тему!»

Швейцер рассердился:

«Упомянуть свинину запрещается. Замените ее фаршированной рыбой...»

Доходов газета не приносила. Убытки постоянно росли. Обстановка становилась все более напряженной.

Мы узнали, что Дроздов ходил на прием к Боголюбову. Каялся и просился на работу. Говорил, что Довлатов и Баскин затянули его в омут либерализма. В результате Дроздову что-то обещали...

Баскин сказал ему:

— Что же ты делаешь, мерзавец?

— А что? — поразился Дроздов. — Ничего особенного! Мы же все — антикоммунисты. Наши цели общие...

Я говорю:

— Ты не антикоммунист. Ты приспособленец. Думаешь, ты переменил убеждения? Ничего подобного! Ты переменил хозяев. А холуи везде нужны. Работа им всегда найдется.

Баскин махнул рукой:

— Да что с ним говорить!..

Мокер сидел, не вмешиваясь. Знал, что Баскин хочет от него избавиться. Я вроде бы занимал нейтральную позицию. А Мокеру требовались союзники. Рассчитывать он мог только на Дроздова.

Тут вмешалась наша машинистка. Видно, Дроздов ей чем-то не угодил. Она сказала:

— С этим типом бесполезно разговаривать. Он все равно не поймет. Таким нужны розги.

— Это мысль, — задумчиво выговорил Баскин.

Затем размашисто и сильно ударил Дроздова по лицу.

Я и Мокер схватили его за руки.

Реакция Дроздова была совершенно неожиданной. Он вдруг заметно расцвел. И заговорил, обращаясь к Эрику, проникновенно, с чувством:

— Ты прав, старик! Ты абсолютно прав! Это была моя ошибка. Непростительная ошибка. Я сделал глупость...

— Ну, что я вам говорила? — обрадовалась машинистка.

Все молчали. Настроение в редакции было мрачное и подавленное. И только левая щека Дроздова была на этом фоне единственным ярким пятном...

А я все думал — что же происходит? Ей-богу, смущает меня кипучий антикоммунизм, завладевший умами партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург. А где были вы?

Андропова через океан критиковать — не подвиг. Вы Боголюбова покритикуйте. И тут уж я вам не завидую...

Неожиданно распахнулась дверь, и Гуревич с порога выкрикнул:

— Только что было покушение на Рейгана!..

ГРУСТНЫЙ МОТИВ

Боже, в какой ужасной стране мы живем!

Можно охватить сознанием акт политического террора. Признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты. С пониманием обсудить мотивы убийства из ревности. Взвесить любой человеческий импульс.

В основе политического террора лежит значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения. Идея социального равенства. Идея всеобщего благоденствия.

Сами идеи — достойны, подчас — благородны. Вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей.

В политическом террористе мы готовы увидеть человека. Фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам... Но — человека.

Мы готовы критиковать его программу. Оспаривать его идеи. Пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу.

Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы. То, что происходит в Америке, находится за объяснимой гранью добра и зла.

Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги.

Нам известно заключение психиатрической экспертизы. Джон Хинкли признан вменяемым, то есть — нормальным человеком.

Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание малознакомой женщины. Беда угрожает стране, где такое становится нормой!

Что-то нарушено в американской жизни...

Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем. Знаменитым спортсменом или видным ученым. Крупным бизнесменом или политическим деятелем. Все это требует ума, способностей, долготерпения.

А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок.

И все! Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. О тебе будет говорить вся страна. Правда, недолго. До следующего кровавого злодеяния...

Что-то нарушено в американской жизни!

Итальянская полиция не без труда освобождает генерала Дозьера. Америка ликует. Нам вернули украденного боевого генерала!

Что происходит?! В Иране студенты хватают заложников. Ведется унижительный торг. Наконец измученных дипломатов почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу. Шампанское льется рекой...

До чего же низко упал престиж Америки! Дипломаты счастливы, что их не перестреляли, как уток.

Генерал Дозьер сообщает жене:

— Я чувствую себя превосходно!

А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой днем воруют полководцев. Генерал — не пудель. Генералов надо охранять...

Видит Бог, мы покорены Америкой. Ее щедростью и благородством. И все же что-то нарушено...

Женщина тонет в реке Потомак. Некий храбрец бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала!

Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, журналы, радио и телевидение поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему свое кресло возле Первой леди. Говорят, скоро будет фильм на эту тему. А потом и мюзикл...

Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лет десять назад я спас утопающего. Вытащил его на берег Черного моря.

Жили мы тогда в университетском спортивном лагере. Ко мне подошел тренер и говорит:

«Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней линейке».

Я обрадовался. Мне нравилась гимнастка по имени Люда. И не было повода с ней заговорить. Вдруг такая удача.

Стоим мы на вечерней линейке. Тренер говорит:

«Довлатов, шаг вперед!»

Я выхожу. Все на меня смотрят. И Люда в том числе. А тренер продолжает:

«Обратите внимание! Живот выпирает, шея неразвитая, плава-ет, как утюг, а товарища спас!..»

После этого я на Люду и смотреть боялся.

Так что же происходит в Америке? Безумие становится нормальным явлением? Нормальный жест воспринимается как подвиг?

И я, человек неверующий, повторяю:

— Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести силы, минуя наш кошмарный опыт! Внуши ей инстинкт самосохранения! Заставь покончить с губительной беспечностью!

Не дай разувериться, отчаяться, забыть — в какой прекрасной стране мы живем!

ИЗ АМЕРИКИ С ЛЮБОВЬЮ

Прошло еще два месяца. Второй мой рассказ был одобрен журналом «Ньюйоркер». Одновременно Чарли начал добиваться контракта с приличным издательством. Короче, происходило что-то важное. А я все думал о газете. Хотя пытался говорить себе: «Осуществляются твои мечты...»

В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы гениальные ребята!..»

И вот я на Западе. Гения из меня пока не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского беллетриста. В одного из многих американских литераторов русского происхождения. Боюсь, что мои друзья в России по-прежнему живут иллюзиями. Возможностей там явно не прибавилось. А следовательно, количество непризнанных гениев заметно возросло.

Мне давно хотелось написать им примерно следующее:

«Дорогие мои!

Вынужден быть крайне лаконичным. Поэтому только о главном. Только о наших с вами литературных делах.

Знайте, что Америка — не рай. Оказывается, здесь есть все — дурное и хорошее. Потому что у свободы нет идеологии. Свобода в одинаковой мере благоприятствует хорошему и дурному. Свобода — как луна, безучастно освещающая дорогу хищнику и жертве...

Перелетев океан, мы живем далеко не в раю. Я говорю не о колбасе и джинсах. Я говорю только о литературе..!

Первый русский издатель на Западе вам скажет:

— Ты не обладаешь достаточной известностью. Ты не Солженицын и не Бродский. Твоя книга не сулит мне барышей. Хочешь, я издам ее на твои собственные деньги?..

Первый американский издатель выскажется гораздо деликатнее:

— Твоя книга прекрасна. Но о лагерях мы уже писали. О фарцовщиках писали. О диссидентах писали. Напиши что-то смешное о Древнем Египте...

И вы будете лишены даже последнего утешения неудачника. Вы будете лишены права на смертельную обиду. Ведь литература здесь принадлежит издателю, а не государству. Издатель вкладывает собственные деньги. Почему же ему не быть расчетливым и экономным?

Один издатель мне сказал:

— Ты жил в Союзе и печатался на Западе. Мог легко угодить в тюрьму или психиатрическую больницу. В таких случаях западные газеты поднимают шум. Это способствует продаже твоей книги. А сейчас ты на воле. И в тюрьму при нынешнем образе жизни едва ли угодишь. Поэтому я откладываю издание твоей книги до лучших времен...

Так и сказал — до лучших времен. Это значит, пока я не сяду в американскую тюрьму...

Тем не менее вас издадут. По-русски и по-английски. Потому что издательств русских — около сотни, американских — десятки тысяч. Всегда найдутся деятели, которые уверены, что Ян Флеминг пишет лучше Толстого.

Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Потому что ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются.

Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит. Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное...

И еще одно предостережение. Оказавшись на Западе, вы перестанете чувствовать свою аудиторию. Для кого и о чем вы пишете? Для американцев о России? Об Америке для русских?

Оказывается, вы пишете для себя. Для хорошо знакомого и очень близкого человека. Для этого монстра, с отвращением наблюдающего, как вы причесываетесь у зеркала...

Короче, ваше дело раскинуть сети. Кто в них попадет — американский рабочий, французский буржуа, московский диссидент или сотрудник госбезопасности — уже не имеет значения...

Я знаю, что вам нелегко. Знаю, что изменилось качество выбора. Раньше приходилось выбирать между советским энтузиазмом и аполитичностью. Либо — партийная карьера, либо — монастырь собственного духа.

Раньше было два пути. Нести рассказы цензору или прятать в стол. Сейчас все по-другому. На Западе выходят десятки русских журналов и альманахов. Десятки издательств выпускают русские книги.

Так что приходится выбирать между рабством и свободой. Между безмолвным протестом и открытым самовыражением. Между немотой и речью...

Мы не осмеливаемся побуждать заключенных к бунту. Не смеем требовать от людей бесстрашия. Выбор — это личное дело каждого.

И все-таки сделать его необходимо. Как — это ваша забота и наша печаль.

Любящий и уважающий вас Сергей Довлатов».

ПОД ГОРУ

Атмосфера в редакции накалялась. Баскин и Дроздов не разговаривали между собой. Я изнурял Вилю Мокера соображениями дисциплины. Твердил, что без хорошего администратора газета погибнет.

Америка действительно страна неограниченных возможностей. Одна из них — возможность прогореть.

Ларри Швейцер стал довольно агрессивным. Он критиковал все, что бы мы ни делали. Видно, газета приносила ему серьезные убытки.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды Швейцер пришел в редакцию и говорит:

«Вы расходуете слишком много фотобумаги. Она дорогая. Что, если делать снимки на обычном картоне?»

Мы изумились:

«То есть как?!»

«Попробовать-то можно», — настаивал Швейцер...

Личные распри влияли на производственные отношения. Однажды в редакцию приехала сожительница Дроздова — Марина. Без единого звука она плюнула в нашу секретаршу Эмму. Та сейчас же плеснула в Марину горячим кофе. Женщины начали зло и беспомощно драться. Их разнимали все, кроме Дроздова. Потом он говорил:

— Женские дела меня не касаются...

Уходя и прикрывая расцарапанную щеку, Марина выкрикнула:
— Хоть бы сгорела эта поганая редакция!..

Обстановка в газете стала фантастической. Это был некий симбиоз коммунизма и варварства. Еда была общая. Авторучки, сигареты и портфели — общие. Зарплаты отсутствовали.

Но отношения вконец испортились. Как известно, вражда — это бывшая дружба.

Даже мы с Баскиным испытывали взаимное раздражение. Он считал меня бесхарактерным, вялым интеллигентом. А я его — прямолинейным, ограниченным тираном.

Что-то должно было случиться.

При этом чем хуже складывались обстоятельства в русской газете, тем успешнее шли мои дела в американской литературе. В апреле со мной подписали договор на книгу.

ОГОНЬ

В пять утра меня разбудил телефонный звонок. Бодрый голос спросил:

— Вы из русской газеты?

— Да.

— А я из полиции. У вас там пожар!

— Где? — не понял я.

— В редакции газеты. Срочно приезжайте к месту происшествия.

Этого еще не хватало!..

Я натянул брюки и побежал к Эрику. Тот уже все знал. Он был в костюме и даже при галстуке. Мало того, успел побриться, старый щеголь...

У лифта нам встретился Мокер. Ему уже тоже позвонили.

Дроздов жил в соседнем крыле. Мы решили для быстроты пройти через крышу.

Лева открыл нам сонный, в майке и трусах. Телефон он ночью выключает.

— Куда вы его тащите? — зашумела Марина. — Бессовестные! Он и так работает круглые сутки. Вчера явился около трех часов ночи... Вернее — сегодня...

Но мы уже спустились вниз. Дроздов застегивал на ходу брезентовую куртку.

Решили ловить такси. До метро от нас больше километра.

Машину удалось поймать только возле Квинс-бульвара. Подъехали к редакции минут через сорок. По дороге водителю нужно было заправиться.

У подъезда стояли два красных фургона. Рядом курили пожарные в шлемах и болотных сапогах. Под ногами извивались черные блестящие шланги.

Возле двери стоял полицейский. К нему мы и обратились. Он сказал:

— Не волнуйтесь, ребята. Пожар ликвидирован. Вам повезло, что напротив бордель. Девицы работают круглые сутки. Заметили огонь и позвонили. Могли ведь и не позвонить. Работа у девчат тяжелая, однообразная. А пожар все-таки развлечение...

Полицейский вызвал лифт. Держался он вполне миролюбиво. Не знаю, что тут преобладало, оптимизм или равнодушие...

Помещение редакции было залито водой. В лужах плавали обгоревшие хлопья бумаги. На почерневших стенах висели обрывки проводов. Стоял отвратительный запах мокрой гари. Пластмассовый корпус сборной машины сгорел. Диван и кресла превратились в черные обуглившиеся рамы. Телефонные аппараты расплавились. Стекла были выбиты.

В редакции находилось еще трое полицейских. Нас развели по углам и коротко допросили. Вернее, записали наши координаты. Помимо этого мне задали только два вопроса. Во-первых:

— Занимаетесь ли вы антигосударственной деятельностью?

Сначала я хотел ответить: «Неужели вы думаете, что если бы я и занимался, то...»

Потом сказал:

— Нет.

Тогда полицейский спросил:

— Как вы думаете, это поджог? Кого вы подозреваете? Кто мог это сделать? У вас есть конкуренты? Идеиные противники?

Я сказал:

— У меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что у меня нет идей.

— Это все, — сказал полицейский, — можете идти. Мы займемся расследованием. Завтра вам надлежит явиться по такому адресу.

Он протянул мне визитную карточку.

Я еще раз оглядел помещение. Диван и кресла были сдвинуты. Вернее — их почерневшие останки. За диваном у окна валялся корпус рефлектора.

Мои коллеги тоже освободились. Мы вышли на улицу. Пожарные сворачивали шланги.

Мы решили где-то позавтракать и выпить кофе.

На лбу у Баскина чернела сажа. Я хотел дать ему носовой платок. Эрик вытащил свой...

Все мы были подавлены. И только Дроздов осторожно воскликнул:

— Старики, а может, все это к лучшему? Давайте выйдем из пламени обновленными!..

— Уймись, — сказал ему Мокер.

Мы зашли в ближайшее кафе. Что-то заказали прямо у стойки.

Мокер прикурил и говорит:

— А что, если все это — дело рук Боголюбова? Разве трудно назвать ему за четыреста долларов любого уголовного?

Баскин перебил его:

— У меня другое подозрение. Что вы думаете насчет КГБ?

— Гениальная идея! — воскликнул Дроздов. — Надо сообщить об этом полиции! Не исключено, что КГБ и Боголюбов действовали совместно. Я в этом почти уверен... На сто процентов...

Тогда я повернулся к Дроздову и спрашиваю:

— Можешь раз в жизни быть приличным человеком? Можешь честно ответить на единственный вопрос? Ты ночевал в редакции с бабой?

Дроздов как-то нелепо пригнулся. Глаза его испуганно забегали. Он произнес скороговоркой:

— Что значит — ночевал? Я ушел, когда не было двух... Что тут особенного?

— Значит, ты был в редакции ночью?

Дроздов, потирая руки, захихикал:

— При чем тут это, старик? Ну был. Допустим, был... Все мы не ангелы... Это такая баба... Нечто фантастическое... У нее зад, как печь...

— Печь? — задумчиво выговорил Баскин. — Печь?!

Так значит — печь?!

Его лицо выражало напряженную работу мысли. Глаза округлились. На щеках выступили багровые пятна. Наконец он воскликнул:

— Ты оставил рефлектор, мерзавец! Ты кинул палку, сволочь, и удрал!

Я добавил:

— А над рефлектором болталась штора...

— Тихо, — сказал Мокер, — официант поглядывает.

— Клал я на официанта, — выкрикнул Баскин, — задушу гада!..

Дроздов повторял:

— Старички! Старички! Я был в невменяемом состоянии...

Я, можно сказать, впервые полюбил... Я бешено увлекся...

Баскин издал глухое рычание.

Я спросил у Мокера:

— Хоть компьютер-то был застрахован?

— Как тебе сказать?.. В принципе...— начал Мокер и осекся.

Рычание Баскина перешло в короткий дребезжащий смешок.

Тогда я сказал:

— Нужно выпить. Нужно выпить. Нужно выпить. А то будут жертвы. Необходимо выпить и мирно разойтись. Хотя бы на время.

Иначе я задушу Мокера, а Эрик — Левку...

— Сбегать? — коротко предложил Дроздов.

— Я пойду с тобой, — вызвался Мокер.

Кажется, впервые он решил совершить нечто будничное и заурядное. А может, боялся с нами оставаться. Не знаю...

Мы собрали по доллару. Виля с Дроздовым ушли.

Говорить было не о чем. Эрик решил позвонить жене. Через минуту он вернулся и сказал:

— Я пойду.

Затем подозвал официанта и оплатил. Мы даже не попрощались. Я посидел минуты две и тоже решил уйти. Пить мне не стоило. В час мы должны были увидеться с Линн Фарбер...

Я вышел на Бродвей. Прямо на тротуаре были разложены сумки и зонтики. Огромный негр, стоя возле ящика из-под радиолы, тасовал сверкающие глянцевые карты.

Дым от уличных жаровен поднимался к небу. Из порнографических лавок доносился запах карамели. Бесчисленные транзисторы наполняли воздух пульсирующими звуками джаза.

Я шел сквозь гул и крики. Я был частью толпы и все же ощущал себя посторонним. А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может быть, в этом и заключается главный секрет Америки? В умении каждого быть одним из многих? И сохранять при этом то, что дорого ему одному?..

Сегодня я готов был раствориться в этой толпе. Но уже завтра все может быть по-другому.

Потому что долгие годы я всего лишь боролся за жизнь и рассудок. В этом мне помогал инстинкт самосохранения. И может быть, еще сегодня я дорожу жизнью как таковой. Но уже завтра мне придется думать о будущем.

Да, я мечтал породниться с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. И еще меньше хотел, чтобы терпели, не любя.

Я мечтал о человеческом равнодушии. О той глубокой безучастности, которая служит единственной формой неоспоримого признания. Смогу ли я добиться этого?

Недостаточно полюбить этот город, сохранивший мне жизнь. Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к нему..

Я остановился перед витриной магазина «Барнис». Лица манекенов светились безучастностью и равнодушием.

Я постоял еще минуту и снова оказался в толпе. Она поглотила меня без всякого любопытства. Воздух был сыроватым и теплым. Из-под асфальта доносился грохот сабвея. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик.

Я двинулся вперед, разглядывая тех, кому шел навстречу.

Сентиментальный марш



АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Вариации для «Ундервуда» и голоса с непонятным акцентом

«Люби проездом родину друзей...»

Иосиф Бродский

Ах, как ярко сияют звезды в бессонные ночи! Как громко тикают часы!

Встань, подойди к окну. Увидишь плоские стены, огни на хайвее...

Все чужое кругом. Даже обрывки газет загадочны и непонятны...

Холодно и сыро в Нью-Йорке... Туман, туман... И время шумит, как тюремная стража...

Но крик твой беззвучен:

— Господи! Как я сюда попал?! И что же, наконец, произошло?!..

Довелось мне когда-то беседовать с престарелым зеком. Я тогда служил под Иоссером, на юге республики Коми. Звали старика — Владимир Тихонович Беланенко.

Был он хитрым, веселым и немного сумасшедшим. Короче говоря, типичным лагерником.

Числился в бараке дневальным. Выражаясь по-блатному — шнырем.

Сел Беланенко в шестнадцатом году. Получил две недели за кражу. Времена были очень либеральные. (Как сейчас в Америке.)

Я спросил его:

— Государя императора помнишь?

Дед кивнул.

— Александра Третьего помнишь?

Дед снова кивнул.

— А Ивана Грозного? — спрашиваю.

Владимир Тихонович закивал еще энергичнее.

Я убедился, что дед предрасположен к беседе и склонен к метафизике. Для укрепления знакомства я одарил его пачкой грузинского чая.

История Владимира Беланенко меня поразила. Всю жизнь он тянул нескончаемый лагерный срок. Без единого дня на свободе.

Потрясения семнадцатого года его не коснулись. Выдать себя за политического он не догадался. Пересидел гражданскую войну. (Что было не так уж глупо.) Затем пошли лагерные судимости. Кражи, поножовщина, неповиновение властям. В тридцать пятом году задушил надзирателя. Получил двадцать пять лет. Оттянул их до звонка. И снова что-то натворил.

К этому времени лагерь стал ему родным домом. Он просто не знал другой жизни. Мир был ограничен лагерным забором.

Жизнью своей он был вполне доволен. Высоко чтил местные порядки. Считался довольно respectable человеком.

На воле мне редко попадались такие благополучные, уравновешенные люди.

Тут сказывается известное нарушение пропорций. В зоне своя шкала материальных, физических, нравственных ценностей. Огрызок моркови вызывает здесь не меньше эмоций, чем изысканное ресторанное блюдо. Новые войлочные стельки делают человека богачом в глазах окружающих. Матерная перебранка с разводящим нарядчиком воспринимается как интеллектуальный триумф. Улыбка вольной женщины на этапе потрясает как головокружительная сексуальная авантюра.

Беланенко хорошо знал лагерный мир. И совершенно не знал другого, вольного. Воля пугала его своим безмерным разнообразием.

Он так и говорил:

— Ну, куда я пойду?..

В зоне его маршруты были определены на долгие годы. Четкий, замкнутый круг: медчасть — барак — столовая — инструменталка.

И вдруг такой человек оказывается на улице Ленина. Или — в районе Невского проспекта. Вместо узкой, знакомой тропы — бесчисленные городские магистрали. Тысячи путей в неведомое...

Его пугало разнообразие вариантов. (А это и есть — свобода.)
Лагерный мир азбучных истин казался уютным и родным.

Он не просто боялся воли. Он ее избегал. Шел ради этого на всевозможные ухищрения...

Когда приближался звонок, Беланенко «раскручивался». Совершал незначительное лагерное преступление. Тут очень важно было соблюсти меру. Недотянешь — отделаешься карцером. Переборщишь — усилят лагерный режим. (А могут и расстрелять.)

Беланенко умело придерживался золотой середины. Воровал активированную посуду. Выводил из строя ценные производственные механизмы.

Гнал самогон из мороженой картошки.

Всякий раз ему «наматывали» года три.

Жизнь его, как я слышал, закончилась трагически. Произошло вот что. Заканчивался очередной лагерный срок. Беланенко привычно «раскрутился». Но суда избежал. Не учел волны хрущевского либерализма. Получил десять суток ШИЗО (штрафной изолятор).

Вышел оттуда голодный, исхудавший, злой.

Звонок неотвратимо приближался. Беланенко стал нервничать. Совершал одно лагерное преступление за другим. Ему не везло. Кража медикаментов так и не была раскрыта. Попытка избить бригадира окончилась неудачей. Бригадир сломал ему два ребра.

До звонка оставались сутки. И тогда Беланенко потерял голову. Бросился с заточенным рашпилем на лагерного «кума». И часовой застрелил его с вышки.

Это все.

Люди погибают в борьбе за свободу.

Беланенко погиб, отстаивая свою неволю.

Лично я бы воздвигнул ему монумент...

У всех это начиналось по-разному. Я буду говорить о себе. Не из самолюбования, как дружелюбно подумает читатель Бушман (есть у меня такой неутомимый корреспондент). Любоваться особенно нечем. Просто собственный опыт мне доступней и ближе.

Я вспоминаю конец пятидесятых годов. Недолгая оттепель. Выставки импрессионистов. Выступление первых джазовых ансамб-

лей. Знаменитые университетские диспуты. Новинки переводной литературы. Фолкнер, Селинджер, Хемингуэй...

Возникает ощущение пространства. Не дает покоя жажда реализовать себя как личность.

Далее — неуклюжие творческие попытки. Литературные объединения. Коридоры издательств...

Лет десять можно пропустить. Страдания и муки начинающего автора отображены в литературе достаточно полно.

Дальнейшее можно изложить отрывисто, как бы пунктиром.

Сто моих рассказов было отвергнуто издательствами. «Ущербные мотивы, нездоровые тенденции. Какой-то странный юмор...»

Ладно, становлюсь журналистом. Все же — перо, бумага, типографская краска. Издали похоже на литературу.

1973 год. Республиканская партийная газета. Приличный оклад. Служебная машина. Еще немного, и человеком стану.

Звонок из КГБ. Прихожу. Сажусь.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Говорят, восхищаетесь подвигами Моше Даяна?

— Откуда вы знаете?

— Мы все знаем. Нам все заранее известно.

(Вот бы поинтересоваться: «А то, что Беленко военный самолет угонит? Это тоже было заранее известно?!...»)

Рукописи мои попадают на Запад (спасибо Игорю Ефимову). Затем рассказ в «Континенте». Большая публикация в Тель-Авиве...

Наконец лишаюсь последней халтуры — внутренних журнальных рецензий.

Далее год в безвоздушном пространстве. Обвинения в тунеядстве и притонодержательстве. Какие-то неясные побои в милиции. Девять суток в Каляевской тюрьме. (Отвлекусь и замечу: в тюрьме мне решительно не понравилось. Хотя бы потому, что наголо остригли. Фото прилагаю. Опять же — не из самолюбования. Для пушей убедительности.)

И вот — круг замкнулся. Перспектив никаких. Дилемма «ехать или не ехать» перерастает в альтернативу «ехать или садиться». Чего тут выбирать?! Между тюрьмой и Бродвеем не выбирают!

Дальше — ОВИР, таможня, венская колбаса.

Разумеется, у кого-то все происходило иначе. Есть люди, отдавшие себя политической борьбе. Преисполненные жертвенности, аскетизма и бесстрашия. Они пришли на Запад иными путями. Есть люди, болезненно переживавшие материальную нужду. Измученные непереносимыми бытовыми тяготами. Их расхождения с властями носили другой характер. Кого-то угнетало чувство расовой неполноценности. Кому-то надоело терпеть подавление личной инициативы...

Мне, повторяю, ближе и яснее собственный опыт...

Конечно, жизнь в Союзе была незавидная. Особенно в последние годы. И все же существовало какое-то подобие отдушины. Что-то напоминающее запасной выход. Нечто утешительно-призрачное.

Так, постепенно и бессознательно, завладела нашими душами АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА. Неясно и волнующе сияла она где-то за чертой.

Вообще, идея загробной жизни представляется мне гениальной. Недаром эта идея положена в основу любой религиозной системы. При этом, загробная жизнь в художественном отношении бесцветна и даже убога. Особенно — в положительном ее исполнении.

Зримые и ужасающие картины ада нарисованы Джойсом. (Не говоря о Данте.) Эстетического воплощения идеи рая не существует. Рай — призрачен и бесконфликтен. В нем отсутствуют страсти и пороки. (Как в послевоенной советской драматургии.) Известно только, что в раю хороший климат. А также — изобилие калорийных продуктов.

Честно говоря, рай напоминает сталинскую эпоху в прозе Бабаевского.

Короче говоря, рай прекрасен, но малоубедителен.

Столь же бесплотной выглядела наша американская мечта. Америка в мечтах рисовалась прообразом загробной жизни. Аналогом райского блаженства.

В Америке — свобода печати. В Америке — демократия и плюрализм. А главное, много джинсов, колбасы и шоколада.

Мы знали, что в Америке хорошо. И этого было достаточно.

И вот мы здесь. Как говорится, выбрали свободу. Накупили бахла в дешевых магазинах. Однако я не уверен, что все мы абсолютно счастливы.

Чужой язык оказался неприступной крепостью. Его можно разрушить, исковеркать. Победить его нельзя.

А ведь язык был чуть ли не единственным моим достоянием. Предметом особой гордости. Он придавал мне уверенность. Возвышал в собственных глазах.

Как я гордился тем, что умею разговаривать с академиками и зеками. С партийными функционерами и отставными хоккеистами. С профессором Лотманом и фарцовщиком Белугой.

Более того, язык надежно защищал меня.

Вспоминается такой эпизод. Шел я ночью проходными дворами в районе Лиговки. Навстречу — четверо парней. У одного — бутылка портвейна в руке. Я налево, они налево. Я направо, они направо.

Ребята явно ищут приключений. Что ты будешь делать? И круго — ни души.

Я остановился. Говорю:

— Вас и так — четверо на одну бутылку. А вы еще меня хотите пригласить!

Смотрю — заулыбались. А через минуту уже предлагали отхлебнуть из горлышка.

Правда, я гуманно отказался...

Извините за многословное отступление...

Человек очень быстро привыкает к хорошему. И очень медленно — к плохому.

И наоборот. Плохое забывается очень быстро. Хорошее — не забывается.

Я двух лет не живу в Америке. Иной раз захожу в магазин, а продавец чего-то не улыбается. Странно, думаю, зайду-ка, пожалуй, в другой магазин...

А что творилось в Союзе?! Заговоришь, бывало, с продавцом. На какую-нибудь близкую ему тему. Насчет маргарина. Хорошо если матом не покроет...

Короче, плохое дается с трудом. А плохого здесь — сколько угодно!

Мы думали, американская преступность — это так. Grimаса советской пропаганды. Оказалось — на улицу страшно выйти.

Или взять, к примеру, трущобы Бронкса. Действительно, такое мне в Ленинграде не попадалось.

Есть здесь бессердечные эксплуататоры. Есть взяточники и бюрократы. Политические демагоги. Спекулянты. Ловцы человеческих душ. Есть своя пропагандистская машина. Кстати, действующая назойливо и примитивно.

Все есть.

Есть, разумеется, и свобода. Желанная, полная и безграничная. Та, которую мы выбирали. Ради которой покидали нажитое добро. Разрывали семейные узы. Оставляли пожилых, консервативных родителей. А случалось, что и маленьких детей...

Вот она, долгожданная свобода! Свобода печати! Свобода воли! Свобода духа!

Выбрали! Дорвались! Обрели!

Лично я был уверен — вот обрету свободу, первым делом напишу что-то вроде «Гамлета».

И что же? Где наши «Божественные комедии»? Где наши «Братья Карамазовы»? Где, на худой конец, «Севастопольские рассказы»? Где элементарное «Муму»?!

Есть свобода печати. Есть газеты, журналы, издательства. Есть бумага. А шедевров что-то не видно.

Лимонов написал похабную книгу о своей исхудавшей, беспризорной жене. Тарасевич наводнил западную прессу советскими эстрадными репризами. Людмила Штерн с необыкновенным душевным подъемом излагает свою заурядную биографию. Талантливейший Юз Алешковский растворился в безудержном приклатненном наговоре.

О Довлатове и говорить не хочется...

Почему замолчал виртуоз Марамзин? Где умная, благородная проза Игоря Ефимова? Что произошло с Аркадием Львовым?

Читатели, прямо скажем, тоже хороши. Зайдите в «Красное яблоко» на 108 улице. Присмотритесь к окружающим. Рыбы закупили. Сосисок закупили. Польские шоколадно-вафельные торты не оставили без внимания. Рядом пылится забавная книжка Александра Баскова. И стоит-то несчастных четыре доллара. Не покупают! Журнал «Искусство кино» не покупают! Даже про шпионов читать не хотят...

Советский читатель — вот о ком я по-настоящему тоскую.

Два года перед выездом читал я одну нелегальщину. К обычной литературе начисто вкус потерял. Даже Фолкнера не перечитывал. Линда Сноупс, мулы, кукуруза... Замечательно, гениально, но все это так далеко...

Снабжал меня книгами в основном писатель Ефимов. То и дело я звонил ему:

— Можно зайти — долг вернуть?

Наконец, Ефимов рассердился:

— Мне тридцать человек ежедневно звонят, долги возвращают. Меня же из-за вас посадят как ростовщика! Придумайте что-нибудь более оригинальное...

Особенно популярен в Ленинграде «Континент».

Любой культурно-алкогольной идеей готов пренебречь достойный человек ради свежего номера. Хотя бы до утра, хотя бы на час, хотя бы вот тут перелистать...

Спрашивается, где я найду такого читателя?! Разве выдержат мои произведения конкуренцию с осетриной?!

А тиражи? Тысяча — это уже считается неплохо. А когда в Союзе мне понизили тираж до 18 000 экземпляров, я запил от унижения. (Правда, в Союзе книжку так и не издали.)

Короче, обрели свободу. Брели, брели, и обрели!

Поели, оделись, машин купили...

Что дальше?

Не знаю. Замираю в растерянности и недоумении...

Говорят, в любой статье должно быть позитивное начало. Какой-то жизнеутверждающий штрих. Что бы такое придумать в финале?

Вчера мы дочке сапоги купили. Хорошие такие, долларов за шестьдесят. Дома начали ярлык разглядывать. Оказывается — «Сделано в Румынии». Это ж надо! Из тоталитарного мира сапожки!

Короче, отсутствует позитивное начало. И тем более — позитивный конец. Бывает иногда такое настроение перед рассветом...

КР ЕЩЕ В РАЗГАРЕ ЗИМЫ

Колонка редактора

Еще в разгаре зимы, когда газета только создавалась, мы беседовали с одним почтенным и доброжелательным лицом. Лицо сказало:

— Мне искренне жаль вас, ребята. Вы, конечно, очень талантливые. Но вы прогорите через три месяца. У вас мало денег. У вас нет американского опыта... Хотите пари? Через три месяца газета погибнет...

Прошло три месяца. И мы действительно погибли. Сгорели дотла. Сгорели все 24 полосы. Их больше не существует...

Отныне мы выходим на 32 страницах. Сохранив и увеличив все основные разделы. Добавив много нового.

Лицо было абсолютно право. У нас по-прежнему мало денег. Мы лишь приобретаем американский деловой опыт.

И все-таки мы живы. Вернее, рождаемся заново. Более упитанные и крепкие.

Лицо ошиблось. Вернее, чего-то оно просто не могло знать.

Оно не могло знать, что нас поддержат самые уважаемые люди Америки.

Что редакторы крупнейших журналов охотно предоставят нам свои материалы.

Что наши друзья и коллеги захотят работать бесплатно.

Что президент корпорации Боря Меттер окажется начинающей акулой Уолл-стрита.

Что казначей Леша Орлов продемонстрирует задатки Гобсека и Шейлока.

Что замечательные журналисты Петя Вайль, Саша Генис и Алик Гальперин оставят насиженные теплые места и ринутся в опасное плавание на борту «Нового американца»...

У нас еще масса проблем. Мы допускаем ошибки и просчеты. Мы еще не научились пользоваться благами демократии. Мы несем в себе инерцию тоталитарного мышления, ортодоксии, нетерпимости...

Так в силу внутренних противоречий ушел из редакции мой друг, блестящий спортивный комментатор Женя Рубин. Мы надеемся, что он вернется. Предпримем для этого любые усилия...

Повторяю, у нас масса нерешенных вопросов.

Мы остро заинтересованы в рекламе и подписке.

Напоминаем рекламодателям: «Новый американец» распространяется, главным образом, в Нью-Йорке. То есть, среди ваших потенциальных клиентов и заказчиков. Кроме того, «Новый американец» циркулирует в течение недели. А значит, рекламное объявление семикратно тиражируется.

Напоминаем подписчикам: подписываясь на газету, вы экономите несколько долларов. Плюс время, которое здесь стоит денег. Реклама и подписка увеличивают финансовую стабильность «Нового американца».

А ведь это ваша газета, она делается вами и для вас.

«Новый американец», № 14, 16—22 мая 1980 г.

КР НАМ ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОС...

Нам часто задают вопрос:

— Какой национальности ваша газета? Русской, американской или еврейской?

Вопрос довольно сложный. Хотя когда-то, в Союзе, он решался элементарно.

У каждого был паспорт. В нем — пятая графа. И в этой графе недвусмысленно указывалось: русский, еврей или, скажем, — татарин.

Хотя и там бывали затруднения. А если, например, ты — дитя от смешанного брака? Если у тебя мать — русская, отец — скрипач? Или, наоборот, мать еврейка, отец — фрезеровщик?

Я, допустим, был армянином — по матери. Мой друг, Арий Хаймович Лернер, — в русские пробился. Даже не знаю, как ему это удалось. Говорят, теща русская была.

Мой приятель художник Шерман говорил:

— Я наполовину русский, наполовину — украинец, наполовину — поляк и наполовину — еврей...

Вот какой был уникальный человек! Из четырех половин состоял...

В общем, устраивались как могли. Кто в греки шел, кто в турки подавался...

Затем началась эмиграция. И повалил народ обратно, в евреи. Замелькали какие-то бабушки из города Шклова. Какие-то дедушки из Бердянска. Мой знакомый Пономарев специально в Гомель ездил, тетку нанимать... Еврейские женихи и невесты резко подскочили в цене...

Начинающего эмигранта Кунина спросили:

— Ты хоть Жаботинского читал?

— Да вы путаете, — удивился Кунин, — это Юрий Власов книгу написал, а Жаботинский, говорят, и читает с трудом...

И наконец — мы здесь. И кончился весь этот дурацкий балаган.

Да будь ты кем хочешь! Кем себя ощущаешь! Русским, евреем, таджиком!.. Волнистым попугайчиком!..

Теперь о газете.

Мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество — многострадальная русская культура.

И потому мы — РУССКАЯ ГАЗЕТА.

Мы живем в Америке. Благодарны этой стране. Чтим ее законы. И если понадобится, будем воевать за американскую демократию.

И потому мы — АМЕРИКАНСКАЯ ГАЗЕТА.

Мы — третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция. Нам близки ее проблемы. Понятны ее настроения. Доступны ее интересы.

И потому мы — ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА.

Вот так обстоят дела.

Кто-то недоволен?

Переживем.

Ведь свободу, кажется, еще не отменили!

«Новый американец», № 16, 30 мая — 4 июня 1980 г.

КР МЫ ЧАСТО ЗАДАЕМ СЕБЕ ВОПРОС...

Мы часто задаем себе вопрос:

— Каков наш гипотетический идеальный читатель? Кто он? Чем занимается? Насколько высок его культурный уровень?

Одни доброжелатели рекомендуют:

— Газета ваша слишком умная. Культура да политика... Пишите больше о спорте... О фудстемпах... О том, где кого зарезали...

Другие, наоборот, советуют:

— Зачем нам спорт? Зачем эти кулинарные рецепты и голливудские сплетни? Пишите больше о духовном, о возвышенном...

Положение наше довольно сложное. И вот почему.

В моем родном Ленинграде издавалось около двухсот газет. Была, например, газета — «За культуру торговли». Или, допустим, — «Мясной гигант». (Орган ленинградского мясокомбината.) Выходила газета «Морьяк Балтики». (В которой одно время работал наш президент Борис Меттер.) «Строительный рабочий». (Где начинал Алексей Орлов.) Или — «За кадры верфям». (Где начинал я сам.)

Имелся даже такой печатный орган — «Голос бумажника». (Газета писчебумажного комбината.)

В общем, много было газет. На любой вкус. Все, что угодно, можно было там прочесть. Все, кроме правды...

Здесь — положение иное. Круг читателей довольно узок. Аудитория сравнительно небольшая.

Вот и получается, одна газета должна удовлетворять многим требованиям.

Когда-то, я уверен, здесь будут выходить десятки изданий. Но сейчас об этом рано говорить...

А следовательно, наша газета должна быть разнообразной, многосторонней, универсальной.

Таким же мы представляем и нашего гипотетического читателя. Это человек любого вероисповедания, ненавидящий тиранию, демагогию и глупость.

Обладающий широким кругозором в сфере политики, науки, искусства. Отдающий должное как высокой литературе, так и развлекательному чтению.

Чуждый снобизма, интересующийся шахматами и футболом, голливудской хроникой и астрологическими прогнозами.

Это человек, озабоченный судьбами заложников, но готовый увлечься и кроссвордом.

Это человек, уяснивший главное, — мир спасут отвага, доброта и благородство.

Короче, это — обыкновенный человек, простой и сложный, грустный и веселый, рассудительный и беспечный...

Надеюсь, ты узнаешь себя, читатель?

«Новый американец», № 17, 5—10 июня 1980 г.

КР В НЬЮ-ЙОРКЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

В Нью-Йорке этим летом стало модно нам предрекать финансовый конец. Один дурак (а может быть — подлец) дней шесть назад трепался всенародно:

— Вы прогорите! Где уж вам до нас! Удел ваш — нищета или галеры! Мы вас раздавим... Срочно примем меры...

Короче говоря — сплошной атас!

Как лай собак звучит дурная весть...

Нам эта ситуация знакома. Здесь нет политбюро, и нет обкома.

Но дураки — они повсюду есть!

Один кричит про нас: «Рука Москвы!» Другой пророчит каторжную гибель. Не спит дурак. Шипит как рваный ниппель. И балалайка — вместо головы.

Весы удачи — точные весы. Прошли зима, весна. Пройдет и лето...

Вас ожидает свежая газета. Всегда по средам. Точно, как часы.

Не долларами выслан этот путь. Работаем с восхода до заката. Высокий стимул. Низкая зарплата. Но людям мы нужны — и в этом суть!

Собачий лай разносится вдали.

Идет работа. Шелестят страницы.

Нас — сорок тысяч. Против — единицы. А если разобраться — то нули.

Безмерно сострадаю и любя, вам жить и жить в прекрасном новом доме...

Перед тобой, читатель, свежий номер. Он сделан был тобой. И для тебя!

«Новый американец», № 18, 11—16 июня 1980 г.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ

— У меня было в жизни четырнадцать главных редакторов. И все они меня раздражали. Один слишком много пил. Другой — беспрерывно свистел. Третий курил мои сигареты...

Теперь я сам превратился в главного редактора. У меня — 14 подчиненных. Это талантливые, добросовестные, остроумные люди. И все они меня раздражают.

Видимо, надо менять характер, а не должность.

«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды...»

Каждый из нас переживает второе рождение. Можно называть это процессом адаптации. Или — ассимиляции. Но суть одна — мы рождаемся заново.

Мы заново учимся читать, писать и говорить. По-новому воспринимаем окружающую действительность. Осваиваем новые жизненные принципы. Новые духовные (и материальные) ценности.

Мы постигаем загадочную, невероятную Америку.

С нами до сих пор творятся удивительные вещи. Ты идешь, например, по Бродвею. Думаешь о чем-то своем. И вдруг останавливаешься потрясенный.

Что такое?! Ничего особенного. Впереди аршинными буквами — «Рабинович и сыновья».

И ты едва сдерживаешься, чтобы не крикнуть:

— Господи! Неужели это я гуляю по Бродвею?! Неужели это все правда?! И этот бар, и этот негр, и этот многодетный Рабинович?! Неужели мы действительно в Америке?!..

Мы постигаем Новый Свет. И каждый делает это по-своему. У каждого свой неосознанный индивидуальный метод.

Один самозабвенно штудирует язык. Читает американские газеты. Изучает американскую культуру.

Это благородный и весьма достойный метод. (Я бы назвал его — ака-

демическим.) Хотя и у него есть противопоказания. Ведь самая глубокая эрудиция не дает ощущения причастности к американской жизни. Блестящих знатоков англо-саксонской культуры хватает и в Москве.

Не дай Бог, окажешься в гуще жизни. Будешь выглядеть как студент-зоотехник на практике. С теорией все замечательно, а к быку подойти страшно...

Кто постарше — ограничивается телевизором. И это неплохо. Язык совершенствуется. Какие-то полезные сведения черпаешь...

А вот ощущения причастности — нет. И быть не может. Жизнь на экране, увы, далека от реальных проблем...

Можно, говорят, подыскать американскую невесту. И даже понравиться этой несчастной женщине. И все будет замечательно. Врать по-английски научишься. И с голоду не помрешь...

С практической точки зрения — очень разумный метод. С моральной — гнусный и неприемлемый.

Можно пойти на любую американскую работу. Скажем, мыть посуду в ресторане. Разговорный язык выучишь. И на жизнь зарабатываешь...

А как быть с любимой профессией? Как быть с призванием? Как быть с литературой, музыкой, живописью?..

Методы познания Америки неисчислимы. Один мой знакомый год просидел в американской тюрьме. Вышел оттуда полноценным человеком. С безупречным английским языком. Устроился менеджером в процветающую фирму. Разрешил все жизненные проблемы.

Что ни говорите, а ведь — метод. Хотя рекомендовать его как-то неловко...

В общем, методов хватает. У каждого — свой. Наш, редакционный, заключается в следующем:

Чудо в рабочем порядке

Я прилетел в Америку с тремя чемоданами информации. Я знал все, хоть и не совсем точно.

Я знал, что литература меня не прокормит. Что русские издания до гонораров не опускаются. Что американские журналы печатать

меня не станут. (Слава Богу, ошибся!) Что работы для гуманитариев с амбициями — нет.

Я поступил на ювелирные курсы. Вспоминаются какие-то металлургические штучки. Какие-то стеклянные шарики... Подробности забыл. Помню, как мне в ботинок упала раскаленная железка...

Увы, я еще в молодости понял, что способен заниматься только любимым делом.

Затем я познакомился с двумя такими же беспросветными неудачниками — Меттером и Орловым.

Меттер вяло топтался у подножия социальной лестницы. В буквальном и переносном смысле. Он был лифтером.

Орлов шагнул на три ступени выше. Ухаживал где-то за подопытными кроликами.

Оба в прошлом были журналистами. Оба любили свою профессию.

Меттер к тому времени уже носился с идеей газеты. Он говорил:

— Нет работы?! Значит, надо ее создать! Америка — страна неограниченных возможностей!

Мы кивали, давая понять, что считаем его замечание оригинальным и ценным.

Меттер широко делился своими планами. Назойливо заговаривал с пассажирами в лифте.

Кому-то идея нравилась. Кто-то считал ее нерентабельной...

Важно другое. Собеседники Меттера — не удивлялись. Всем казалось нормальным, что лифтер задумал издавать газету.

Вот что такое Америка!

Действительно, возможностей хватает. Можно все! Хочешь — пой! Прямо на Бродвее. Хочешь — селедкой торгуй. Хочешь — будь паразитом...

Хочешь — открывай еженедельник. Раздобудь долгосрочную суду. Договорись с типографией. И действуй!

Возможностей сколько угодно.

Но кто сказал, что возможности бывают только радужные?! Что перспективы бывают только заманчивые?!

Есть реальная возможность открыть собственный бизнес? Несомненно!

Но есть и реальная возможность прогореть.

(Арифметически ясно, что большинство мелких предприятий гибнет, не расправив крыльев. Меньшинство же дает какую-то умеренную цифру логичного прироста. Иначе где бы они все разместились?..)

Есть реальные перспективы успеха? Безусловно.

Но есть и вполне реальные перспективы финансовой гибели.

И жаловаться, учтите, будет некому.

Америка — страна неограниченных возможностей. Одна из них — возможность погибнуть.

Дома, если что, можно было к западной общественности звонить. А здесь?! Восточной общественности пожаловаться? Восточная общественность — и звучит-то диковато...

8 февраля вышел первый номер газеты. Куцый, наивный, трогательный. Сейчас его в руки берешь, как довоенную фотографию...

В общем, дело пошло. С перебоями и рывками. С промахами и удачами.

Вскоре мы постигли существенную истину. Мы убедились в том, что —

Бизнес не порок

Для меня, например, это было откровением. Так уж мы воспитаны.

В Москве деловыми людьми называют себя жулики и аферисты. Понятия — «маклер», «бизнесмен» — ассоциируются с тюремной решеткой.

А уж в нашей, богемной среде презрение к деловитости — нескрываемое и однозначное.

Ведь мы же поэты, художники, люди искусства! Этакие беспечные, самозабвенные жаворонки! Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» нам и выговорить-то противно...

По-нашему, уж лучше красть, чем торговать.

Человек, укрывший в цехе рулон полихлорвинила, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий лавровым листом, — объект бесконечных презрительных шуток...

Есть у меня в Форест-Хиллсе знакомый издатель. Абсолютно бескорыстный, преданный своему делу человек. Как-то раз я знакомил его с американцами.

— Святой, — говорю, — фанатик, бесребреник, штаны в заплатах... Сплошные убытки терпит...

Смотрю, у американцев физиономии вытягиваются. Глядят на моего друга без особого восхищения...

В Америке бизнесмен — серьезная уважаемая профессия. Требуем ума, проницательности, высоких моральных качеств.

Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа. (А в случае удаче — тем более.)

Настоящий бизнесмен терпим и уважителен с конкурентами.

Это — несомненно творческая профессия. Бизнесмену доступны восторги прозрений и отчаянная горечь тупика. Ему в равной мере знакомы — спортивный азарт и научные поиски. У него есть вкус к дальновидной тактической игре...

Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке.

Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? Сто, двести тысяч в год. А люди здесь ворочают миллиардами.

Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Ферментом и витамином американского прогресса.

Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.

Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному и гармоническому тождеству усилий и результата. Самым доступным показателем которого является цифра.

В Америке любят поэтов, эстетов и жаворонков. Обанкротившихся предпринимателей — вряд ли. Их осуждают за профнепригодность. Мол, взялся, так действуй с умом... Или не берись. Пиши стихи. Рисуй абстрактные картины. Будешь уважаемым человеком. Бедным, но уважаемым...

Короче, нам потребовался бизнес-менеджер. Попросту говоря — администратор. Деловой человек.

Журналистского опыта было достаточно. Безработных грамоте-

ев вокруг сколько угодно. (Из одних докторов наук можно сколотить приличную футбольную команду.)

С администраторами — хуже. Умный пойдет в американскую фирму. (Как мой знакомый уголовник.) Глупый, вроде бы, не требуется. (Своих хватает.)

Решили вырастить администратора сами. В собственном коллективе.

На эту загадочную должность выдвинулся Меттер. (Он же президент корпорации и совладелец газеты.) Начал свое дерзкое плавание в океане бизнеса.

Идеи у него возникали ежеминутно. И любая открывала дорогу к несметному богатству.

Когда идей накопилось достаточно, мы обратились к американцу Гольдбергу.

Гольдберг ознакомился с идеями. Затем сурово произнес:

— За эту идею вы получите год тюрьмы. За эту — два. За эту — четыре с конфискацией имущества. А за эту вас просто-напросто депортируют.

Пришлось начинать все сначала.

Теперь уже сообразно американским законам.

Мы постепенно набирались делового опыта. Осваивали причудливую логику свободного рынка. Изучали сложный механизм рекламы. Узнали, таким образом, много нового.

Во-первых, стало ясно, что наша газета — товар. Примириться с этой мыслью было трудно. В ней ощущалось что-то мерзкое и унижительное.

Вы только подумайте! Любимая, единственная, замечательная газета! Плод бессонных ночей! Результат совместных героических усилий! Наше обожаемое чадо! Боготворимое дитя! Нетленный крик души!.. И вдруг — товар. Наподобие полтавской колбасы или селедки...

Увы — это так. Ты можешь написать «Четырнадцатую симфонию», «Гернику» или «Анну Каренину». Создать искусственную печень, лазер или водородную бомбу. Ты можешь быть гением и провидцем. Великим еретиком и героем труда. Это не имеет значения. Материальные плоды человеческих усилий становятся объектом рыночной торговли.

В сфере духа Модильяни — гений. А художник Герасимов — приспособленец и ничтожество.

В сфере рынка Модильяни — хороший товар. А художник Герасимов — плохой. Модильяни рентабелен, а Герасимов — нет.

Законам рынка подчиняется все, что создано людьми. И законы эти — общие. Для Юлии Тролль и Вильяма Шекспира. Для полтавской колбасы и газеты «Новый американец».

Мы, вдохновенные, умные, бескорыстные, превратились в товар. Начали циркулировать в джунглях американского рынка.

Кстати, о джунглях

Этими джунглями нас пугали с младенческих лет. Законы капиталистических джунглей представлялись чем-то ужасающим и глубоко несправедливым.

По этим законам жестокий волк настигал испуганного барана. Бездушный леопард закусывал антилопой. Орел камнем падал на спину бедного зайца...

Разумеется, эти картинки далеки от христианских идеалов. Капиталистические джунгли — отнюдь не Гефсиманский сад.

И все же, ей-Богу, это не худшее место на земле. Родные наши болота куда страшнее и опасней.

В джунглях побеждает сильный, умный и ловкий. Дома — «начинают и выигрывают серые».

Мне кажется, достойней погибнуть от львиных зубов, чем от гнуса. Да и не видели мы, чтобы так уж здесь все погибали.

Недавно в Форест-Хиллсе прогорел ликерный магазин. Все его знали. Угол 108-й и 63-й. Между баром и кондитерской.

Прогорел, закрылся, нет его... Пустые витрины...

Месяц назад встречаю бывшего хозяина. Вылезает из красной спортивной машины. Веселый такой...

— Как дела? — спрашиваю.

— Файн, — отвечает, — устроился менеджером в супермаркет. Зарплата приличная и хлопот никаких.

— Все же обидно, — говорю.

— Ничего, — отвечает бывший хозяин, — я принял меры. Сменил машину, квартиру и работу... Может быть, скоро займусь недвижимостью...

И вчерашний банкрот уверенно зашагал по своим делам...

А мы — вернемся к прерванному разговору.

Итак, газета стала капиталистическим предприятием. Пишущие машинки и калькуляторы заработали в унисон.

Мы опубликовали больше тысячи газетных статей. Видимо, были среди них глубокие и поверхностные, талантливые и заурядные, умные и легкомысленные.

Ширился поток читательской корреспонденции. Ощущение контакта с публикой внушало чувство бодрости и надежды.

Все, казалось бы, шло хорошо.

И тут возникли неожиданные сложности. Началось —

Великое противостояние

В Ленинграде я считался на удивление покладистым человеком. Со всеми был в приличных отношениях.

С кем только не довелось мне работать и общаться! Мерзавца Воеводина знавал. С погромщиком Утехиным беседовал. Стукача Воскобойникова хорошо помню. В КГБ таскали раз пятнадцать... В общем, насмотрелся.

Однако персональных врагов у меня не было. С государством были натянутые отношения, это правда. А с людьми — вполне приличные.

Когда я уезжал, в аэропорту собралось человек пятьдесят. Разные были люди. Был знакомый директор музея — партийный товарищ. Был тот же стукач Воскобойников. (Может, по заданию, а может, и от души.) Кроме того, литературная публика. Отставные спортсмены. Двое бывших одноклассников. Короче, самый разный народ. И ничего, обошлось без скандала. Руками махали. Кто-то даже поплакал немного...

Затем я приехал в Америку. Сначала все было хорошо. Пока я год лежал на диване. Затем появился «Новый американец». И началось...

Один дружок стихи прислал. На тему себя. Довольно посредственные. Пришлось вернуть.

Дружок обиделся, пишет:

— Говорят, ты проданся богатым евреям!

(Больно я им нужен!)

Короче, рассердился мой приятель. И зря. Не могу я опубликовать его стихи. Даже если бы хотел. Потому что у нас — демократия.

Мне самому редколлегия четыре заметки вернула. Мне — главному редактору! Я сам эту демократию иногда проклинаяю. Но отметить ее — выше моих сил...

Одному рукопись вернул. Другому. Третьему.

Тут поднялся невероятный шум:

«Не то пишешь! Не того хвалишь! И уж конечно — не того ругаешь!»

Одни кричат:

— Сионист! Правоверным евреем заделался!

Другие — наоборот:

— Черносотенец! Юдофоб! Любимый ученик Геббельса!

Что же произошло?! Неужели все разом с ума посходили?!

Когда-то, в Союзе, мы были очень похожи. Мы даже назывались одинаково — идейно чуждыми.

Нас сплачивали общие проблемы. Общие тяготы и горести. Общее неприятие тоталитарного режима.

На этом фоне различия были едва заметны. Они не имели существенного значения.

Не стукач — уже хорошо. Уже большое достижение...

Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружили самые разные лица.

Есть среди нас либералы. Есть демократы. Странники монархии. Правоверные евреи. Славянофилы и западники. Есть, говорят, в Техасе даже один марксист...

Казалось бы, что тут страшного. На то и свобода печати. Выражай свое мнение. Доказывай. Спорь.

Казалось бы, да здравствует свобода печати! Да здравствует свобода мнений!

С одной небольшой поправкой — для тех, чье мнение я разделяю!

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю? Их-то куда? В Филадельфию, на сто первый километр!?!..

Один беспризорный рембрандт карикатуру тиснул. Вон как расстарался.

Ему (что показательно) вторит редактор советского журнала «Звезда».

Мы опубликовали несколько спорных материалов. Однако дискуссии не получилось. Получились обиды и ругань.

Шум поднялся на все Зарубежье. Письма... Телефонные звонки... Старый друг Марамзин накричал из Парижа...

Дома нам внушали единственно правильное учение. Дома был обком, который все знал. А здесь?!

Читатель не малолетний ребенок. Он хочет получать разностороннюю информацию. Он достаточно умен, чтобы принимать самостоятельные решения. Делать самостоятельные выводы.

Убежденность в своей правоте доказательством не является. Ленин искренне верил, что кухарка может управлять государством. Вон что из этого получилось!

Только в свободной дискуссии рождается истина. Такие банальные вещи даже стыдно повторять...

Мы уехали, пытаясь реализовать свои человеческие права. Право на творчество. Право на материальный достаток. И в том числе — священное право быть неправым. Право на идейное заблуждение.

В Союзе тех, кто был неправ, — убивали. Ссылали в лагеря. Выгоняли с работы. Единственно верное учение не терпело критики.

Но мы-то в Америке. Так давайте же спорить и обмениваться мнениями. Мнениями, а не затрещинами. Давайте выслушаем заблуждающихся. И пусть они выслушают нас.

Я думаю, не следует бить их по голове томом «Капитала». Или многотомным «ГУЛагом». Давайте жить, как принято в цивилизованном обществе.

Идейные заблуждения порой бывают свойственны достойнейшим людям. И я могу это доказать —

С помощью классики

Как вы заметили, юбилейной статье предпослан эпитаф из двух строк. Разрешите продолжить:

...Рукою чистой и безвинной
 В порабощенные бразды
 Бросал живительное семя —
 Но потерял я только время,
 Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
 Вас не разбудит чести клич.
 К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь.
 Наследство их из рода в роды
 Ярмо с гремушками да бич...

Кто же автор этих реакционных, безыдейных стихов? Совершенно верно — Пушкин. Тот самый. Автор послания к декабристам.

В данном случае Пушкин заблуждался. Его заблуждение тысячекратно опубликовано. И публикуется в каждом новом собрании.

И ничего! И свобода от этого не пошатнулась! А Пушкин так и остался гением!..

В общем, нельзя ли поспокойнее?! Нельзя ли, как говорится, — без рук? А также — без единственно верных учений? Без нянек и поводырей? Как и положено свободным людям в свободном мире?.. А теперь —

Финал

Год жизни позади. Сегодня мы отмечаем нашу первую годовщину. Завтра будет обычный день. С обычными заботами. С обычными разочарованиями, поисками, удачами.

Я не могу пожелать удачи — себе. Это выглядело бы глупо и нескромно. Но я могу пожелать удачи своим верным друзьям. Талантливым, бескорыстным, веселым коллегам. Снисходительным, умным и великодушным читателям!

Спасибо за помощь! «Новый американец» отправляется в далекое плавание!

КР С ДЕТСТВА НАМ ТВЕРДИЛИ...

С детства нам твердили:

— Бога нет... Материя первична... Человек произошел от гориллы...

Атеистическая пропаганда достигала своей цели. Ее доктрины воспринимались как нечто бесспорное.

Да и сама жизнь отчасти к этому подталкивала. Взглянешь на иного соотечественника — действительно, от гориллы. Причем недавно...

Атеистическая пропаганда достигала также и обратной цели. Значительная часть интеллектуалов пришла к религии. И в этом не только оппозиция государственному материализму. В этом — тоска по утраченной духовности, жажда непосредственных чувств...

И вот мы здесь, на свободе. Утихла борьба за коммунистические идеалы. Спали оковы материалистических доктрин. Отринуты насильственные догмы. Забыты принудительные верования.

Мы сыты, одеты, здоровы. Мы почти так же элегантны, как наши автомобили. Почти так же содержательны, как наши холодильники.

Может, обойдемся вообще без идеалов? Заменяем государственный материализм — бытовым, ежесекундным, обыденным? Разрушим ложные идеи, и да здравствует безыдейность?!

Трудна дорога от правды к истине. Альтернатива правды — ложь. Альтернатива истины — другая истина, более глубокая, более жизнеспособная.

Философский материализм принадлежит к числу глубочайших истин.

Веками противостоит ему истина религии, истина Бога.

Мы, я думаю, находимся где-то посередине...

Среди моих друзей немало обращенных христиан. Есть также обращенные иудаисты. Увы, я не заметил, чтобы они были милосерднее, сострадательнее, а главное — терпимее других людей.

Видимо, такое приходит не сразу.

При этом, я знаю, в лагерях так называемые «религиозники» держались с исключительным мужеством. В тягчайшие минуты они проявляли бодрость духа и готовность к самопожертвованию. Было заметно, что вера дает им силу противостоять невыносимому гнету.

Заключенные, да и надзиратели относились к верующим с большим уважением.

Помню, в бараке разоблачили одного стукача. Некто Бусыгин, потомственный скокарь, человек, далекий от религии, воскликнул:

— Может, Бога и нет! Но Иуда — перед вами!..

Сам я, увы, человек нерелигиозный. И даже — неверующий. Разве что суеверный, как все неврастеники.

И все-таки часто задумываюсь. Я ведь уже далеко не юноша. Придет когда-то смерть и вычеркнет меня.

И что же в результате — лопух на могиле? Неужели это — все, предел, итог?!

Или наши души бессмертны? Но тогда мы обязаны дорожить каждой минутой! Каждой минутой...

«Новый американец», № 19, 17—22 июня 1980 г.

КР ЭТО ПРОИЗОШЛО В ЛАГЕРЕ...

Это произошло в лагере особого режима. Зека Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал последние сутки. Наутро его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.

Ночью Чичеванов бежал. Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года...

Эта история буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным. Но капитан УВД Прищепа мне все объяснил. Он сказал:

— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. На воле он задохнется, как рыба. Вот и рванул, чтобы срок намотали...

Нечто подобное испытываем мы, эмигранты. Десять, тридцать, пятьдесят лет неволи, и вдруг — свобода. Рыбы не рыбы — а дыхание захватывает...

Восемь эмигрантов из десяти мотивируют свой отъезд нравственными причинами. Мы выбрали — свободу.

А получили — свободу выбора.

Как это непривычно — уважать чужое мнение! Как это странно — дать высказаться оппоненту! Как это соблазнительно — быть единственным конфидентом истины!

Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой — для тех, чье мнение я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На сто первый километр? Может, просто заткнуть им глотку? Не печатать, не издавать, не экспонировать?..

Появляется в газете спорный материал. На следующий день звонки:

— Вы посягнули на авторитеты! Вы осквернили святыни! Нарушили, затронули, коснулись...

Еще раз говорю — нет святых при жизни! Нет объектов вне критики!

Нет партийных указаний! Нет методических разработок! Нет обкомовских директив!

Читатель делает выводы — сам. И другого пути — нет. Вернее — есть. Через советское посольство и кассы «Аэрофлота».

Дальнейшее прошу напечатать покрупнее:

ГАЗЕТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМОЙ И СВОБОДНОЙ ТРИБУНОЙ.

ЭТА ТРИБУНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НОСИТЕЛЯМ РАЗНЫХ, А ЗАЧАС-ТЮ И ДИАМЕТРАЛЬНЫХ МНЕНИЙ.

РЕДАКЦИЯ НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЯ АВТОРОВ И НЕСЕТ ОТ-ВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИШЬ ЗА УРОВЕНЬ ДИСКУССИИ...

В остальном — дело за читателем!..

Нелегкое это благо — свобода выбора. Помню, зашел я с матерью в кондитерскую лавку на Бродвее. Что-то ей не понравилось. Она и гово-рит:

— Хорошо бы в жалобную книгу написать. Или позвонить куда-ни-будь...

— А может, — говорю, — просто зайти в другую лавку?..

«Новый американец», № 20, 23—28 июня 1980 г.

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Увы, это так. И чем дольше я живу в Америке, тем решительнее в этом убеждаюсь.

Мы — воспитанники тоталитарной системы, ее послушные уче-ники. И над каждым тяготеют десятилетия одуряющей выучки.

Конечно, среди нас есть отличники и лодыри, вундеркинды и тупицы, активисты и несоюзная молодежь. Но в главном мы — едины. На каждом пылает огненное страшное тавро — «Made in USSR»...

Попытайтесь вообразить огромное зеркало. Размером с озеро Байкал. А на берегу этого озера (или зеркала) — многотысячную разношерстную толпу. Колонны третьих эмигрантов.

А теперь давайте разом окунемся в эту незамутненную гладь. Да-вайте мужественно на себя полюбуемся...

Партия — наш рулевой!..

Вернее — поводья. Поскольку речь идет о благоприобретенной духовной слепоте.

Кто из нас может похвастать самостоятельной духовной биографией? (А ведь цена любой другой биографии — копейка.)

Среди моих знакомых чуть ли не единственный — Бродский. Судьба которого уникальнее его поэзии.

Я довольно хорошо знал его молодым. Он производил невероятное впечатление.

Разумеется, он не был советским человеком. Любопытно, что и антисоветским не был. Он был где-то вне...

В нем поражало глубокое отсутствие интереса к советским делам. Совершенное в этом плане невежество. Например, он был уверен, что Котовский — жив. И даже занимает какой-то важный пост. Убежден был, что политбюро состоит из трех человек. (Как в сказке.)

На работе он писал стихи. (Пока его не увольняли.) С начальником отдела кадров мог заговорить о Пастернаке...

При этом Бродский вовсе не казался отрешенным человеком. Не выглядел слишком богомольным. Дружил с уголовниками. (Видимо, его привлекали нестандартные фигуры.) Охотно выпивал... Мог в случае необходимости дать по физиономии...

Я хорошо помню всеобщие рыдания, когда умер Сталин. Юноша Бродский вряд ли оплакивал генсека. И даже не потому, что слышал о его злодеяниях. Сталин был для него абсолютно посторонней личностью. Гораздо более посторонней, чем Нострадамус или Фламарион...

(Мне в этом смысле повезло. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько сомнительной концепции. Она твердила: «Грузин порядочным человеком быть не может». Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла...)

А что творилось с остальными?! Рев стоял на тысячи километров. Я вспоминаю моих близких друзей. Ведь грамотные были лю-

ди. В очках. Некоторые даже с искривлением позвоночника. Собираемся, бывало, и начинается:

— Я прозрел на третьем курсе института!

— А я после чешских событий!

— А я — после седьмого номера «Континента»!..

Сам я прозрел в лагерях особого режима. (Где служил надзирателем.) Будучи уже довольно крупным оболтусом...

А до этого? До третьего курса? До чешских событий?..

Глубоко мною почитаемый Кирилл Владимирович Успенский лет сорок отслужил марксизму-ленинизму.

Мой обожаемый дядя Арон лет пятьдесят боготворил Сталина. Затем прозрел. Уединенно сжег небольшую фотографию вождя. И ринулся боготворить Хрущева...

А много ли было надо? Одна мгновенная вспышка духовной независимости — и конец! И никакого тебе марксизма-ленинизма!

Осмотреться, задуматься, довериться собственным впечатлениям!

Куда там! У нас агитпункт в соседнем подъезде...

Виктор Урин целую книгу написал против чилийской хунты. В стихах. Ему сказали по радио, что хунта — бяка. И звучит противно — на ху.

А вот композитор Сергей Прокофьев заявил товарищу Жданову:

— Я всю жизнь был учеником собственных идей!

И произошло это задолго до чешских событий!

Мы будем петь и смеяться, как дети!

Восторжествовавший социализм приучает человека к абсолютной безответственности. Все кругом общественное, а значит, — ничье. Есть даже такой циничный стишок:

Тащи с завода каждый гвоздь,
Ведь ты хозяин, а не гость!

И тащат. В неслыханных масштабах. Причем самые неожиданные вещи. Совершенно ненужные и даже обременительные. Ну, ладно там — кафель, гипс, полиэтилен... Какие-нибудь резисторы, шурупы, гайки...

Один мой знакомый украл с предприятия ЛОМО тяжелый бюст Николая Щорса. Уже в дороге тяготился покражей. Вынужден был остановить такси. И перед домом этот бюст с облегчением выбросил.

А ведь нервничал, рисковал. Газетой его укутывал, прятал...

Кстати, о газете. Появился «Новый американец». Единственная газета третьей эмиграции. Наша, собственная.

Звоню интеллигентному приятелю. Напиши, говорю, статью. Отвечает:

— А что я с этого буду иметь?

Объясняю ему. Втолковываю. Денег мало. Работаем бесплатно. Окрепнем — рассчитаемся.

— Окрепнете — тогда и поговорим. Пусть Меттер с Орловым раскошеляются!

Снова ему объясняю:

— Долги. Положение сложное. Газета должна, просто обязана выжить. Это наше с тобой будущее, идиот!

Никакой реакции.

У советского человека ментальность раба. В лучшем случае — подчиненного. Без хозяина он не привык. Без хозяина — это значит — личная ответственность. Собственное решение. Выбор...

А у нас психология служащих. Причем готовых служить кому угодно. Во имя чего угодно. Лишь бы за это хорошо платили.

Мы знали, что в Америке больше колбасы и джинсов. И решили сменить место жительства. То есть сменить хозяина.

Люди с такой гибкой ментальностью — довольно ценное приобретение. Любая бюрократия (советская или антисоветская) готова отдать им должное. Позиция «чего изволите» устраивает любое начальство. И работенка этим людям всюду найдется.

Кто-то возразит:

— Они сменили убеждения.

Да ничего подобного. Хозяина переменили, это верно. А убеждений там отродясь не бывало.

Подлинные убеждения — живая биологическая часть организма. И не меняются в зависимости от свежей газеты. Или даже — очередного номера журнала «Континент»...

Ты не вейся, черный Уоррен!

На днях ко мне прибежал встревоженный сосед.

— Что случилось?

— Ниже этажом поселился черный. Я фамилию разглядел на почтовом ящике — Уоррен.

— Хорошая фамилия, — говорю.

(Есть такой замечательный писатель — Роберт Уоррен. Автор «Зеленой долины».)

— Это другой, — говорит сосед, — это черный!

— Он что, дебоширит, пьянствует?

— Пока нет.

— К женщинам пристаёт?

— Пока нет.

— Музыку ночью врубает?

— Пока нет. Он только сегодня утром появился...

На родине мы были хуже всех. Возмущались бытовым антисемитизмом. Страдали от государственного.

Слово «еврей» воспринималось как ругательство. Реальное значение его почти что выветрилось. («Этот Леха Сидоров такой еврей, такой еврей! С аванса мне не поставил!»)

Короче, настрадались от этого дела. Даже начали слегка заговариваться. Один мой знакомый интеллигент говорил:

— Я только наполовину — еврей. А наполовину — грузин. И еще наполовину — литовец.

Вот какой сложный был человек. Из трех половин состоял...

Наконец мы приехали. Слегка осмотрелись. Не успели снять пиджаки из кожаного материала. И уже ненавидим черных.

— Черные грабят! Черные насилуют! Черные на велфайре сидят!..

Только не пугайте меня статистикой. Разными там выкладками и соотношениями.

Статистику я немного знаю. А также — немного знаю историю США.

Знаю, как формировалась ментальность черного американца. Как складывался его усредненный био- и генотип.

Разделяю стихийное ощущение вины перед черным народом. Считаю эту проблему исключительно важной.

Но с конкретным господином Уорреном ежедневно и приветливо раскланиваюсь. И он, представьте себе, улыбается...

И музыки по вечерам не заводит. Даже обидно...

Партия сказала, комсомол ответил — есть!

Позвонил мне знакомый и говорит:

— Зачем ты напечатал статью, в которой Глезер ругает Шрагина?

Ведь Шрагин — хороший человек!

— Хороший, — говорю.

Через минуту еще один звонок:

— Зачем ты напечатал статью, в которой Шрагин ругает Глезера?

Ведь Глезер — хороший человек!

— Хороший, — говорю.

— Что же это такое?! Значит, ваша газета — беспринципная?! Значит, у вас нет единой позиции?

Позиция у нас есть. Принципы тоже имеются.

Позиция наша в том, чтобы обнародовать самые разноречивые идеи. Дать высказаться носителям самых противоположных мнений.

— Разноречивые идеи? Противоположные мнения? А где же единство?

— В сознании читателя! Мы доверяем нашему читателю. Мы уверены: из десятка концепций он выберет наиболее реальную, наиболее благородную и жизнестойкую...

Мне вспоминается один занятный эпизод. Меня пригласили в КГБ. Беседовавший со мной капитан поинтересовался:

— Что вы думаете о Солженицыне?

Признаться, я несколько оробел. Сказать всю правду не решился. Высказался уклончиво:

— Надо опубликовать произведения Солженицына. Народ разберется, чего они стоят.

— Народ?! — с изумлением переспросил капитан. — Народ?!

В голосе его звучало невыразимое презрение.

— Народ?!

На одной из редакционных летучек присутствовала талантливая журналистка Сарафанова. Попросила слова и говорит:

— Положение в газете — критическое. Нет главного редактора. Вот предыдущий редактор — это был редактор! Как закричит, бывало! Как затопает ногами! Все дрожат от страха. И всем сразу ясно, что делать... А Довлатов только улыбается. И каждый пишет, что хочет. Разве так можно?

Можно! Кричать я совершенно не умею. (Хоть и был надзирателем в уголовном лагере.) Не умею и не хочу.

И не буду. Даже на мою собаку Глашу. Даже на журналистку Сарафанову!

Я думаю, тоска по железному наркомуну — еще один рудимент советского воспитания. Тоска по «сильной власти»! Тоска по директивным указаниям! Тоска по нашей врожденной личной безответственности!

Какая это мука для советского журналиста — писать, что хочешь. Без указаний! Без разъяснений! Без директив!..

Позвонил мне друг, Александр Глезер:

— У меня есть одно предложение.

Изложил свое предложение.

— О'кей, — говорю, — соберемся, решим.

Глезер страшно рассердился:

— Что это еще за новости?! Что это за колхозная демократия?! Ты главный, ты и решай!

— У нас, — говорю, — коллектив решает. Народ.

— Народ?! — с изумлением переспросил Глезер.

И я невольно вспомнил майора госбезопасности...

Мы делу Ленина и Сталина верны!

На Западе мы сориентировались довольно быстро. В бытовом отношении. Знаем, где что купить. Более того, знаем, где что продать.

В наших беседах то и дело мелькают слова:

«Кеш, сейл, ту бедрум, инкомтакс...»

Теперь спросите у рядового эмигранта, как по-английски — со-весь? Разум? Благородство? Сострадание?

Наступит тягостная пауза.

И не случайно.

Сориентироваться в нравственном отношении куда труднее. На это уходят годы. Десятилетия.

Помню, мой знакомый амбициозно говорил, жалуясь на какие-то действия ХИАСа:

— Безобразия! Да как они смеют! Меня во Львове даже антисемиты уважали! А здесь...

Знакомый искренне верил, что уважение антисемитов — есть максимальный показатель его общественной роли. Свидетельство абсолютного признания масс. Высшее достижение! То, к чему надо стремиться!

Стоит ли напоминать ему, что Гитлера антисемиты уважали еще больше!

Другой мой знакомый, квалифицированный, одаренный журналист, говорил:

— Ты критикуешь мои статьи?! Да я за самого Гришина речи писал! Ты понял?! За самого Гришина!..

Нечто подобное было и со мной. Я тоже писал речи за другого человека. А он их, запинаясь, читал на собраниях. Правда, это был не Гришин. Это был ректор кораблестроительного института, профессор Е. В. Товстых.

И я даже не того стыжусь, что занимался вредной халтурой. Мне стыдно, что эти речи нравились парткому. (До поры, до времени.) Что я был не просто холуем, а холуем-энтузиастом.

Стыдно, что я на это решился. Еще более стыдно оттого, что у меня это неплохо получалось...

Под вечер запели гормоны...

С первых дней мы уяснили — в Америке надо работать. И большинство с этим примирилось. Ради этого, можно сказать, и ехали. Тем более, что всякая работа здесь хорошо оплачивается.

Короче, вкалываем. Трудимся. Обставляем квартиры. Машин накупили, дубленок. Все нормально...

Наступает вечер. Закрываются офисы. И едем мы домой.

А дома у нас все замечательно. Телевизор — цветной. Холодильник — набит. Жена в иностранном пенюаре...

Курицу поели. Телевизор включили. Сидим...

Можно, конечно, и развлечься. Отправиться на сто восьмую улицу. Подойти к русскому магазину. (Это если вы живете в Форест-Хиллсе.) На Брайтоне, я думаю, есть свои любимые места...

Подойдите. Увидите небольшую толпу. Услышите взволнованные речи:

- Говорят, Фима лиценз получил?
- Да не лиценз, а велфейр!
- Он же, вроде бы, за кеш работал?
- Одно другому не мешает...

А кругом — цивилизация! Самая развитая в мире! Самая разнообразная! Кино и театр! Опера и балет! Мюзик-холл и варьете! Стадионы и музеи! Диско и бинго! Кафе и рестораны! Школы карате! Салоны красоты!..

Нет, зачем же?! Мы курицу едим! Мы про Фиму разговариваем!

А цивилизации у нас дома сколько угодно. Полный телевизор!..

Как-то звоню я своему приятелю:

- Чем занимаешься?
- А что?
- Шемякин из Франции приехал. Умный человек, замечательный художник. В гости зовет..
- Я занят, — сказал мой друг.
- Курицу ешь? — спрашиваю.
- Почему это — курицу?! — обиделся друг. — Тоже мне занятие — курица! Нет уж, забирай повыше! Мы индейку кушаем!..

Я люблю тебя, жизнь!

Попробуйте вообразить огромное зеркало. И возле него много-много тысячную толпу. Колонны третьих эмигрантов.

А теперь, давайте глянем в это зеркало. Мужественно на себя полюбуемся.

Ну, как?

Вы скажете — пессимист. Мизантроп! Очернитель советской... виноват — американской действительности...

Ни в коем случае! Я люблю эту жизнь. Хочу, чтобы она стала лучше. Даже кое-что ради этого предпринимаю. Вот, например, пишу статьи...

И оптимистически смотрю в будущее. В будущее наших детей. Верю, что наши дети будут счастливы!

Но в заключение я хочу упрямо и горделиво пропеть:

...Из бесчисленных рек
Наилучшая — матушка Волга!
Я такой человек,
И поверьте, что это надолго...

«Новый американец», № 35, 3—8 октября 1980 г.

КР «НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ» — СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОЕ ИЗДАНИЕ

«Новый американец» — сравнительно молодое издание. У нас еще масса проблем: финансовых, творческих, организационных...

Что нас поддерживает? Уверенность в правоте начатого дела. Любовь к газетной работе. Доверие и энтузиазм читателей. И разумеется — городская помощь коллег-журналистов.

Нас поддержали — «Континент», «Эхо», «Третья волна», «Русская мысль». Я бы мог назвать десятки славных имен...

В этой связи несколько обескураживает позиция, занятая руководством «НРС»¹. Казалось бы, уважаемый печатный орган с многолетней высокой репутацией. Самая популярная русская газета в Америке. Цветущее коммерческое учреждение с миллионными оборотами...

Так логично и естественно было бы поддержать молодое издание. Или, как минимум, не препятствовать его свободному развитию.

Ведь читательские души — не картошка. А газета — не овощная лавка. Рассуждения вроде: «Это мои покупатели! Уходи из моего квартала!» — здесь неуместны...

¹«НРС» — «Новое русское слово», ежедневная русскоязычная газета в Нью-Йорке.

Сначала руководство «НРС» отказалось дать условия нашей подписки. (Что, кстати сказать, незаконно.) После этого всем авторам «НРС» было объявлено:

«Тем, кто содействует новой газете, печататься в «НРС» запрещается!»...

В общем: либо — либо! Кто не с нами, тот против нас! Долой инакомыслящих, к стенке, на рею!..

Тут хочется вспомнить момент из прошлого. В 76 году меня напечатал «Континент». Затем — «Время и мы». Радио «Свобода» неделю транслировало мою повесть... Я тогда жил в Ленинграде. Исполнял мелкую безымянную халтуру для крупнейшего партийного журнала «Звезда». Редактор Холопов (негодяй высшей марки) знал, что я печатаюсь в «Континенте». Он сказал:

— Пока нет указания из Смольного — работай!

И я еще в течение года продолжал халтурить. Печатался одновременно в СССР и на Западе. Будучи выгнан из Союза журналистов. Будучи лишен всех иных заработков...

Вспоминается еще один эпизод. Когда-то я работал в партийной газете. Каждую неделю в редакцию приходил человек из обкома. Вынимал из портфеля список. Это был список тех, кого нельзя печатать. И кого нежелательно упоминать. «Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Гумилев...»

Я не знаю фамилии этого человека из обкома. А имя Мандельштам будет жить, пока жив русский язык!..

И последнее. Когда-то я писал заявку на документальный фильм о Бунине. В числе других материалов упоминались записки Андрея Седых². Сценарий был запрещен. Редактор «Леннаучфильма» заявил:

— Вы бы еще Милюкова упомянули!..

По-моему, тут есть над чем задуматься. Не правда ли?

Жаль, Бунина нет. Вот бы ему пожаловаться...

«Новый американец», № 21, 29 июня — 4 июля 1980 г.

КР В РЕДАКЦИЮ ЗАШЕЛ ЖУРНАЛИСТ...

В редакцию зашел журналист. Предложил свои услуги:

— Хочу осветить серьезное мероприятие — выставку цветов. И разумеется — с антикоммунистических позиций.

Мы немного растерялись. Цветы и политика — как-то не вяжется...

Мне представился заголовок:

² Андрей Седых (Яков Моисеевич Цвибак) — журналист, прозаик. С 1973 г. по 1993 г. владелец нью-йоркской газеты «Новое русское слово».

«Георгин — великое завоевание демократии!»

И еще я вспомнил один разговор. Уважаемый человек из первых эмигрантов настаивал:

— Скажите прямо, вы антикоммунисты или нет?

И снова мы растерялись. Кто же мы, в самом-то деле? То, что не коммунисты, — это ясно. Но — анти?..

О научном коммунизме представления имеем самые расплывчатые. Даже что такое «базис» — нетвердо помним. (Похоже на фамилию замага.) Борьба с научным коммунизмом должны ученые, философы, экономисты...

О реальном коммунизме знаем еще меньше. Ведь то, что происходит на родине, — от коммунизма чрезвычайно далеко. Это свинство даже вожди перестали коммунизмом называть.

В общем, нет коммунизма. И не предвидится...

Антикоммунисты ли мы? Можно ли быть против того, чего не существует?..

Как-то раз я беседовал с атеистом.

— Я атеист, — сказал атеист, — мой долг противостоять религии. И противостоять Богу!

— Так ведь Бога нет, — говорю. — Как можно противостоять тому, чего нет? Тому, что сам же и отрицаешь?..

Удивительно похоже рассуждают фанатики. Будь то рассуждения за или анти...

— Ладно, — сказал уважаемый человек из первых эмигрантов. — А если произойдет интервенция? Если появится возможность захватить Москву? Вы примете участие?

— Это значит — стрелять?

— Разумеется.

— В кого? В девятнадцатилетних одуроченных мальчишек? В наших братьев и сыновей?..

Как ужасна сама мысль об этом! И как благородно на этом фоне звучит мирный призыв Солженицына: «Живите не по лжи!»

Это значит — человек должен победить себя. Преодолеть в себе раба и циника, ханжу и карьериста...

Иначе — новое море крови. И, может быть, — реальный конец вселенной...

Мы сказали журналисту:

— Напишите о выставке цветов. Напишите без всяких позиций.

— Без всяких позиций? — удивился журналист. Затем подумал и говорит:

— Надо попробовать...

NOBODY IS PERFECT

(Все мы не красавцы)

В Австрии я решил посетить музей Зигмунда Фрейда. Учреждение, как выяснилось, довольно скромное. На уровне школьного музея боевой славы.

Я увидел бумаги, фотографии... Предметы личного обихода... Несколько загадочных вещей. Например, собачий ошейник под целлулоидовым колпаком. (Более уместный в заповеднике академика Павлова.) И так далее...

Конечно, мы читали Зигмунда Фрейда. Правда, не очень внимательно. Как говорится, для общего развития. Наряду с Кафкой.

Помним, что затрагивал щекотливые темы. Высказывался о сокровенном. Что-то излагал насчет подсознания.

Самые достойные люди восхищались Фрейдом. Называли его гением, чудесником, чародеем.

Не менее достойные люди презирали Фрейда. Считали его шарлатаном, мракобесом и фокусником.

Многих смущает принципиальная узость Фрейда. Его равнодушие к духовной сфере. Его почти неодушевленный материализм.

Короче, основная часть творчества Фрейда — удел специалистов-медиков. Или психотерапевтов. Нам остается лишь козырять его именем в салонных разговорах.

А между тем, Фрейд совершил гениальное открытие. Всеобъемлющее и неоценимое. Может быть, равное открытиям Галилея и Канта. А именно:

Фрейд обнаружил в человеке комплекс неполноценности.

Что движет миром? Что заставляет работать этот громоздкий, проржавевший и бессмысленный механизм?

Любовь? Идеи? Деньги?

Может быть, тяготение к счастью? Или неутрачиваемая классовая борьба?

Да ничего подобного! В основе мирового исторического процесса лежит банальный комплекс неполноценности.

Проявляется он ежеминутно и на каждом шагу. Наделены им абсолютно все. Боксеры и калеки, ученые и ассенизаторы, преступники и судьи, генералы и рядовые, миллионеры и нищие.

Комплексом неполноценности обладают государства и материка. Народы и расы. Эпохи и формации.

Комплекс неполноценности явно заметен у животных. Моя собака Глаша решительно преображается, завидев выхолченную болонку. У нее меняется поступь. Начинают зло блестеть глаза. Мне кажется, я слышу ее ворчливый голос:

— Подумаешь, Лоллобриджида! Ни кожи, ни рожи! Сплошная косметика!..

С лета у меня живут два волнистых попугайчика. Джон и Мери. Джон напористо ухаживает за своей подружкой. То и дело расправляет крылья. Выпячивает грудь. Издаёт какие-то низкие, шалопинские звуки. Гарцует как на военном параде. Видимо, хочет сказать:

— Ты не думай, что я — воробей! В душе я — исполинский горный орел!

Комплексом неполноценности обладают люди и животные. Мало того, комплекс неполноценности есть даже у автомобилей.

Присмотритесь, как нахально действует старенький «Фиат». С каким злорадством оставляет позади громадный лимузин.

Тут сказывается все. И ущербность европейского сознания. И комплекс социального неравенства. И вполне объяснимая ненависть бойкого малыша к добродушному и флегматичному гиганту...

Что же тогда говорить о людях?!

В юности поэт Иосиф Бродский научился ловко чиркать спички о штаны. Конкретно говоря — о задницу. Чиркнет — спичка загорается.

Боже, как он гордился своим достижением! Как дорожил этим бессмысленным и малоприличным навыком. Как охотно и неутомимо его демонстрировал. Как радовался, если у других не выходило. Как торжествующе хохотал...

Впоследствии Бродский стал очень знаменит. Переведен на множество иностранных языков. Удостоен нескольких международных премий. Безусловно станет Нобелевским лауреатом.

Однако таким гордым я его больше не видел. Таким безгранично довольным собой. Таким неподдельно счастливым.

Видимо, его тяготил комплекс собственной исключительности. Он был незауряден и страдал. Ему хотелось быть таким, как все. То есть, ругаться матом, пить неразбавленный спирт... Чиркать спички о задницу...

Трудно притвориться гением. Еще труднее гению притвориться заурядным человеком.

А вот — иной пример. В Ленинграде я познакомился с неким Марцинкевичем. Это был человек заурядный, как железнодорожная шпала. Стандартный, как токен. Невыразительный, как солдатское белье.

У него был заурядный костюм, заурядная физиономия, заурядная профессия сантехника.

Марцинкевич очень тяготился своей заурядностью. Как-то раз мы возвращались из гостей. О чем-то вяло беседовали. Вдруг Марцинкевич таинственно понизил голос и сказал:

— Я хочу раскрыть вам свою тайну... В моей жизни произошла трагедия... Я стал агентом КГБ... Недавно мне присвоили чин капитана... На моей совести — десятки жертв...

Разумеется, Марцинкевич лгал. Офицеры КГБ так себя не ведут. Марцинкевич был невинным сантехником. И его ужасно тяготила собственная заурядность. Тяготила настолько, что он готов был выдавать себя за палача. Только бы не выглядеть совершенно заурядным...

Марцинкевич не всегда притворялся агентом КГБ. Иногда он, путаясь, выдавал себя за гомосексуалиста. А в отдельных случаях — за растлителя малолетних.

Все люди на земле теснейшим образом связаны. Причем их связывают не общие биологические корни. И не общие духовные стремления.

Их связывают великие узы тотального несовершенства...

С ужасом думаю я о трагедии Пушкина. Мало того, что его жена симпатизировала Дантесу. Это бы еще ничего. Но ведь Дантес был молод. Дантес был привлекателен. А главное — Дантес был совершенно зауряден. Не отягощен гениальностью, которая молоденьких женщин повергает в ужасающую тоску.

Убежден, что Пушкина выводила из себя заурядность Дантеса. И она же служила предметом его мучительной зависти. Источником беспредельного комплекса неполноценности...

Мальчишкой я дружил с Андрюшей Черкасовым. Потомком депутата и выдающегося артиста.

Господи, как я завидовал Андрюше. Ведь у него был знаменитый папа. У него была машина. У него была дача. У него была прислуга. У него было американское пневматическое ружье.

Я буквально помирал от зависти. У меня развивался чудовищный комплекс неполноценности.

Но показательно — другое. Показательно, что и Андрюша завидовал мне. Он завидовал моим рваным ботинкам. Моему умению курить и непринужденно сквернословить. Моим довольно хамским знакомствам. Моим синякам, полученным в уличных драках.

Комплекс неполноценности терзал обоих.

У Марка Твена есть роман об этом — «Принц и нищий»...

Я хорошо знал нескольких выдающихся спортсменов. Метателей — Болтовского и Руденкова. Боксеров — Соболева и Лагутина. Борца Толю Албула. Футболиста Тимофеева.

(Два слова о Тимофееве. Он был не только замечательным форвардом. Он был талантливым педагогом. Довольно своеобразно воспитывал провинившуюся жену. Тимофеев ставил ее в угол. Брал футбольный мяч. Затем разбежался... и наносил по жене штрафной удар.)

Впрочем, мы отвлеклись.

Итак, я знал многих выдающихся спортсменов. Это были знаменитые, увешанные регалиями люди. Держались очень скромно. О спортивных достижениях помалкивали.

Зато все эти чемпионы без конца говорили на литературные темы. Обсуждали театральные премьеры. Выказывали начитанность и эру-

дицию. Употребляли в разговоре непонятные слова, что является красноречивым знаком умственного изобилия.

У чемпионов был явный комплекс интеллектуальной неполноценности...

Вспомните советских милиционеров. Вспомните их горделивый облик. Казалось бы — галифе, наган, португеза... Довольно значительные права. Довольно высокая степень безнаказанности.

И наряду с этим — постоянные обиды. Постоянные нотки уязвленного самолюбия. Вечные и неистребимые комплексы...

Знал я и нескольких партийных чиновников. Это были корыстные, грубые люди, неуязвимые в доспехах своего цинизма.

И все же что-то мучило этих людей. Внушало им беспокойство. Заставляло вести себя довольно неожиданным образом.

Многие из них любили рассказывать политические анекдоты. Упоминали в разговоре шедевры самиздата. Выказывали интерес к нелегальной живописи.

Их явно тяготило ощущение гражданской неполноценности. Все тот же комплекс отравлял им существование...

Перейдем к интеллигенции.

В Ленинграде у меня хранилась двухпудовая гирия. Стояла без особой надобности в углу. При этом в нашем доме бывали самые разные люди. Знаменитый алкоголик Хряпа и не менее знаменитый профессор Жирмунский.

И что же?

Простые люди гирию игнорировали. С раздражением через нее перешагивали. Иногда — спотыкались.

Люди сложные действовали иначе. Моя гирия их буквально завораживала. Они возились с нею часами.

Сложные люди напрягались и багровели. Скидывали пиджаки, демонстрируя удручающую кабинетную мускулатуру. Делали сдавленными голосами хриплые цирковые выкрики.

Более других усердствовали самые рафинированные интеллектуалы. Например, талантливый критик Лурье. Человек почти не-

различимый от худобы. Способный заслониться бамбуковой удочкой.

Тот же Лурье и выпросил у меня гирию перед отъездом...

Да что говорить о Лурье! Комплекс неполноценности был даже у Хемингуэя. У того самого Хемингуэя, широкоплечего и рослого, бескомпромиссного и грубоватого, который всегда был для нас олицетворением мужества.

Частная жизнь Хемингуэя полна назойливого героизма. Тут и бокс, и война, и нескончаемые потасовки, и фантастические дозы спиртного.

Поистине мужественный человек так себя не ведет. Он не выпячивает своего геройства. Ему этого не требуется...

Хемингуэй застрелился без видимого повода. Ужас надвигающейся импотенции сломил его. Тяготы обычных старческих недугов парализовали его волю.

Хемингуэй выбрал оружие беззащитных. Он поступил как слабый человек. Что вовсе не делает его менее значительным писателем. И менее достойным человеком.

Ведь человеческая слабость писателя зачастую оборачивается главным источником его творчества.

Сильные люди не пишут романов. Сильные люди занимаются менее приличными вещами...

Разумеется, комплексы свойственны не только мужчинам.

В Америке есть десятки мощных фирм, которые отказываются предоставлять работу незамужним женщинам тридцати лет и старше.

Дискриминация такого рода — противозаконна. То есть фирмы сознательно идут на преступление. За что и подвергаются нападкам юнионов. А также — ощутимым штрафам.

Ради чего?

Все объясняется просто. Владельцы этих фирм панически боятся скандалов. Фрейда они, может быть, и не читали. Но в жизни разбираются...

Комплекс неполноценности лежит в основе главных мировых проблем. Сквозь призму этого явления хорошо различимы все детали нашего грандиозного хаотического миропорядка.

Давайте коснемся антисемитизма. Затронем без долгих предисловий эту мучительную тему.

Вот карманный цитатник современного бытового антисемита:

1. Евреи хитрые.
2. Евреи много зарабатывают.
3. Евреи не пьют бормотуху.
4. Евреи предпочитают умственный труд — физическому.
5. Евреи безнаказанно уезжают за границу.
6. Евреи помогают только своим...

И так далее.

Здесь что ни слово — то комплекс. Безграничный и явный комплекс неполноценности.

Мол, наш Иван такой простой, что всяк его обманет... Вкальвает за копейки... Опохмеляется тормозной жидкостью... Таскает на горбу десятипудовые мешки... Дальше районного центра не ездит... Окажется в беде — родня и ухом не поведет...

Расплакаться впору...

Припоминается такой эпизод в издательстве «Молодая гвардия». Редактор беседовал с прозаиком Заводчиковым. В частности, мягко его укорял:

— «В общем-то» — пишется через дефис. И выделяется запятыми...

Заводчиков страшно обиделся:

— Я вам не еврей, чтобы всюду запятые расставлять! И тем более — ваши паршивые жидовские дефисы...

Заводчикова угнетал тягчайший комплекс неполноценности. Он был убежден, что русскую грамматику выдумали коварные евреи. Причем с неблагоприятной целью. Чтобы связать по рукам и ногам его безграничную волжскую удаль...

Надо быть справедливым — евреи тоже хороши. Я не говорю сейчас об измененных фамилиях. О Фуксах, ставших Лисицыными. О Берманах, превратившихся в Медведевых. Я знаю, что Фуксов и Берманов к этому вынудили.

Я говорю о другом.

Широко распространился тип еврея, постоянно готового к борьбе за свое национальное достоинство. Пребывающего в постоянной боевой готовности.

Упаси вас Господь затронуть при нем еврейскую тему! Намекнуть, что и среди евреев попадаются малосимпатичные люди! Подвергнуть сомнению какую-нибудь ветхозаветную доктрину!

Слово «еврей» будет воспринято как чудовищное оскорбление. Сжав кулаки, оскорбленный бесстрашно ринется в драку.

Помню, беседовал я со знакомым юристом. (То есть с безусловно грамотным человеком.) Попытался высказать какую-то заурядную мысль:

— Израиль, как любая восточная страна...

Знакомый юрист грубо перебил меня. Он побагровел. В его голосе появились тигриные нотки. Он сказал:

— Израиль — не любая страна! Израиль наша единственная родина. Кроме того, Израиль — не восточная страна. Израиль — типично западное государство!

Признаться, я оторопел. Я не поверил собственным ушам. Я спросил:

— Как это — не восточная страна?! Она же расположена на Ближнем Востоке?!

— А так, — сказал юрист, — Израиль — это Запад. Не хуже любой поганой Швейцарии...

Вот он комплекс, вот он родимый! И география ему — нипочем!

Будь патриотом! Будь евреем! Люби свой Израиль! Гордись им!

Но зачем же Швейцарию обижать?..

Я хорошо знал мингрела, который был убежден, что готическая архитектура зародилась на Кавказе. Где-то в предгорьях Карадага... Ничего себе?!

Тот же критик Лурье почти всегда начинал разговор следующим образом:

— Как известно, я еврей...

Кому известно? Откуда? Зачем?!..

Он возвышал факт своего еврейства до уровня глобальных мировых постулатов...

Как минимум, это смешно...

В Америке мы поселились недавно. Американской жизни не знаем. Языка не знаем. Культуры не знаем. И, в общем-то, знать не хотим...

Причем отношение к местным жителям складывается двояко. В этом смысле эмиграция разделилась на два лагеря.

Одни твердят:

— Американцы — глупые, темные и невежественные. Американцы — бездуховные, скучные и меркантильные...

Другие — наоборот:

— Я с русскими не общаюсь. Русских газет не читаю. Русские фильмы игнорирую...

И те, и другие невероятно похожи. И тех, и других угнетает комплекс неполноценности...

Теперь попробуем коснуться эмигрантских волн. Дать слово их НЕТИПИЧНЫМ представителям.

Первый эмигрант:

— Мы бежали от красного теггога. Остались вегны своему госудагю. Долгие годы вынашивали планы интегвенции... А сейчас едут потомки комиссагов... Советские агенты... Хамье... Да, уходит наше поколение. И вместе с нами уходит Госсия...

Второй эмигрант:

— Мы бежали от сталинского террора. Мыкались по свету без документов. Работали за гроши. Про ХИАС и не слыхивали... А сейчас жиды поперли. Устраиваются... Газеты издают... Вот бы их к стенке поставить!..

Третий эмигрант:

— Раньше, бля, ехали сплошные графы. Везли фамильные бриллианты. Устраиваться не умели. Соображали на троих какие-то партии. Вынашивали какие-то планы... А теперь едем мы, интеллигенция. Доценты, бля, с кандидатами... За нами будущее!..

Вот так рассуждают эмигранты. Или — примерно так. Ощущение неполноценности делает их подозрительными, злобными, разобщенными. Сколько же надо времени, чтобы понять:

Все мы — беженцы. Все погорельцы. Все не устроены. И вряд ли когда-нибудь будем устроены...

Так что же нам делить? Америку? Россию? Наши ошибки и грехи?!..

Комплекс неполноценности — огромная сила. Вот только неясно — разрушительная или созидательная...

Молодой Шикльгрубер увлекался рисованием. Причем творил в сентиментальном духе. С особым рвением изображал цветы.

Значительного таланта не обнаружил.

Обиделся. Надулся. И постепенно стал Адольфом Гитлером...

Случалось такое и на русской почве. Вспомните Савинкова. В молодости он писал стихи. Выпустил три довольно посредственных романа. Успеха не достиг.

И с горя пошел убивать министров.

Есть мнение, что особо кровожадные злодеи формируются из удавшихся лирических поэтов.

Примеров достаточно. Сталин, Дзержинский, Махно...

Половина нынешнего мирового терроризма балуется лирическими стихами. Недостаток таланта делает их чрезвычайно опасными людьми...

И так было всегда.

Некоему Герострату очень хотелось прославиться. Талант отсутствовал. А спички — были. И он поджег библиотеку. Вместо того, что бы пополнить ее талантливыми сочинениями...¹

Вспомните Пушкина. Ближайшее окружение его целиком примкнуло к декабристам. А Пушкин оказался в стороне. Потому что таланта хватало...

Комплекс неполноценности способен загубить человеческую душу. Толкнуть человека на ужасающие злодеяния.

А может и возвысить до небес.

Жил в Германии хрупкий болезненный юноша. Заикался от неуверенности. Избегал развлечений.

И только за роялем он преобразался. Звали его Моцарт.

¹Автором допущена фактическая ошибка. Герострат библиотеку не поджигал. Александрийскую библиотеку подожгли солдаты Юлия Цезаря.

Герострат поджег другое учреждение — храм Артемиды. Что его тоже совершенно не украшает.

Мотивы поджога указаны верно. (*Примечание секретариата.*)

Говорят, Сальери выглядел куда более полноценным...

О Бродском мы уже вспоминали. Юношей он был робок настолько, что стеснялся заходить в автобус. Панически боялся толпы. Кроме того, ненавидел собственную внешность...

И только взаимоотношения с бумагой радовали его. Внушали ему чувство уверенности...

Академика Сахарова знает весь мир. Его называют совестью России. Такому человеку можно без опасений доверить собственную жизнь...

Когда-то Сахаров изобрел водородную бомбу. Подарил советскому государству оружие неслыханной мощи. Объективно способствовал росту коммунистического влияния.

Он был героем социалистического труда. Удостоился всех мыслимых благ. Принадлежал к верхушке советской элиты.

Впоследствии его охватили нравственные сомнения. Научное открытие могло послужить силам зла.

Сахарова мучило ощущение вины. Его угнетал тяжелый комплекс раскаяния.

Наконец, он возвратил государству полученные деньги. Заинтересовался социальными проблемами.

Так началась его общественная деятельность. Ее результаты трудно переоценить.

Сахаров — чуть ли не единственная инстанция, противостоящая коммунистическому режиму.

А началось с водородной бомбы... Так бывает...

Что же это такое — комплекс неполноценности? Вечный тормоз или вечный двигатель? Проклятие или благодать?

Я думаю, это зависит от нас.

Нечто подобное творится с атомной энергией. Ею можно обогреть весь земной шар. А можно расколоть его на тысячу частей.

По нашему усмотрению...

В каждой приличной статье должна быть заключительная часть. Какой-нибудь жизнеутверждающий аккорд. Нечто вроде улыбки под занавес.

Что бы такое придумать?

Завтра утром я поеду в редакцию. За столом напротив расположится мой юный коллега — Бланк.

В свободную минуту он раскроет портфель. Вытащит комплект «Нью-Йорк Таймс». И будет долго листать газету, повторяя:

— Обратите внимание — неплохая газета. Весьма неплохая газета. Почти такая же солидная, как «Новый американец»...

Дай Бог, чтобы его (точнее — наши общие) комплексы успешно развивались. Во благо «Новому американцу».

Ведь и начиналась-то газета с комплексов. Да еще с каких! Работы не было. Американской профессии не было. А следовательно — не было перспектив.

А теперь?

А теперь, вроде бы, есть.

«Новый американец», № 60, 1—7 апреля 1981 г.

КР НА РОДИНЕ...

На родине государством управляли мистические существа. Ну, что мы знали о Сталине? Что он курил трубку и был лучше всех. Что мы знали о Ленине? Что он носил кепку и тоже был лучше всех. О Брежневе мы даже этого не знаем. Известно только, что у него есть брови...

Вспоминается, как я был изумлен, узнав, что Ленину нравилось холодное пиво. В этом заурядном факте проглядывало нечто человеческое...

И еще одна важная деталь. У Ленина был незначительный дефект речи. У Сталина — рыночный акцент торговца гладиолусами. У Брежнева во рту происходит что-то загадочное. Советские лингвисты особый термин придумали для этого безобразия — «фрикативное Г». Все это не случайно: и «Г», и «Р», и цветочно-фруктовый акцент. Ведь у инопланетян должны быть какие-то этнические особенности. Иначе на людей будут похожи. А это — нельзя.

Вспомните день 1-го Мая. На трибуне Мавзолея вереница серых глиняных изваяний. Брежнева и Косыгина еще можно узнать. Пельше и Суслов однотипны и взаимозаменяемы. Остальные неотличимы, как солдатское белье.

Здесь государством управляют живые люди. Мы знаем, что Картер набожен, честен и благороден. Мы знаем, что Рейган тверд, принципиален и бережлив.

Дома мне было абсолютно все равно, за кого голосовать. Я раза четыре вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений. А из ненависти к бессмысленным действиям.

Здесь, повторяю, все иначе. Здесь мы гораздо ближе к политике. Пусть мы еще не американские граждане. Пускай голосовать будут другие — неважно. Результаты президентских выборов близко касаются и нас. Ведь за ними стоит реальный жизненный и государственный курс.

Я убежден в том, что личность государственного деятеля есть продукт эпохи. Что время, исторический момент, определяет тип главы правительства. Сталин, Гитлер и Трумен были очень разные люди. Но было в этих фигурах и что-то общее. Может быть, жесткость... Такая эпоха...

Хрущев, де Голль и Кеннеди тоже отнюдь не близнецы. Но что-то общее сквозило и в этих деятелях. Может быть, артистизм... Дань времени...

Затем наступила довольно серая и безликая эпоха разрядки. Она же породила довольно серых и безликих вождей. Мир был в относительном покое.

Сейчас этому затишью приходит конец. Афганская трагедия знаменует новый исторический этап. Увы, американскому народу приходится выбирать между твердостью и катастрофой.

Я не политический обозреватель. И не буду взвешивать шансы кандидатов. Но я уверен, что президентом будет Рейган. Мне кажется, именно такого президента требует эпоха.

Возможно, я ошибаюсь. На то и колонка редактора, чтобы пометчать.

«Новый американец», № 24, 25 июля — 1 августа 1980 г.

КР БЫЛ У МЕНЯ В ЛЕНИНГРАДЕ...

Был у меня в Ленинграде знакомый фарцовщик. Громадными партиями скупал у иностранцев всяческое барахло. Занимался также валютой и антиквариатом...

Позавчера встречаю его на Квинс-бульваре. Обнялись, разговорились.

— Ну как, — спрашиваю, — чем занимаешься?

— Кручу баранку, — отвечает, — вкалываю с утра до ночи.

Я удивился:

— Ты же был деловой, предприимчивый?!

Мой друг усмехнулся:

— Америка показала, кто деловой, а кто не очень...

Действительно, Америка многое заставила пересмотреть в себе и в жизни.

Здесь все по-другому. Здесь понятия «бизнесмен» и «мошенник» не совпадают. Говоря проще, здесь надо работать.

Вот мой знакомый и превратился в честного труженика...

Мне возражат:

«Ну, хорошо — ремесленники, инженеры, ученые. А как быть с музыкантами, литераторами?»

Хорошие музыканты играют. Я не говорю о Ростроповиче. Пономарев играет. Сермакашев играет. Батицкий играет. (Причем речь идет только о моих личных знакомых.)

Литераторов поддерживает государство. У Поповского — стипендия. У Парамонова — стипендия. У Соловьева, Клепиковой — такая же история. Даже Алешковский грант получил...

Мне возражат:

«А как же быть с писателями на велфейре? С музыкантами за баранкой? С кинорежиссерами, переквалифицировавшимися в управдомы?»

А вы присмотритесь. Может, они большего и не стоили. Может, это их настоящее призвание?!

Короче, либо это временно, либо справедливо...

Америка — не рай. И не распределитель ЦК. Америка не только вознаграждает одаренных и работащих. Америка жестоко отрезвляет самонадеянных и заблуждающихся.

Причем выигрывают и те и другие. Одаренным и работающим воздают по заслугам. Самонадеянные и заблуждающиеся утрачивают вредные иллюзии. И то и другое — благо.

Мои товарищи Вайль и Генис сменили десятки профессий. Насколько я знаю, вершина их советской биографии — пожарная команда. А теперь — уважаемые люди. Критики. Попробуй тронь!

Меттер заведовал поломанной радиостанцией и сочинял телепередачу о животноводах. А теперь, что ни говори, — президент корпорации.

И так далее.

Лично я стал тем, кем был, наверное, и раньше. (Просто окружающие этого не знали.) То есть — литератором и журналистом. Увы, далеко не первым. И, к счастью, далеко не последним.

«Новый американец», № 25, 1—5 августа 1980 г.

КР КОГДА-ТО Я РАБОТАЛ НА ЗАВОДЕ...

Когда-то я работал на заводе. Точнее — в заводской многотиражке.

На этом заводе произошел удивительный случай. Один мой знакомый инженер хотел поехать в Англию. Купил себе туристскую путевку. Начал оформлять документы. Все шло хорошо. И вдруг — отказ. Партком отказался выдать моему знакомому необходимые рекомендации.

Я спросил парторга:

— В чем дело? Ведь мой знакомый — не еврей?

— Еще бы! — сказал парторг.

— Кроме того, он член партии.

— Естественно! — сказал парторг.

— Так в чем же дело? Чего вы его не отпускаете?

Парторг нахмурился и говорит;

— Ваш знакомый слишком часто улыбается. И даже смеется. В том числе и на партийных собраниях. Есть свидетели...

— А, — говорю, — тогда понятно...

Улыбающийся человек не угоден тоталитаризму. Смеющийся — опасен. Хохочущий — опасен втройне.

Дома нас окружала тотальная безвыходная серьезность. Вспомните лица парторгов, милиционеров и заведующих отделами. Вспомните лица домоуправов, торговых работников и служащих почты. Вспомните лица членов Политбюро ЦК. Вспомните, например, лицо Косыгина. Беременным женщинам нельзя показывать такие вещи...

Сейчас мы в Америке. Строим новую жизнь. Реализуем изначальные демократические права. Право на собственное мнение. Право на материальный достаток. Право на творчество... И так далее.

И еще. Мы осуществляем великое человеческое право на смех и улыбку.

Смеемся над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством. Над лже-пророками и псевдомучениками. Над президентами и рыцарями вельфейра...

Шесть месяцев выходит наша газета. Шесть месяцев я то и дело слышу...

— И чего вы смеетесь? Над чем потешаетесь? Такие несерьезные... А в Камбодже — террор. В Афганистане — трагедия. Академик Сахаров томится в Горьком... И вообще, мир на грани катастрофы!..

Да, мир на грани катастрофы. И приведи его к этой грани — угрюмые люди. Угрюмые люди бесчинствуют в Камбодже. Угрюмые люди держат в плену заложников. И гордость России, академика Сахарова, мучают тоже угрюмые люди.

И потому — мы будем смеяться. Над русофобами и антисемитами. Над воинствующими атеистами и религиозными кликушами. Над мягкотелыми «голубями» и твердолобыми «ястребами»...

И главное — тут я прошу вас быть абсолютно внимательными — над собой!

Друзья мои! Научитесь смеяться и вы научитесь побеждать!

«Новый американец», № 26, 6—11 августа 1980 г.

КР

ЕСТЬ В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ...

Есть в советской пропаганде замечательная черта. Напористая, громогласная, вездесущая и непрерывная — советская пропаганда вызывает обратную реакцию.

Критикуют фильм — значит, надо его посмотреть. Ругают книгу — значит, стоит ее прочитать. На кого-то персонально обрушились — значит, достойный человек...

Один знакомый лектор (из прогрессивных) жаловался мне:

«На тысячу вопросов готов ответить. Есть два, которые меня смущают. Хоть с работы увольняйся!.. Первый вопрос. Отчего в дружественном Египте нет коммунистической партии? А во вражеском Израиле есть? И притом целых две... И второй. Насчет Сахарова. Правда ли, что он — Герой Социалистического Труда? Да еще трижды?..»

Десятки раз я слышал:

«Вот напишу академику Сахарову! Поеду в Москву к академику Сахарову!»

И адреса-то человек не знает. Да, может, и знал бы — не поехал. Русский человек и в жалобную-то книгу не пишет. Душу ответит, востребует книгу, а писать не станет...

Тут важно другое. Появилось ощущение новой инстанции. Раньше было что? Партком? Где сидят знакомые лодыри и демагоги? Местком? Где те же лодыри и демагоги бегают шестерками перед начальством? Милиция, прокуратура? Да разве они защитят? От них самих защита требуется...

Вот и раздается повсюду:

«Напишу академику Сахарову!»

Тут мне хочется вспомнить один случай. Был я в командировке. Рано утром оказался на псковском автовокзале. В прибежище местных алкашей. Разговорился с одним. Лицо сизое, опухшее, руки трясутся. Сунул я ему два рубля. Алкаш выпил портвейна, немного отошел. Каким-то чудом распознал во мне интеллигента. Видимо, захотел мне угодить. И рассказал такую историю:

«Был я, понимаешь, на кабельных работах. Естественно, каждый вечер поддача. Белое, красное, одеколон... Рано утром встаю — колотун меня бьет. И похмелиться нечем. Еле иду. Мотор на ходу вырубается. Вдруг навстречу — мужик. С тебя ростом, но шире в плечах. Останавливает меня и говорит:

— Худо тебе?

— Худо, — отвечаю.

— На, — говорит, — червонец. Похмелися. И запомни — я академик Сахаров...»

...Я понимаю, что это — наивная выдумка опустившегося человека. И все-таки... Если оставить в стороне убогую фантазию этого забулдыги... Да это же сказка о благородном волшебнике! Ведь именно так создается фольклор! В наши дни. Вокруг конкретного живого человека...

Пусть наивно, смешно. Но ведь это прямая трансформация мечты о справедливости...

Сахаров выслан. Живет в Горьком. Вокруг него — люди. Инстанция существует!

СССР — БОЛЬШАЯ ЗОНА

Как-то раз Андрей Седых, погорячившись, назвал меня «бывшим вертухаем». Я не обиделся. Так называли меня уголовники под Иоссером, где я служил больше года. Так называли меня в Котласе хулиганы из расконвоированного лагерного бакланья. Так называл меня под Койном людоед Аникин. (Настоящий людоед, четырежды ухотивший в побег «с теленком». То есть с молодым напарником в качестве живого продовольственного запаса.)

Короче, я привык и не обиделся. Просто кое-что вспомнилось.

«...Стреляйте в направлении меня!..»

Я три года прослужил в охране. И половину срока — в лагере особого режима.

Это были страшные годы. За три года я не припомню и одного счастливого дня.

Увезли нас летом, по спецнабору. Через месяц я оказался в школе надзорсостава под Ропчей. А еще через месяц инспектор самообороны Торопцев, прощаясь, говорил:

— Запомни, сынок! Можно спастись от ножа... Можно блокировать топор... Можно все! Но если можно убежать — беги и не оглядывайся!..

Я уехал в штрафной изолятор на Койн. В кармане лежала служебная инструкция. Четвертый пункт гласил:

«Если надзиратель оказывается в безвыходном положении, то дает команду часовому:

— **СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ!..»**

Как вам это нравится? **СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ...**

Закон — тайга!

В охрану я попал романтическим молодым человеком. Жизнь моя до этого протекала ровно и безбедно.

У меня был полный комплект родителей. Жили мы в относительно достатке.

Единственную драму тех лет я пережил в боксерском зале. Около двух минут пролежал без сознания. И долго еще меня преследовал запах нашатырного спирта...

А тут — стреляйте в направлении меня!..

Я вспоминаю ночь. Лагерные прожекторы. Четыре грузовика повернуты фарами к зоне.

Я вижу черный от крови снег под фонарями. Девятнадцатилетнего мальчишку с простреленным животом. Он уже не кричит. Только часто-часто перебирает ногами. Словно все еще бежит куда-то...

Вокруг толпа охранников. Инструкторы придерживают рвущихся собак. Лейтенант Тваури приказывает:

— Добить!

— А как же созаконность? — говорю.

— Я вам покажу созаконность, — орет Тваури, — у нас закон — тайга!..

И все же я благодарен судьбе за эти годы. Впервые я затормозил и огляделся. Впервые обмер, потрясенный глубиной и разнообразием жизни. Впервые подумал:

«Если я не замечал этого раньше, то сколько же человеческого горя пронеслось мимо?!..»

То, что мне казалось важным, отошло на задний план. То, что представлялось малосущественным, заслонило горизонт..

Я понял — человек способен на все. И в дурном, и в хорошем.

Я понял, ад — это мы сами. Только не хотим этого замечать.

И еще я узнал самое главное. То, ради чего стоило пережить эти годы. Я узнал, что в мире царит равновесие. Кошмарное и замечательное, смешное и печальное — тянутся в единой упряжке...

Я убедился в том, что люди носят маски. Маски бывают самые разные. Маска набожности и маска долготерпения. Маска учтивости и маска любви. Маска совести, юмора, интеллекта... Эти маски приросли к нашим лицам.

Но я-то знал — сутки лесоповала, и двадцать веков цивилизации бесследно улетучатся. И останется человек без маски, твой двойник...

Лагерь навязал мне целый ряд простых, оскорбительных истин:
Всегда готовься к худшему — не ошибешься...

Забудь о человечности. Этот фрукт здесь не растет...

Не унижайся до просьб. Бери, если можешь, сам, а если — нет,
то притворяйся равнодушным...

Не бойся смерти. Пока мы живы, смерти нет. А смерть придет,
мы будем далеко...

Верь одному себе. И то не до конца...

А главное, всегда бей первым!

По обе стороны забора

Мировая «каторжная» литература выдвигает две шкалы идейных представлений.

1. Каторжник — жертва, герой, многострадальная и трагическая фигура. А значит, представители режима — сила негативная и отрицательная.

2. Каторжник — монстр, злодей. Соответственно, полицейский, милиционер, надзиратель — фигуры героические и благородные.

Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Заключение и охранники невероятно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные ориентиры... Таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки единый и жестокий мир...

Лагерная охрана сейчас — подразделение регулярной армии. Мобилизуют сюда обычным порядком. А следовательно, попасть в охрану может каждый. И это вовсе не означает, что ему повезло.

Тем не менее я благодарен судьбе за эти годы. Благодарен еще и потому, что выжил. Ведь десятки моих ровесников — погибли.

Заблудился в тайге Григорий Дерменжи. Утопили в проруби Барковца. Зарезали на пересылке Олега Суханова.

Страшнее всех погиб Кондрашин. Урки сделали ему так называемые «качели». Повалили человека на землю. Положили ему доску на грудь. И кто-то скомандовал: «Поехали!..»

За последние годы опубликованы десятки лагерных мемуаров. Написаны они жертвами режима, бывшими заключенными. Есте-

ственно, что в этих книгах немало горьких слов по адресу работников охраны.

Что ж, это справедливо. Абсолютно справедливо по отношению к лагерному руководству. (Да и то — в политических лагерях.) Рядовые же исполнители — лишь орудие гнусной и порочной системы.

Следует ли привлекать к ответу девятнадцатилетних невежественных мальчишек? Недавних школьников, облаченных в гимнастерки с малиновыми погонами?

Тем более, что их собственное положение весьма незавидно. Потому что служба в охране — унизительна, неблагодарна и тяжела.

И, основная черта этой жизни, — вечная мучительная двойственность.

В самом деле, кто они такие — подростки или зрелые мужчины? Кто учил их этой дикой работе — охранять с автоматами живых людей? Кто учил их состраданию, благородству, милости к падшим?

Прогнивший комсомол? Оглушенные трудом и пьянством родители?

А ведь от решения этих мальчишек зависит иногда чужая жизнь! Полгода сержантской школы, две желтые лычки, и ты уже начальник! Девятнадцатилетний сержант, командир. И если в зоне ЧП, ты — начальник группы преследования. Тебе решать — будет жить пойманный зек или убьют его на месте, как собаку..

У зеков все понятно. Вор сидит, и, как правило, — за дело. А ты? То ли вольный, то ли зек...

Подъем, как и у зеков, — в шесть. Питание такое же, если не хуже. Зек свое, положенное, возьмет. За него — соцзаконность. А у солдат кто только не ворует! Офицеры, сверхсрочники, жены тех и других...

Вокруг лагеря — забор. И вокруг казармы — забор. Хорошо, если рядом поселок, два раза в месяц — увольнение. А если служишь в тайге? Как это поется:

Крутая тяжесть сапога,
Роса на карабине,
Кругом тайга, одна тайга,
И мы — посередине...

Зеки, по мнению честных советских граждан, — не люди. И солдаты — не лучше. Завидев военнослужащего, женщины крепче прижимают сумочки. (И правильно делают.)

В лагере и в казарме — язык одинаковый. Один блатной жаргон, уголовная «музыка», «феня». И песни одинаковые горланят. И в зоне, и в казарме можно услышать что-нибудь такое:

Дождик каплет на рыло,
И на дуло нагана...

И в зоне, и в казарме — пьют, дерутся, ругают начальство. И зону, и казарму покидают люди жестокие, утрюмые, надломленные. И если это школа, то школа насилия и зла...

Там, за поворотом

О советских лагерях написаны десятки книг. Есть среди них признанные литературные шедевры. Есть бесхитростные честные мемуары. Есть научные исследования. Есть публицистические трактаты.

Все эти материалы касаются тюрем, лагерей, пересылок, следственных изоляторов, барачков усиленного режима. О жизни по ту сторону забора известно многое, если не все. О жизни по эту сторону — гораздо меньше.

Есть такой, не очень географический термин — лагерный поселок. То есть населенный пункт вблизи большого лагеря.

На востоке, да и на западе СССР лагерных поселков — тысячи. А может быть, десятки, сотни тысяч. Жизнь в них идет по лагерным законам.

Девяносто процентов населения — бывшие зеки. Десять процентов — администрация и всякие случайные люди. Например, приехавшие к зекам родные и близкие.

Неизменные черты здешней жизни — пьянство, кровавые драки, воровство и чифирь. Здесь действуют те же, что и в лагере, нравственные установки:

— Не унижайся допросьб! Не бойся смерти! Верь одному себе! А главное — всегда бей первым!

Есть здесь черты блатной романтики, надрывная удаль, пьяная дружба, крайний цинизм и визгливая тюремная сентиментальность.

Я бы добавил к этому свойственное уголовникам — жеманство. Уборную здесь называют исключительно — туалетом. Хотя утопить в этом самом туалете могут запросто...

Многое роднит поселок с лагерем. Тяжелые условия жизни. Нездоровый климат. Непосильный и малопроизводительный труд. Убогий блатной язык...

О родстве между казармой, лагерем и волей существует такая за-
дорная песня:

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у старшины,
Который пропил все что мог,
От портупей до сапог,
Спросите вы у тех солдат,
Что в вендиспансере лежат,
И вы тогда понять должны,
Хотят ли русские войны...

Что заставляет свободных людей жить тут годами, десятилетиями? Не пытаться уехать отсюда? И даже не мечтать об этом? То есть принципиально хоронить себя в этой глуши?

Я задавал себе эти вопросы многократно. И наконец, кое-что понял. А раскрыл мне глаза старый доктор Евгений Устинович Шадрин.

Сел он много лет назад по делу Горького. Отбыл в заключении чуть не тридцать лет. Был реабилитирован, освобожден. Однако возвратиться домой не захотел. Я спросил его — почему? Старый доктор объяснил мне:

«Я одинокий человек. Жена умерла. Дети меня предали и забыли... Как я буду жить в Москве среди демагогов и ловкачей? Я отвык... Да, здесь пьянство и резня. И все же тут я, как это ни удивительно, — свободен... Здесь можно не врать, не добиваться каких-то паршивых благ, не лицемерить... Здесь я говорю людям то, что думаю. Мерзавца в лицо называю мерзавцем, труса — трусом... Недаром говорят, что советская власть осталась у переезда. Здесь ее практически нет...»

Великий и могучий

Казарма, зона, лагерный поселок — все это изнанка российско-государства.

Что же скрывается за пышными его фасадами?

Я демобилизовался в шестьдесят пятом году. Гнусный лагерный опыт тяготил меня. Мне хотелось быстрее от него избавиться.

Я мечтал о филологии. Об академической карьере. О прохладном сумраке библиотек.

Я мечтал покончить с героическими лагерными воспоминаниями. Это было непросто. Лагерь то и дело напоминал о себе. Блатная феня преследовала меня на каждом шагу. Она царила на всех мыслимых уровнях советской действительности.

Университетская профессура распевала Галича, Кима, Высоцкого.

Академик Лихачев высказался после научного симпозиума, где его критиковал товарищ из обкома:

«Я ТАКИХ БУШЛАТОМ ПО ЛАГЕРЮ ГОНЯЛ...»

Знаменитый писатель Даниил Гранин так комментировал свержение Хрущева:

«ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА...»

Матом крыли абсолютно все. Язык до краев наполнился самой чудовищной бранью. Видимо, мат стал одной из форм сопротивления языка напору тусклой, бессмысленной казенной речи.

Матерились академики и крестьяне. Партийные функционеры и диссиденты. Алкаши и работники милиции. Школьные учителя и космонавты. Светские дамы и ученицы младших классов...

У моего знакомого актера был попугай. Этот попугай знал десять слов. Шесть из них я затрудняюсь воспроизвести. Остальные были: «шмон», «дурак» и «сука ты позорная»!..

Вся Россия говорила языком шалманов, пересылок и лагерных толковищ. Вот я и подумал — блатные навыки еще могут пригодиться. А как же иначе, если по уголовным законам живет великое многомиллионное государство...

Мое и наше

Лет двадцать уже популярен в народе стишок:

Тащи с завода даже гвоздь,
Ведь ты хозяин, а не гость!

Действительно, повсеместное и безграничное государственное хищение обрело тотальный размах. Тащат все: кафель, гипс, полиэтилен, электрические моторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла...

С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы...

Я знал человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Расхититель выбросил каменную глыбу у порога своего дома...

Государственное хищение бывает двух типов. Практическая кража и метафизическая кража.

С практической кражей все ясно. Продавец гастронома уносит домой туго набитую сумку. Нет вопросов. С продовольствием дела обстоят безобразно. А детей кормить надо...

Или другой пример. Человек ворует с текстильной базы мохеровые шарфики, кримпленовые брюки. Одевает семейство, знакомых, родню. И тут все ясно...

Бывает, что крадут на продажу. Миниатюрные резисторы, фотоаппараты, ювелирные изделия. Это понятно...

А теперь коснемся метафизического воровства. Загадочного воровства без практических целей.

Один мой приятель забрался в агитпункт, украл избирательную урну. Громадный фанерный ящик с узкой щелью. Поставил его дома и успокоился.

Другой украл огнетушитель.

Третий — нотный поупитр из клуба.

Четвертый приволок домой афишную тумбу.

Чем они руководствовались? Какие цели преследовали?

Такая кража сродни мелкому хулиганству. Лишь бы навредить,

причинить ущерб. Человек неосознанно мстит государству за позорные условия жизни. Пытается компенсировать этим свои многочисленные обиды...

Возможно, тут проявляется неосознанный антисоветизм. Возможно, это своеобразная форма протеста.

Но самое поразительное вот что. Мелкое, будничное государственное хищение советскую власть почти не раздражает. Более того, почти устраивает. Посудите сами. Нищета и вечный дефицит порождают мелкое хищение. Мелкое хищение порождает тотальное чувство вины. А виноватый человек более послушен. Виноватым человеком легче управлять...

Говорят, путешествующего историка Карамзина спросили в Европе:

— Одним словом — что делается в России?

— Одним словом? — задумался Карамзин. — Одним словом — воруют!..

С тех пор мало что изменилось. А если изменилось, то к худшему.

«Крайм родной, навек любимый...»

Американская преступность — тема бесчисленных газетных статей. Как в американской, так и в советской прессе.

Грабежи, убийства, изнасилования — все это, конечно, страшные преступления. Это есть в Америке, есть и в СССР..

Но сейчас я говорю о другом. О преступлениях, которых советские люди даже не замечают. Которые стали обыденными и привычными. О преступлениях, которые в глазах рядового советского человека таковыми не являются.

Разве хамство не преступление?

Кому что нравится. Лично я предпочитаю быть раз в жизни ограбленным, чем ежеминутно униженным.

Вспомните угрюмые лица советских работников прилавка. Мрачные физиономии почтовых служащих. Нотки постоянного раздражения в голосе бесчисленных администраторов.

Любой клиент советского чиновника — его заведомый враг и мучитель.

Мало этого. Случается, что хамство приобретает узаконенную форму директивы. В жизни я читал немало поразивших меня объявлений. Но особенно запомнились три.

Первое я увидел на стене ленинградского гастронома. Оно гласило: «ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ!»

И больше — ни слова. Угроза, зловеще обращенная в пространство.

(Кстати. В этом же гастрономе моему приятелю довелось увидеть записку, лежавшую на крышке цинкового бака: «Зина, сметану не разбавляй. Я уже разбавила».)

Второе поразившее меня объявление украшало кабинет начальника милиции города Зеленогорска. Оно звучало так:

«ВОПРОСОВ НЕ ЗАДАВАТЬ!»

Ужасом безнадежности веяло от этого настоятельного требования.

Но самым удивительным было третье объявление. Я заметил его в приемной сельской больницы. В нем было одно-единственное слово:

«НЕЛЬЗЯ!!!»

И три восклицательных знака...

«Широка страна моя родная!...»

Если пролететь на самолете над Уралом, то откроется довольно мрачная картина. Вы увидите бесконечные лагерные заборы. (Вот бы начать с этих кадров правдивый фильм о России! Под звуки: «Широка страна моя родная...»)

Если присмотреться, можно различить дощатые и фанерные вышки. Их великое множество, тысячи шатких, убогих построек. Снаружи прожектор, внутри телефон. А рядом с телефоном — неуклюжий человек в полушубке. Примерзший к автомату часовой...

Можно называть его «вертухаем». Можно называть его — «цириком», «породой», «кирпичом». Можно глумиться, бляеть, скрежегать. Можно все.

И все-таки не забывайте — кто он.

Я вам напомню. Это вы и я. Это ваш сын и брат.

Это то, что было раньше великим народом.

КР КАК-ТО БЕСЕДОВАЛ Я...

Как-то беседовал я с приятелем. Приятель выпил, закусил и говорит:

«С американцами дружить невозможно. Это холодные, черствые, меркантильные люди. Главное для них — практический расчет...

Помнишь, как было в Союзе? Звонит тебе друг среди ночи:

“Толик! У меня — депрессия! С Алкой полаялся!”

Ты хватаешь пузырь — и к нему. И потом до утра керосините... Он для тебя последнюю рубашку снимет... И ты для него... Вот это дружба! Навзрыд! До упора!..»

Все это мой приятель говорил абсолютно серьезно. И я задумался...

Есть в Ленинграде писатель Воскобойников. Общительный, способный, добродушный человек. Как выяснилось — давний осведомитель ГБ. Взял и посадил своего друга Михаила Хейфеца. А ведь дружили. И до утра беседовали. И последними рубашками торжественно обменивались...

Есть в Союзе такой романист — Пикуль... Размашистый, широкий человек. И водку пить мастак, и драться лезет, если что... Взял и посадил своего (и моего) друга Кирилла Успенского...

И так далее.

Есть в российском надрыве опасное свойство. Униженные, пуганые, глухонемые — ищем мы забвения в случайной дружбе. Выпьем, закусим, и начинается:

«Вася! Друг любезный! Режь последний огурец!..»

Дружба — это, конечно, хорошо. Да и в пьянстве я большого греха не вижу. Меня интересует другое. Я хочу спросить:

— А кто в Союзе за 60 лет написал 15 миллионов доносов? Пятнадцать миллионов?! Друзья или враги?

Да, американцы сдержаннее нас.

В душу не лезут. Здесь это не принято.

Если разводятся с женой, идут к юристу. (А не к Толику — водку жрать.)

О болезнях рассказывают врачу.

Сновидения излагают психоаналитику.

Идейного противника стараются убедить. А не бегут жаловаться в первый отдел...

Да и так ли уж они практичны?

Часть моих рукописей вывез из Ленинграда американец Данкер. Кстати, интеллигентный негр. Совершенно бескорыстно. Более того, с риском для карьеры. Поскольку работает в американско-советской торговле.

Издal мою книгу американец Проффер. И тоже — совершенно бескорыстно.

Более того, претерпевая убытки на многих русских изданиях.

Переводят мои сочинения две американки. И обе работают бесплатно. В сомнительном расчете на грядущие пулитцеровские барыши.

В одном мой друг прав. Последней рубашкой здесь со мной не делись. И слава Богу! Зачем мне последняя рубашка? У меня своих хватает. Я уж не говорю про огурцы...

«Новый американец», № 28, 19 — 26 августа 1980 г.

КР В ДЕТСТВЕ Я БЫЛ...

В детстве я был невероятным оптимистом. В дневнике и на обложках школьных тетрадей я рисовал портреты Сталина. И других вождей мирового пролетариата. Особенно хорошо получался Карл Маркс. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже...

Маршируя в пионерских рядах, я не щадил голосовых связок.

Я рос оптимистом. Мне говорили:

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»

Я верил.

Вспоминается такой задорный марш:

Мы будем петь и смеяться, как дети,

Среди всеобщей борьбы и труда...

Эти слова я выкрикивал десятки раз. Выкрикивал, выкрикивал, а потом задумался. Что же это получается? Все кругом работают, а мы поем и хохочем, как слабоумные...

В общем, стал мой оптимизм таять. Все шло — одно к одному. Деда расстреляли. Отца выгнали с работы. Потом меня — из комсомола. Потом — из университета. Потом — из Союза журналистов. И так далее. Потом оказалось, что далее — некуда... И пессимизм мой все крепчал.

Окружение мое тоже состояло из людей печальных. Весельчаков я что-то не припомню. Весельчаков мои друзья остерегались — не стукач ли?..

Наконец мы эмигрировали. Живем в Америке. Присматриваемся к окружающей действительности. Спросишь у любого американца:

— Как дела?

— Файн! — отвечает.

Вроде бы — не дурак. И уж, как минимум, — не стукач.

Может, у него и в самом деле — файн? Почему бы и нет? Говорит, что думает. Живет, как считает нужным. Молится, кому хочет. Сыт, одет, обут... Каждому, что называется, по труду...

Так наметился у меня поворот к оптимизму. Теперь уже на мрачных людей смотрю подозрительно. Чего это они такие мрачные? Как бы гало-

ши не украли? А может, КГБ их сюда засылает для увеличения напряженности?..

И коллеги у меня подобралась соответствующие. То и дело — улыбаются. Порой смеются. Изредка даже хохочут.

И газету делают — принципиально оптимистическую!

Конечно, бывают и у нас огорчения. То анонимное письмецо от какого-нибудь уязвленного дурака. То из Союза придут дурные вести. Или дочь презрением обдаст за то, что не умеешь водить автомобиль...

Но главная проблема решена. Будущее наших детей — прекрасно. То есть — наше будущее.

Поэтому наша газета вызывает к мужеству и оптимизму.

А истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду!

«Новый американец», № 31, 9—14 сентября 1980 г.

КР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ...

На английском языке вышла замечательная книга Солженицына — «Бодался теленок с дубом».

Произведение это — документальное, автобиографическое. Перед нами — хроника духовной и литературной борьбы с тоталитаризмом, цензурой, госбезопасностью и функционерами ССП.

Мы узнаем, чего достигает великий писатель, единственное оружие которого — слово. Единственное преимущество — вера. Единственное достояние — мужество. Единственная ставка — жизнь...

Вот уже шесть лет Солженицын на Западе. На множестве языков изданы его книги. Широко обнародована его нравственная программа.

Исключительный художественный талант Солженицына не вызывает разногласий. Идеи Солженицына, его духовные, нравственные, политические установки вызывают разноречивую обоснованную критику.

Что может быть естественнее и разумнее? Ведь предмет дискуссии — будущее нашей многострадальной родины.

Солженицын не одинок. У него имеются значительные, талантливые, влиятельные единомышленники. Его позициям во многом следует лучший русский журнал «Континент».

Голос Солженицына звучит на весь мир. А значит, голоса его критиков и оппонентов тоже должны быть услышаны. Этому принципу следует наша газета...

Всякое большое явление обрастает суетной и мелочной накипью. То и дело раздается грозный писк бездумных и угодливых клеветников Солженицына:

— Кто посмел замахнуться на пророка?! Его особа священна! Его идеи вне критики!..

Эти люди привыкли молиться очередным богам. (Неизменно расширяя при этом свои узкие лбы.) И менять убеждения, прочитав свежий номер газеты.

Десятилетиями они молились Ленину. А теперь готовы крушить его монументы, ими самими воздвигнутые.

Мы устроены по-другому. Слишком горек наш опыт, чтобы бездумно разделять любые идеи. Принимать на веру самые убедительные доктрины. Поспешно обожествлять самые яркие авторитеты.

Мы прозрели и обрели слух. Переиначивая буквари, нам хочется сказать:

МЫ — НЕ РЫБЫ! РЫБЫ — НЕ МЫ!

А у нас есть право голоса. Право на критику. Право на собственное мнение.

Мы восхищаемся Солженицыным и потому будем критически осмысливать его работы.

Слишком ответственна функция политического реформатора. Слишком дорого нам будущее России!

«Новый американец», № 32, 15—20 сентября 1980 г.

КР ЗАТЕВАЯ ГАЗЕТУ

Затевая газету, мы предвидели всяческие трудности. Знали, что не хватает средств, американского опыта, деловитости...

Нам хотелось преодолеть инерцию собственного тоталитарного мышления. Покончить с врожденной безответственностью. Уничтожить в себе цинизм, неверие, хамское пренебрежение к идеалам.

Мы беседовали с читателем доверительно, откровенно. Избегали директивного тона. Воздерживались от назойливых прямолинейных доктрин. Предоставляли ему возможность обрести собственное мнение.

Мы даже отваживались шутить. (Что ужасно раздражало бывших партийных функционеров...)

Казалось, мы предвидели все. И тем не менее редакцию ожидали всяческие сюрпризы.

Увы, бывало всякое. Тягостные внутренние раздоры. (С оттенком мордобоя.) Денежные кризисы. Творческие неудачи. Крушения ослепительных финансовых и рекламных затей. Предательства бывших коллег. Справедливые и несправедливые претензии друзей...

Ну кто, спрашивается, мог ждать вероломства от... почты. Казалось бы, тут все должно происходить автоматически. Конверт запечатал, марку наклеил и привет...

Мы забыли о главном. Почта в Америке — государственная. А все государственное здесь...

Короче, поначалу нареканий было мало. Ведь число подписчиков было совсем незначительным. Затем подписка стала расти. И соответственно росли претензии читателей. Кто-то получал газету с опозданием. (А бывало, что и не получал совсем.) Кто-то получал два или три экземпляра. (Что вызывало тревогу и недоумение.)

Иногда доставка шла рывками. Какими-то не подвластными разуму и арифметике зигзагами...

Все это нервировало редакцию. Рождало ощущение вины и неудовлетворенности.

Затем подписка увеличилась настолько, что мы вынуждены были сделать радикальные шаги. Мы обзавелись замечательным устройством под названием адресограф. Подпиской у нас ведает компьютер. (Как человек сугубо гуманитарный, объяснить механику этого дела — затрудняюсь.)

Дела пошли лучше. Претензий стало гораздо меньше. Вскоре они прекратятся совсем.

Но это потребовало времени. И денег.

А денег по-прежнему мало. Еще несколько месяцев сотрудники решили трудиться бесплатно.

И все-таки, положение неуклонно стабилизируется. Будущее вызывает оптимистические прогнозы. Число наших подписчиков, то есть друзей газеты, — растет.

Так и должно быть. Это — ваша газета, она делается вами и для вас.

«Новый американец», № 33, 21—26 сентября 1980 г.

Я ХОЧУ ВАМ РАССКАЗАТЬ

Из выступлений на конференции в Лос-Анджелесе

Уважаемые господа! Друзья мои!

Мне бы хотелось заинтересовать вас удивительнейшим парадоксом нашей культуры. Он заключается в следующем.

Самая объемистая русская газета издается не в Москве. Не в Ленинграде. Не в степях Казахстана и не в предгорьях Урала...

Самая объемистая русская газета издается в Нью-Йорке. На углу 35-й стрит и 8-й авеню.

Вот эта газета — «Новый американец»! Выходит она еженедельно. По вторникам. На 48 листах таблоидного размера...

Три года назад в Америку прилетел ленинградский журналист Борис Меттер. Быстро и трезво оценил свои незавидные перспективы.

Несколько месяцев он вяло топтался у подножия социальной лестницы. В буквальном и переносном смысле. А именно — был лифтером.

Работа его не удовлетворяла. Он назойливо заговаривал с пассажирами в лифте. Делился планами создания новой газеты.

Кому-то идея нравилась. Кому-то представлялась нерентабельной и даже вздорной.

Важно другое. Собеседники Бориса Меттера не удивлялись. Всем казалось нормальным, что лифтер собирается издавать газету.

Вот что такое — Америка!

У Меттера появились единомышленники. Такие же беспросветные неудачники, как и он.

Мы знали, что Америка — страна неограниченных возможностей. Что можно все. В том числе — издавать газету.

Мы догадывались, что в Америке нет обкома и горкома. Значит, есть что-то другое.

Нам ужасно хотелось кому-то представиться. Получить руководящие указания. Расписаться в нашей абсолютной благонадежности.

Не вышло. Пришлось выпускать газету, не дождавшись инструкций.

Мы получили банковскую ссуду — 12 тысяч долларов. Что явилось предметом немислимых слухов и домыслов. Говорили даже, что нас субсидирует КГБ.

Узнав об этом, я позвонил Меттеру. Меттер страшно обрадовался. Он сказал:

— Это замечательно, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи...

Газета стала реальностью. Ощущение чуда сменилось повседневными заботами. Мы не имели делового опыта. Ломились в открытые двери. Изобретали бесчисленные велосипеды. Безбожно коверкали английский язык.

Президент корпорации Меттер начинал деловые телефонные разговоры следующим образом:

— This is speak I, Boris Metter!

Мы знали — чтобы выжить, необходимо стать бизнесменами.

Америка — страна поистине неограниченных возможностей. Одна из них — возможность разориться, прогореть.

Мы углубились в джунгли американского бизнеса. Одновременно вырабатывалась нравственная позиция. Мы провозгласили:

«Новый американец» является демократической, свободной трибуной. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам...

Честно говоря, мы испытывали неудовлетворенность русской прессой в Америке.

Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой — для тех, чье мнение я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю?!

Как это непривычно — уважать чужое мнение. Как это глупо — дать высказаться оппоненту. Как это соблазнительно — быть единственным конфидентом истины. Оказалось, выбрать демократию недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию. Демократии нужно учиться.

Дома нам внушали единственно правильное учение. Дома был обком, который все знал. А тут?

Читатель — не малолетний ребенок. Он достоин самой разносторонней информации. Он достаточно умен, чтобы принимать самостоятельные решения.

Мы уехали, чтобы реализовать свои человеческие права. Право на

творчество. Право на собственное мнение. Право на материальный достаток. И в том числе — священное право быть неправым. Право на ошибку. Право на идейное заблуждение.

В Союзе тех, кто был «неправ», — убивали. Ссылали в лагеря. Выгоняли с работы. Единственно верное учение не терпело критики.

Сейчас мы в Америке. Так давайте же обмениваться мнениями. Давайте выслушаем заблуждающихся. И пусть они выслушают нас.

Я думаю, не стоит бить их по голове томом «Капитала». И тем более — многотомным «ГУЛагом». Давайте жить, как принято в цивилизованном обществе...

При этом мы должны избегать анархии и вседозволенности. Посудите сами.

Утихла борьба за коммунистические идеалы. Так, может, проживем без идеалов вообще? Отменим социалистическую законность и предадимся беззаконию? Покончим с коммунистической моралью, и да здравствует аморализм?!..

Порой нас спрашивают:

— Какого направления придерживается ваша газета? С кем боретесь? Кого ненавидит? Против кого выступает?

Так вот, мы не против, мы — за! За правду! За свободу! За человеческое достоинство! За мир и культуру! За духовные и нравственные поиски! За нашу многострадальную родину! За приютившую нас Америку! За независимый Израиль! За мужество и талант!..

Мы называем себя еврейской газетой. Честно говоря, я был против такой формулировки. Я считаю газету еврейской лишь настолько, насколько можно считать еврейской третью эмиграцию.

Мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество — великая русская культура. И потому мы — русская газета.

Мы живем в Америке. Благодарны этой стране. Чтим ее законы. И если понадобится, будем воевать за американскую демократию. И потому мы — американская газета.

Мы — третья эмиграция. И читает нас третья эмиграция. Нам близки ее проблемы. Понятны ее настроения. Доступны ее интересы. И потому мы — еврейская газета...

Мы освещали израильские события. Публиковали материалы на

темы еврейской истории. Отдавали должное таланту Башевиса Зингера и Меламуда.

Началось брожение в общественных кругах. Нас обвиняли в пренебрежении к России. В еврейском шовинизме. В корыстных попытках добиться расположения богатых еврейских организаций.

Старый друг позвонил мне из Франции. Он сказал:

— Говорят, ты записался в правоверные евреи. И даже сделал обрезание.

Я ответил:

— Володя! Я не стал правоверным евреем. И вовсе не делал обрезания. Я могу это доказать. Я не могу протянуть тебе свое доказательство через океан. Но я могу предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу.

Параллельно с еврейским шовинизмом нас обвиняли в юдофобии. Называли антисемитами, погромщиками и черносотенцами. Упомянув при этом Геббельса и Риббентропа...

Дома нас учили:

— Советское — значит отличное. Наши луга самые заливные. Наши морозы самые трескучие. Наша колбаса самая отдельная.

Сейчас мы в Америке. Так давайте же чуточку расслабимся. Давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками. Чтобы не получилось: «Еврейское — значит отличное!»

В нашей газете были помещены дискуссионные материалы о Солженицыне. Боже, какой начался шум. Нас обвиняли в пособничестве КГБ. В прокоммунистических настроениях. Чуть ли не в терроризме.

Исключительный художественный талант писателя — неоспорим. Идеи Солженицына, его духовные, нравственные, политические установки вызывают разноречивую критику.

Голос Солженицына звучит на весь мир. А значит, голоса его оппонентов тоже должны быть услышаны. Этому принципу следует наша газета.

Всякое большое явление обрастает суетной и мелочной накипью. Великого человека зачастую окружает невероятно посредственная клика. То и дело раздаются грозные вопли бездумных и угодливых клеветов Солженицына:

— Кто осмелился замахнуться на пророка?! Его особа священна! Его идеи вне критики!

Десятилетиями они молились Ленину. Теперь готовы крушить его монументы, ими самими воздвигнутые.

Мы устроены по-другому. Мы восхищаемся Солженицыным и потому будем критически осмысливать его работы.

Слишком ответственна функция политического реформатора. Слишком дорого нам будущее России!

Больше года выходит наша газета. Больше года я слышу:

— И чего вы смеетесь? Над чем потешаетесь? В Афганистане — трагедия. Академик Сахаров томится в Горьком. И вообще, мир на грани катастрофы...

Да, мир на грани катастрофы. И привели его к этой грани угрюмые люди. Угрюмые люди бесчинствуют в Афганистане. Угрюмые люди хватают заложников. И гордость России, академика Сахарова, мучают тоже угрюмые люди.

И потому мы будем смеяться. Над русофобами и антисемитами. Над воинствующими атеистами и религиозными кликушами. Над мягкотелыми голубями и твердолобыми ястребами.

А главное, заметьте, — над собой.

И хочется думать — пока мы способны шутить, мы останемся великим народом. Я говорю как о русских, так и о евреях...

Говорят, в эмиграции происходят бесконечные ссоры. Все согласны, что это — безумие. Все хотят мира и дружбы.

Но одни понимают мир как торжество единственного самого верного учения. А другие — как сосуществование и противоборство множества идей.

«Новый американец», повторяю, является трибуной для их свободного, корректного, доброжелательного выражения.

А теперь я хотел бы раскрыть один маленький секрет. Все, что я сейчас говорил, — опубликовано. И разумеется, в «Новом американце». Все до единого слова.

Мое выступление составлено из 26 цитат. С использованием 18 номеров газеты. Что свидетельствует о нашем, довольно-таки последовательном, отношении к затронутым вопросам...

Спасибо за внимание.

КР Я ЧАСТО СЛЫШУ...

Я часто слышу:

— Ну, хорошо, ты дал высказаться Соловьеву и Шрагину. Опубликовал статьи Ефимова, Федосеева, Бирмана и многих других. А что ты сам думаешь о будущем России? Об исторической роли диссидентства? Каковы твои религиозные, философские и политические убеждения?

Колонка редактора занимает полторы машинописных страницы. И этого вполне достаточно, чтобы высказаться на такие глобальные темы.

Что я и делаю от имени моих друзей, сотрудников нашей газеты.

Мы хотели бы видеть Россию правовым демократическим государством западного типа. Хотя сознаем, что желаемое будущее и реальное будущее в одинаковой мере непредсказуемы.

Настоящее России — трагично. В экономике, промышленности, сельском хозяйстве заметны черты агонии. Идеология скомпрометирована полностью.

Но, увы, тоталитарная система поразительно жизнестойка. Наделена беспримерным инстинктом самосохранения. Такой могучий организм способен агонизировать десятилетиями.

Мы восхищаемся стойкостью инакомыслящих, правозащитников, участников религиозного движения. Ибо величие человеческого духа представляет собой абсолютную ценность. Материальные результаты этой деятельности не поддаются вычислению. Поскольку лежат исключительно в сфере духа.

К сожалению, мы не религиозны. К сожалению — потому что вера облегчает жизнь. Наполняет ее светом истины. Примиряет с тягостной действительностью.

При этом мы вовсе не атеисты. Атеисты убеждены, что Бога нет. Они противостоят тому, что, по их же мнению, не существует. Что может быть нелепее?!

Мы не знаем, есть ли Бог. Мы, повторяю, не верующие и не атеисты. Таких людей называют агностиками.

В политике нам близки либерально-демократические установки.

В эстетике — широта и многоголосие Ренессанса.

В философии — стихийный гуманизм.

И последнее. Мы считаем альтернативой любви — не вражду. И даже — не равнодушие. А ложь.

Соответственно, альтернативой ненависти — правду.

Мне давно хотелось заявить об этом без повода.

КР ПОНАДОБИЛИСЬ МНЕ...

Понадобились мне новые ключи. Захожу в мастерскую. У прилавка — мужчина лет шестидесяти.

— Я — Кеннет Бауэрс, — представился он и включил станок.

Над его головой я увидел портрет длинноволосого старика.

— Ты его знаешь — кто это? — спросил мистер Бауэрс. — Мой де-душка — Альберт Эйнштейн!

Я выразил изумление.

— Вы — еврей? — говорю.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы.

Затем указал на старинную фотографию. Пожилой мужчина в очках склонился над книгой.

— Ты знаешь, кто это? — спросил мистер Бауэрс. — Великий ирландский писатель Джойс... Мой дядя!

— Значит, вы — ирландец? — сказал я.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы, — теперь взгляни сюда.

Он показал мне цветной фотоснимок. Чернокожий боксер облокотился на канаты ринга.

— Узнаешь? Это великий боксер Мохаммед Али. Мой племянник...

Признаться, я несколько оробел. Кеннет Бауэрс выглядел совершенно здоровым. Взгляд его был насмешлив и пронизателен.

— Значит, вы — мусульманин? — сказал я.

Надо же было что-то сказать.

— Я — американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы.

— Эти люди — ваши родственники?

— Да, — сказал он.

— Все эти люди — родственники?

— Безусловно, — сказал он.

— Люди всего мира? Всех национальностей? Всех эпох?

— Ты абсолютно прав, — сказал мистер Бауэрс, — ты умнее, чем я думал.

Он закончил работу и протянул мне ключи.

Я поблагодарил и расплатился.

Мистер Бауэрс с достоинством кивнул.

Уходя, я еще раз спросил:

— Все люди мира — родственники? Братья?

— Вне малейшего сомнения, — ответил Кеннет Бауэрс и добавил: — Будешь в нашем районе, занеси мне свою фотографию...

КР ЭМИГРАЦИЯ ИЗ СОЮЗА...

Эмиграция из Союза продолжается. Хоть и в замедленном темпе. Приезжают друзья и знакомые. Мы, разумеется, спрашиваем:

— Ну, как?

В ответ раздается:

— Хорошего мяса в Ленинграде не купить. За фруктами — очередь. Недавно мыло исчезло, зубная паста...

И так далее.

Смешанное чувство охватывает нас. Приятно сознавать, что тоталитарная машина дает перебои. Горько от мысли, что твоя страна голодает...

Западные государства объявили Союзу частичное хлебное эмбарго. Выражаясь человеческим языком — сократили продажу зерна. К этому их настоятельно призывали видные русские диссиденты: Солженицын, Марченко, Буковский.

Некоторым казалось, что это слишком жесткая мера. И рассуждали они примерно так:

— В политике можно и нужно использовать силу. Можно и нужно диктовать Советам жесткие условия. Тем более что они признают лишь силу и жесткость. Однако сокращать продажу хлеба — неблагоприятно. И призывая к этому — грешно. Разве можно, чтобы народ голодал?..

Наивные люди!

Они думают, что американский хлеб попадает на стол русскому человеку! Аргентинское мясо зашипит на его сковороде!

Какая глупость!

Народ голодает по вине собственного руководства. Экономика и сельское хозяйство безобразно запущены. Колоссальные средства расходуются на военные цели. Коммунистическая экспансия обходится Советам в миллиарды рублей.

Наряду с этим партийные функционеры живут отлично. Разъезжают в заграничных автомобилях. Возводят роскошные дачи. Нежатся под солнцем южных курортов.

Через распределители их снабжают всем необходимым.

Западный экспорт хлеба и мяса лишь укрепляет тоталитарную систему. Обогащает партийную верхушку. Освобождает новые средства для подготовки к войне.

Печально, что советские руководители и крупные американские торговцы временами действуют заодно.

Обидно, что призывы русских диссидентов заглушаются голосами сторонников разрядки.

Лишь перед единством демократии Союз будет вынужден отступить!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

главному редактору «Нового русского слова»

Уважаемый господин Седых!

Я прочитал вашу статью «Кому это нужно?» («НРС» от 28 апреля). Мне кажется, она знаменует новый этап Вашей публицистической деятельности. И потому заслуживает самого активного внимания.

Статья написана абсолютно чуждым Вам языком. Она напориста и агрессивна. Более того, в ней попадаются словечки из уголовно-милицейского жаргона. (Например — «вертухай», как Вы соизволили дружески меня поименовать.) И я искренне радуюсь этому как сторонник живого, незакрепощенного литературного языка.

Я оставляю без внимания попытки унижить меня, моих друзей и наш еженедельник. Отказываюсь реагировать на грубые передержки, фантастические домыслы и цитируемые вами сплетни. Не хочу разбираться, почему Вы извратили тему доклада Андрея Синявского. Зачем приписали Сагаловскому высказывания его героев. За что обидели доктора Проффера. Чем заслужил Ваше неуважение профессор Данлоп.

Я оставляю без последствий нанесенные мне оскорбления. Я к этому привык.

К этому меня приучили в стране, где хамство является нормой. Где за вежливым обращением чудится подвох. Где душевная мягкость воспринимается как слабоумие.

Кем только я не был в жизни! «Стилягой» и «жидовской мордой». «Агентом сионизма» и «фашиствующим молодчиком». «Моральным разложенцем» и «политическим диверсантом». Мало того, я, сын армянки и еврея, был размашисто заклеямен в печати как «эстонский националист» (!?!).

В результате я закалился и давно уже не требую церемонного отношения к себе. Что-то подобное я могу сказать и о нашей газете. Редактируемый мною еженедельник — не хризантема. Его можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли он растет. Мне кажется, ему это даже полезно.

Короче, быть резким — Ваше право старшего, или, если хотите, — право мэтра.

Таким образом, меня не унижает форма Ваших словоизъявлений. Меня интересует не форма, а суть.

Что так неожиданно вывело из равновесия умного, интеллигентного, пожилого господина? Что заставило его нарушить обет молчания? Что побудило его ругаться и топтать ногами, опускаясь до лагерной «фени»?

Чем мы так досадили Вам, господин Седых?

Я могу ответить на этот вопрос. Мы досадили Вам фактом нашего существования.

До семидесятого года в эмиграции царил относительный порядок. Отшумели прения и споры. Распределились должности и звания. Лавровые венки повисли на заслуженных шеях.

Затем накатила третья волна.

Как и всякая человеческая общность, мы — разнородны. Среди нас есть грешники и праведники. Светила математики и герои черного рынка. Скрипачи и наркоманы. Диссиденты и работники партаппарата. Бывшие заключенные и бывшие прокуроры. Евреи, православные, мусульмане и дзэн-буддисты.

При этом в нас много общего. Наш тоталитарный опыт. Болезненная чувствительность к демагогии. Идиосинкразия к пропаганде. Неверие в риторику.

И пороки у нас — общие. Нравственная и политическая дезориентация. Жизнестойкость, переходящая в агрессию. То и дело проявляющаяся неразборчивость в средствах.

В нас густо замешано хорошее и плохое. Как и в любой человеческой общности.

Мы не хуже и не лучше старых эмигрантов. Мы решаем те же проблемы. Нам присущи те же слабости. Те же комплексы чужестранцев и неофитов.

Мы так же болеем душой за нашу ужасную родину. Ненавидим и проклинаяем ее тиранов. Вспоминаем друзей, с которыми разлучены.

Мы не хуже и не лучше старых эмигрантов. Просто мы — другие.

Мы приехали в семидесятые годы. Нас радушно встретили. Помогли нам адаптироваться и выстоять. Приобщиться к ценностям замечательной страны. Нам удалось избежать многого, что пережили старые эмигранты. И мы благодарны всем, кто способствовал этому.

Мы вывезли из Союза не только палехские шкатулки. Не только кораллы и янтарные брошки. Не только пиджаки из кожзаменителя.

Мы вывезли свои дипломы и научные работы. Рукописи и партитуры. Картины и математические формулы.

А главное — мы вывезли неистребимый и здоровый дух российского еврейства.

Наши бизнесмены уверенно прокладывают себе дорогу в капиталистических лабиринтах. Наши художники экспонируются в лучших музеях Америки. Наши интеллектуалы заняли кафедры в лучших университетах страны.

Мы начали создавать газеты и журналы. Телевизионные студии и финские бани. Рестораны и симфонические оркестры.

Мы ненавидим бесплодное идеологическое столоверчение. Нас смещат инфантильные проекты реорганизации тоталитарного общества. Мы поняли одну чрезвычайно существенную вещь. Советская власть — не форма правления. Советская власть — есть образ жизни многомиллионного государства. А следовательно, она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях. В наших симпатиях и антипатиях. В нашем сознании и в нашей душе.

А значит, главное для нас — победить себя. Победить в себе — раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста.

Вы пишете:

«Есть только один враг — коммунизм...»

Это неправда. Коммунизм не единственный враг. Есть у нас враги и помимо обветшалой коммунистической доктрины. Это — наша глупость и наше безбожие. Наше себялюбие и фарисейство. Нетерпимость и ложь. Своекорыстие и продажность...

Когда Бродского спросили:

— Над чем вы работаете?

Поэт ответил:

— Над собой...

В Лос-Анджелесе должна состояться представительная научная конференция. Тема ее: «Русская литература в эмиграции. Третья волна».

Организаторы конференции проделали нелегкую работу. Изыскали значительные средства. Обеспечили высокий уровень дискуссий. Короче, все шло нормально.

Что же Вас так обидело и рассердило? Приглашение запоздало? Такие недоразумения случаются. Не забронировали места в особой ложе? В демократической стране это не принято.

Какие могут быть обиды? Умные родители не посещают школьных вечеринок. Умные школьники тоскуют на родительских юбилеях.

Это нормально.

Вам ненавистен Лимонов с его шокирующей прозой? Я Вас отлично понимаю. Проза Лимонова заслуживает самой резкой критики. Так критикуйте! Напишите хорошую аргументированную статью. Развенчайте его эстетическую и нравственную программу!

Вооружитесь пером, а не директивой.

Вы же писатель, а не генерал...

Вы пишете — Максимов отказывается ехать на конференцию.

Очень жаль. Владимир Максимов — талантливый, сильный, искренний человек. При этом — чудовищно нетерпимый и деспотичный.

Открытая дискуссия с Александром Зиновьевым не предвещает ему триумфа. Полемика с Абрамом Терцем и вовсе гиблое дело.

Максимов (как и вы) предпочитает либо не замечать своих оппонентов, либо унижать их.

Тем не менее конференция состоится. И пройдет на самом высоком уровне. Ловко устраивает свои делишки третья эмиграция...

Вы пишете:

«Газета («НРС») стремилась к объединению всех эмигрантов без деления их на пронумерованные волны...»

А кто же написал знаменитые статьи? Три штуки. По числу эмигрантских волн. С упоминанием всех блистательных имен первой эмиграции. Некоторых блистательных имен второй эмиграции. И

с полным забвением некрасивых еврейских фамилий третьей эмиграции.

Эти статьи написали Вы. И правильно сделали, что написали. Как написали — это уже другой вопрос.

Люди делятся по самым различным признакам. Что не мешает им оставаться людьми. Неделимо только стадо баранов...

Вы обрушиваетесь на дерзкий, самостоятельный, формирующийся еженедельник. Обвиняете его в смертных грехах.

Что произошло? Чем мы Вас травмировали?

И вновь я отвечу — фактом нашего существования.

Была одна газета — «Новое русское слово». Властительница дум. Законодательница мод и вкусов. Единственная трибуна. Единственный рупор общественного мнения.

В этой газете можно было прочесть любопытные вещи. Что Солженицын не знает русского языка. Что Россия твердо стоит на пути христианского возрождения. Что Леонид Ржевский выше Набокова.

И все кивали.

Затем появился еженедельник «Новый американец». Заговорил своим языком. (Правда, с легким еврейским акцентом.) На свои темы. В своей оптимистической манере.

И началась паника в старейшей русской газете.

Да как они смеют?! Да кто им позволил?! Да на что они рассчитывают?! (А мы-то, грешным делом, рассчитывали именно на Вас.)

Вы утверждали, господин Седых:

— Прогорите! Лопнете! Наделаете долгов!

Вы многого не учли. Не учли жизнестойкости третьей эмигрантской волны. Меры нашего энтузиазма. Готовности к самопожертвованию. Преимуществ демократического устройства.

Не учли даже обстановки в собственной редакции. Трое ведущих сотрудников «НРС» решили уволиться. Лишиться теплых мест. Лишиться стабильных зарплат. И ринуться в новое, опасное плавание.

Знаете, что они мне сказали?

— Мы готовы перейти в «Новый американец». Мы хотим работать с тобой...

Поверьте, это был самый волнующий день моей эмигрантской жизни...

Появился еженедельник. Монополия была нарушена. Возникли новые точки зрения. Новые оценки. Новые кумиры.

И Вы, господин Седых, забили тревогу. Вы отказались поместить нашу рекламу. Запретили своим авторам печататься у нас. Стали обрабатывать наших партнеров и заказчиков.

Теперь Вы хитроумно объявляете себя жертвой политической критики. А нас — советскими патриотами и функционерами КГБ.

Это — уловка. Политическая репутация «НРС» — безупречна. Мы не подвергали Вашу газету идейной критике.

Мы вообще не критиковали общую позицию «НРС». Мы критиковали недостатки газеты. Ее неуклюжий и претенциозный язык. Консервативность в оформлении. Ее прекраснодушие и бесконфликтность. Тусклую атмосферу исторических публикаций.

Мы признаем заслуги Вашей газеты. Мы также признаем Ваши личные заслуги, господин Седых. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты. И требовать от администрации честного делового поведения в рамках федеральных законов.

Вы озаглавили статью «Кому это нужно?». По всей статье рассыпаны таинственные намеки. Упоминаются какие-то загадочные инстанции. Какие-то зловещие силы. Какие-то непонятные органы и учреждения.

Дома бытовало всеобъемлющее ругательство — «еврей». Что не так — евреи виноваты.

Здесь — «агенты КГБ». Все плохое — дело рук госбезопасности. Происки товарища Андропова.

Пожар случился — КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло — под нажимом КГБ. Жена сбежала — не иначе как Андропов ее охмурил. Холода наступили — знаем, откуда ветер дует.

Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупы и бездарны — Андропов ни при чем. У него своих грехов хватает.

А у нас — своих.

Так зачем же нагнетать мистику? Зачем объяснять свои глупости и неудачи происками доблестных чекистов?! Зачем в благодатной Америке корчить из себя узников Лубянки?!

Это неприлично и смешно.

КГБ здесь поставлено вне закона. Пособничество КГБ — есть судебно наказуемое деяние. Голословное обвинение в пособничестве КГБ — также является наказуемым деянием. А именно — клеветой.

Надеюсь, с этим покончено....

Вы пытались удушить «Новый американец» самыми разными методами. Так, например, Вы запугивали авторов. Требовали от них безоговорочного послушания.

К чему это привело? Наиболее одаренных литераторов и журналистов возмутило такое давление. Они публикуются в «Новом американце». Хотя мы еще не платим гонораров.

(Кстати, в сентябре начнем платить...)

Вы отказывались публиковать нашу рекламу. Мы были чрезвычайно заинтересованы в ней. Однако трагедии не произошло.

Нас знают. Нас читают по всей русскоязычной Америке. Наши подписчики живут в Израиле, Европе, на Гавайях.

О нас писали три крупнейшие американские газеты. Десятки наших материалов транслировались радиостанцией «Голос Америки». Многочисленные кафедры славистики используют наш еженедельник в учебных целях.

Значит, и эта карательная мера провалилась. Мы сумели обойтись без Вас.

Вы использовали еще одно удушающее средство — заговор молчания. Вы чванливо игнорировали «Новый американец». Притворились, что его не существует. Симулировали полную амнезию.

Вы пошли дальше этого. Вами был объявлен сбор в пользу Игоря Шахниса. Мы решили принять участие в этом благородном деле. Послали Вам чек.

И что же? Вы отказались упомянуть нас даже в этом печальном списке.

В трагической ситуации Вы оставались хладнокровным и расчетливым бизнесменом.

Простите, что называю вещи своими именами. Правда не всегда доставляет радость тем, кто старается ее избежать.

Заговор молчания продолжался больше года. Сейчас он нарушен. Великий немой заговорил.

Правда, он заговорил крикливым, истерическим голосом. С неясными, витиеватыми формулировками:

«...так называемый еженедельник...», «...некий обиженный господин...», «двое с бутылкой...». И так далее.

И все-таки заговор нарушен. Я считаю, что это — победа американской демократии. Авторитарная позиция здесь — нежизнеспособна. Рано или поздно демократические формы торжествуют.

Я надеюсь, разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших эмигрантских проблемах.

Мы готовы к этому разговору. Готовы ли к нему Вы, Андрей Седых?

Докажите на практике, что Вы — за объединение трех эмиграций. Засвидетельствуйте это не словами, а делом.

К этому обязывает Ваша репутация.

Самое интересное, что мы действительно Вас уважаем. Перечитываем Ваши рассказы и очерки. Не забываем о том, что именно Вы помогли Бунину в трудной для него ситуации.

Нам досадно, что большой писатель и журналист оказался во власти унижающих его эмоций.

К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать, вычеркивая отдельные строки.

Исправить опечатки невозможно.

Неизменно готовый к сотрудничеству, уважающий Вас

Сергей ДОВЛАТОВ

P. S. Когда газета уже была сверстана, я раскрыл «НРС» от 2 мая. Среди других материалов обнаружил комплект читательских писем главному редактору. Это были отклики на статью «Кому это нужно». Если не ошибаюсь — пять штук. Четыре — в поддержку А. Седых и одно — в нашу защиту.

Я не поверил собственным глазам. Свершилось нечто беспрецедентное. «НРС» поместило критику в собственный адрес.

О торжестве демократических принципов говорить рановато. Однако первая ласточка взмахнула неокрепшими крыльями. Вот они — результаты честной и свободной конкуренции.

Мы благодарим Андрея Седых за объективность. (В пропорции — один к четырем.) Мы надеемся, что эта тенденция будет развиваться.

Жаль только, что и здесь сказались деловые, коммерческие принципы главного редактора «НРС». Из читательских писем было аккуратно вычеркнуто название злополучного еженедельника. Лишь бы не упоминать «Новый американец»! Лишь бы не давать ему косвенной рекламы!

Вместо «Новый американец» — «Одна еврейская газета».

Вместо «еврей» — «лицо еврейской национальности».

А читатели — пусть голову ломают. Интересы читателя — на втором месте.

Что ж, второе место — это тоже почетно. Это уже неплохо...

«Новый американец», № 65, 10—16 мая 1981 г.

КР ЗВОНЯТ НАШИ ДРУЗЬЯ ИЗ БРУКЛИНА...

Звонят наши друзья из Бруклина:

«Вы действуете неправильно! Вы обращаетесь за помощью к читателям! В Америке это не принято. Здесь любят и уважают победителей. Ценят благородство и силу...»

Мне вспоминаются советские газеты. Их бьющий через край оптимизм. Их утомительное бахвальство. Лживая статистика. Дутые цифры...

«Мы — самые лучшие! Самые богатые! Самые гуманные! Самые передовые!...»

Все знают цену этой болтовне...

Мы начали издавать газету в трудных условиях. С весьма ограниченным начальным капиталом. Без американского делового опыта. В незнакомой — языковой, духовной и политической среде...

Нас считали безумцами, авантюристами. Однако в наших действиях был совершенно трезвый, практический расчет.

На что же мы рассчитывали? На помощь русских читателей. На бескорыстные коллег-журналистов. На собственный профессиональный опыт. На благородное содействие американских друзей...

«Доброжелатели» уверенно пророчили газете неминуемый крах. Андрей Седых давал нам три месяца. Те, что поглупее, ограничивались неделями...

Но мы существуем. Число подписчиков быстро растет. Оно перевалило за две тысячи. Розничная продажа нормализуется. Все меньше поступает редакция нареканий от читателей.

Мы приобретаем собственное оборудование. Вводим компьютерные устройства.

Газета продается в четырнадцать странах. Качество ее, по словам читателей, улучшается.

В редакции нет чинов и званий. Журналисты Меттер и Орлов развозят газеты по киоскам. Политический обозреватель Гальперин составляет телепрограммы. Литературные критики Вайль и Генис заняты техническим оформлением. Главный редактор читает корректуру.

Наши дети — частые гости в редакции. Им тоже находится дело. Допустим, Юра Федоров — большой специалист по наклеиванию марок...

Все мы работаем бесплатно. Ограничив до минимума свои личные потребности.

Мы говорим читателю всю правду. Прислушиваемся к его суждениям. Благодарим его за помощь и за критику. За самую нелицеприятную критику.

Даже очень резкое письмо господина Стельмаха меня обрадовало. В нем есть знаменательная строчка:

«...Редактору ТАКОЙ НУЖНОЙ ГАЗЕТЫ это непростительно!..»

Господин Стельмах! Раз вы считаете газету — нужной, мы еще будем друзьями!

«Новый американец», № 37, 22—28 октября 1980 г.

КР ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ...

Завершается предвыборная кампания. Рейган или Картер? Кто из них станет президентом?

Шансы у обоих равные. И достоинства у каждого — внушительные.

Картер — набожен, честен, сострадателен. Рейган — тверд, принципиален, бережлив.

При этом Картер — сентиментален и робок. А Рейган — безрассуден и грубоват.

Картера обвиняют в попустительстве собственному брату.

Рейгана высмеивают за то, что он был голливудским актером.

За кого же голосовать русскому эмигранту? Кого из этих замечательных людей — предпочесть?

Вопрос очень сложный...

В Союзе нам тоже приходилось обсуждать личные качества государственных деятелей:

— Кто избрал лагерь уничтожения? Ленин или Сталин?

— Повинен ли Хрущев в истреблении миллионов украинских коммунистов? Или гуманно ограничился сотнями тысяч?

— Кто приказал захватить независимую Чехословакию? Брежнев или Косыгин?

— Кто симпатичнее — людоед или вурдалак? Грабитель или разбойник?

— И вообще, что лучше? По локоть в крови или по горло?..

Это было раньше. А теперь вот голову ломаем — Рейган или Картер?

Из двух зол принято выбирать меньшее. А из двух благ?

Рейган или Картер? Оба — люди достойные и порядочные. Образованные и корректные. Умные и привлекательные.

Оба — на виду у рядовых американцев. Оба действуют в атмосфере полной гласности. Оба — подотчетны. Оба — безусловно представляют интересы нации.

Короче — оба хороши. Конфликт прекрасного с еще более замечательным.

Кого же предпочтут новые американцы? Я думаю — Рейгана. Позиция силы импонирует бывшим узникам тоталитаризма.

При этом вряд ли наши голоса окажутся решающими. Новых русских эмигрантов, получивших гражданство, — около тысячи. Что составляет процентов этак — 0,0005.

Да, русские эмигранты не могут повлиять на ход избирательной кампании. И тем более — на результаты выборов. Зато результаты выборов могут повлиять на эмигрантов.

Вот почему мы снова и снова задумываемся: Рейган или Картер?

Кто из них будет президентом США? За кого проголосует большинство?

Не знаю. Лично я уже сейчас голосую за Америку!

«Новый американец», № 38, 29 октября — 4 ноября 1980 г.

КР ОДНАЖДЫ МЫ ЕХАЛИ В САБВЕЕ...

Однажды мы ехали в сабвее. Я был с женой и дочкой. Сижу, читаю газету.

На остановке ворвались молодые люди. А может, перешли из другого вагона. Человек пять. Один с гитарой, у другого — транзистор... Куртки, сникерсы...

Это были нехорошие, дурно воспитанные молодые люди. Они шумели, толкались, вероятно, — сквернословили. Они, как говорится, нарушали...

Публика вела себя не лучшим образом.

Один газету читает. Другой в окошко загляделся. (Благо за окном сплошная тьма.) И так далее.

В Союзе я бы знал, как поступить. Я бы подошел к этим молодым людям и сказал:

— Заткнитесь!

И добавил бы:

— Вон отсюда!

А если надо, треснул бы кого-то по затылку...

А тут я испугался. Языка толком не знаю. Порядков не знаю. Скажут что-то — не пойму. То ли извиняются, то ли дальше оскорбляют. А вдруг — стрелять начнут? Может, у каждого — по нагану? Или — бритвой по физиономии...

Советский хулиган — он родной и понятный. Он если бьет, то монтировкой. Или трубой. Или доской от забора. Или пивной кружкой. Или вилкой, на худой конец. То есть — знакомыми, полезными вещами.

А у этого что на уме?..

Короче, сижу, читаю газету. А молодые люди продолжают нарушать. Старуху толкнули. Из горлышка выпили. Транзистор завели на полную мощность. В общем — ничего хорошего...

Читаю газету.

Вдруг поднялся мужчина средних лет. Американец. Худой такой. И ниже меня ростом. Подошел к хулиганам и говорит:

— Заткнитесь!

И затем:

— Вон отсюда.

Чувствовалось, если надо, он может кого-то и по затылку треснуть.

И молодые люди заткнулись. И на остановке — вышли.

А мужчина сел и задремал.

К чему я все это рассказываю? А вот к чему. Я знал все английские слова, которые он произнес. И сам все это мог произнести без акцента.

Однако — не произнес. Я газету читал.

Как вы сейчас...

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

«...Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимали все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну... Он хотел в игрецких домах Парижа выудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот...»

А. С. Пушкин, «Пиковая дама»

Каким только страстям не предавался я в беспечной и отчасти загубленной жизни! Был авиамоделистом и фехтовальщиком. Две недели коллекционировал марки. Около года писал чудовищные лирические стихи.

Более того, я пел в университетском хоре. Пока меня не выгнали с третьего курса. Выгнали, как я догадываюсь, не за хоровое пение, а за сольное. Говорят, я пел идейно чуждым баритоном...

Безграничная тяга к хорошему — страсть.

Безграничная тяга к дурному — порок.

Увы, в моей жизни хватало и того и другого. Обо всем не расскажешь...

Лишь одной человеческой слабости был я всегда и решительно чужд. Вплоть до минувшей субботы.

Я говорю об азартных играх...

— Ну, вот, — слышатся мне раздраженные, требовательные голоса. — И чего это он все пишет?! Про дочку написал. Про собаку написал. Даже про тараканов умудрился написать. Того и гляди, за микробов возьмется...

(Кстати, был такой ученый господин — Луи Пастер. Занимался исключительно микробами. И дали ему за это Нобелевскую премию.)

В советском литературоведении бытует грозное понятие — мелкотемье. Мелкотемьем грешили Булгаков и Зощенко, Ахматова и Пастернак.

Рядом грохотали канонады с пятилетками. Возводились днепрогэсы с метростроями. А Булгаков писал неизвестно о чем. Я уж не говорю про Зощенко...

Но вернемся к азартным играм. Тема, конечно, мелкая и не оригинальная. И что это ее так упорно затрагивали наши классики — Пушкин, Лермонтов, Достоевский? Не посоветовавшись с техническим интеллигентом Матлиным¹.

Но вернемся к азартным играм. Предварим наши заметки коротким историческим вступлением.

Шальные деньги

Это были послевоенные годы. Наш огромный, старинный, запущенный двор играл в пристенок. По асфальту катились заскорузлые гривенники и медяки. Нужно было растопыренной пятерней коснуться соседних монет. Дотянешься — значит, ты выиграл...

Кроме пристенка играли в битку. В качестве бит использовались пряжки от солдатских ремней. Иногда — тяжелые старинные монеты. Чаще — литые свинцовые или оловянные болванки.

Игра шла скромная, на мелочь. Увлекались ею подростки.

Люди солидные коротали время на пустыре. Инвалиды резались в козла. Костяшки домино с оглушительным треском падали на фанерный лист. Неписаная эстетика игры требовала размашистых движений, выкриков, а главное — чудовищной матерщины.

Помню, отставной моряк дядя Леня высоко заносил уцелевшую руку, сжимающую черный костяной гробик:

— За нашу великую родину! За лично товарища Сталина! Из всех наземных орудий — дуллет!!!

Стук домино напоминал артиллерийские залпы. На фанерном листе подскакивали медяки.

Инвалиды часто ссорились. Хватали отброшенные в сторону костыли. Начиналась драка. Как-то раз отставного моряка дядю Леню увезли с проломленным черепом...

¹ Александр Матлин (Нью-Джерси) — инженер. Автор талантливых рассказов и фельетонов. Принципиальный и боевитый враг мелкотемья.

Шли годы. Наш двор заметно преобразался. Пионеры украсили его саженцами. На месте пустыря зазеленел Щербаковский сквер.

Домино и пристенок уступил место более культурному развлечению. Всеобщей болезнью сделался «шмен».

Суть игры такова. На бумажных дензнаках указаны цифры. Вы не глядя загадываете три из шести. Остальные достаются партнеру. Затем подсчитывается сумма этих цифр. Тому, чья сумма больше, достается вожделенная купюра.

Кстати, на американских дензнаках — восемь цифр. Не шесть, а восемь. Плюс к тому — два буквенных индекса. О чем это говорит? Я думаю, все очень просто. Просто в Америке гораздо больше денег. Денег как таковых...

Все-таки шмен был уличной, плебейской игрой. Более приличные люди играли в карты. Среди торговых работников, например, излюбленной формой досуга был преферанс. Там фигурировали гораздо более внушительные суммы. Иногда назывались пятизначные, шестизначные цифры.

Преферанс требовал скрупулезного расчета, хитрости, умения блефовать. Большинство советских торговых работников в избытке наделены этими качествами. Недаром многие из них оказываются в лагерях. Кстати, игра продолжается даже за решеткой.

В лагерях распространены самодельные бумажные карты. Играют заключенные на сахар, хлеб, повидло. Иногда — в лагерях особого режима — «на мизинчик». То есть проигравший отрубает себе мизинец. Или ухо. Или... Но об этом лучше промолчу. Все равно не поверят...

Вернемся к гражданскому населению.

В среде технической интеллигенции широко распространился бридж. Эта игра во многом напоминает шахматы. Например, разнообразием комбинаций, богатством технических ходов, позиционным изяществом. Многие рассматривают бридж как интеллектуальный вид спорта. Говорят, в Китае регулярно проводятся чемпионаты по бриджу.

Нечто подобное было и в Ленинграде. Изредка проводились неофициальные соревнования. Несколько пар завязых ленинградских бриджистов добились междугородных успехов. Например, литератор Ефимов и его друг технолог Подгурский.

Эта пара выиграла несколько матчей в Таллине. Относительно либеральная Эстония была избрана местом встреч не случайно. Бриджисты добились здесь чуть ли не официального признания. Игры шли в закрытом по этому случаю кафе. Объявлений в газетах, разумеется, не было...

Здесь же, в Эстонии, немалым успехом пользуется тотализатор или — лошадиные бега. Единственная узаконенная в Союзе форма азартной игры.

Таллинский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны. Земля усеяна обрывками использованных билетов. Возбужденная крикливая толпа циркулирует от бара к перилам.

Ипподром — единственное место, где торгуют в разлив дешевым портвейном...

Самим наездникам играть запрещено. Они действуют через подставных лиц. Берут программу завтрашних скачек и размечают ее для клиента. Указывают трех вероятных победителей каждого заезда. А клиент, согласно указаниям, покупает билеты на их долю тоже.

Таким образом, честно выиграть на ипподроме почти невозможно...

Был знакомый наездник и у меня. Как-то раз я спросил его:

— Толя, неужели все подстроено? Неужели все эти бега — сплошная липа?

Мой друг усмехнулся:

— Знаешь, для кого я размечаю программы?

Затем Толя назвал фамилии — видного художника, известного оперного баритона и двух крупных партийных функционеров.

Я удивился:

— Зачем им это нужно? Ведь у них — оклады, персональные дачи, распределители?

Толя снова усмехнулся и пояснил:

— Партия — сегодня мать родная, а завтра, глядишь, на улицу вышвырнет. Как, например, товарища Хрущева... Лошади куда надежнее...

А теперь вернемся к минувшей субботе.

Как стать миллионером

Рано утром мне позвонил сосед и друг. Назову его вымышленным именем — Рафаил. А жену его — Ларисой. Настоящие имена они просили скрыть. Они боятся, что все узнают, какие мы дураки. Однако не стоит забегать вперед...

Сосед мне позвонил и говорит:

— Тебе деньги нужны?

— Да, — ответил я уверенно и просто.

— Тогда поехали в Атлантик-Сити. Это маленький Лас-Вегас — сплошные казино. Три часа езды от Нью-Йорка. Выиграем кучу денег и назад. У тебя есть сбережения?

— У меня есть сто долларов. Я отложил их на черный день.

— У тебя всего сто долларов?! Значит, черный день уже наступил.

Собирайся.

— А если мы проиграем?

— Что значит — проиграем?! — возмутился Рафаил. — Проиграть ты можешь всего сто долларов. А выиграть — сто тысяч! Тысяча процентов чистого дохода. Прямой смысл — ехать. Через пять минут я буду у тебя...

Мы выехали около десяти часов утра. Всю дорогу обсуждали грядущие барыши.

— Я хочу выиграть тысячу шестьсот пятьдесят долларов, — сказала Лариса, — и купить шубу на Мэдисон-авеню.

— Это не деньги, — возмутился Рафаил. — Это какие-то жалкие гроши. Ради этого глупо ехать в такую даль. Бензин стоит дороже... Лично я собираюсь выиграть миллион, чтобы жить на проценты. Бросить эту гнусную работу и жить на проценты с капитала...

— А я, — сказала моя жена, — хочу выиграть долларов пятьдесят. Я куплю себе фен и новую тележку для супермаркета...

Мой сосед от негодования выпустил руль. Машина задела кирпичную стену тоннеля, но быстро выровнялась.

— Какое убожество! — воскликнул Рафаил. — Такие мысли недостойны Атлантик-Сити. С такими мыслями надо ехать в Чебоксары...

— А я, — говорю, — хотел бы выиграть именно сто тысяч, которые

мне обещал Рафаил. Я бы издавал еженедельную газету. Не беспокоился о завтрашнем дне. И платил бы гонорары талантливым авторам. Например — Сагаловскому. Он два года печатается бесплатно...

— Или Довлатову, — разумно высказалась моя жена...

— Сто тысяч — это уже нечто, — произнес Рафаил. — Но вообще, чем больше, тем лучше!

Мы замолчали, давая понять, что находим это соображение ценным.

Рафаил прибавил скорость. Мы летели навстречу ослепительным горизонтам фортуны.

Дорога ознаменовалась единственным сильным впечатлением. Я увидел военный грузовик, набитый солдатами. Это были первые военнослужащие, которых я заметил на американском континенте. Значит, армия все-таки существует. Вздохнув с облегчением, мы поехали дальше.

Контурь маленького Лас-Вегаса нас, признаться, слегка разочаровали. Два-три небоскреба и все. Два-три переростка на фоне одноэтажных строений. И еще — купол с очертаниями перевернутого бельевого таза.

— Какой-то жалкий хуторок, — недовольно высказался Рафаил.

Мы подъехали ближе. Миновали унылые ряды стандартных домов. И вдруг перед нами блеснула серебристая гладь океана. Как сказал бы Моргулис:

«Волны скалили белые зубы прибоья!..»

Как и в любом приморском городе, центральной магистралью Атлантик-Сити является набережная. Все улицы заканчиваются пляжем. Так что можно бродить, бродить, да и выкупаться...

Широкая набережная с деревянными тротуарами была заполнена людьми. Она тянулась вдоль берега километра на три. По одну сторону — вода. А по другую — сплошные казино, отели, рестораны, экзотические магазины, бары. И так далее.

Самоубийцам тут раздолье. Через дорогу — океан. Проигрался и бутлых!..

Запарковав машину, Рафа обратился к чернокожему подростку. Стал расспрашивать о порядках в казино. Например, можно ли туда являться в джинсах.

— До шести вечера — можно, — ответил подросток. — А после шести нужен смокинг. И дамам — вечерние платья.

— Отлично, — сказал Рафаил. — До шести мы выиграем большие деньги. Купим вечерние платья и два смокинга.

— Мне бы фиолетовое, — сказала Лариса.

— А я хочу бордовое, — прошептала моя жена.

— Ноу проблем, — отчеканил Рафа.

И мы отправились в казино. Нас привлекла сияющая вывеска «У Цезаря». Группами заходили сюда нарядные мужчины и женщины. Швейцар попросил нас спрятать фотоаппараты. Он пояснил:

— Многие ходят сюда тайком от жен и от начальства. Им не хотелось бы случайно оказаться в кадре...

Рафа компетентно добавил:

— Казино по значности стоит между ночным рестораном и борделем. Монахов и советских туристов здесь не встретишь... Пошли!..

Это был громадный, размером с Дворцовую площадь, утопающий во мраке зал. Нескончаемыми рядами вытянулись поблескивавшие хромом агрегаты. По углам медленно вращались исписанные фантастическими цифрами колеса. Британскими лужайками зеленели усыпанные картами столы. Все это скрипело, шуршало, мелодично позвякивало. То и дело загорались разноцветные лампы. Вспыхивали семизначные неоновые цифры. Казалось, играет невидимый, тихий, бесконечно вульгарный духовой оркестр...

Монахиню я увидел почти немедленно. Это была пожилая чернокожая кармелитка с анодированным распятием на груди. Монахиня опускала в щель агрегата квотер за квотером, энергично дергая рычаг. Затем раздавалось какое-то медное гудение. Из агрегата посыпались монеты. Кармелитка выиграла шестнадцать долларов. Издав при этом громогласный, сугубо материалистический вопль.

Советских туристов я, действительно, не встретил. Видимо, они поехали на Дилэнси за синтетическими шубами...

— Будем держаться порознь, — заявил Рафа, — фортуна требует к себе интимного отношения. Но сначала разменяем деньги. Где твои сто долларов?

Я протянул ему деньги. Мы подошли к специальному окошечку. Мне были вручены три увесистые колбаски. Это были жетоны разного достоинства. Доллары, полтинники и квотеры.

Я честно поделился ими с женой. Рафа выделил Ларисе два квотера и полтинник.

Мы разошлись по углам.

Я ждал, пока освободится слот-машина. Хотелось начать с этого простейшего устройства.

Опускаешь жетон. Нажимаешь рычаг. На специальном экране вращаются картинки — ягоды, орехи, помидоры. Картинки образуют все возможные сочетания. Некоторые из этих сочетаний — выигрышные. Выигрыш может быть двойным, тройным, десятикратным. В редчайших случаях можно получить тысячи жетонов — за один. И даже больше.

Я решил начать с простого. А дальше уже можно будет попытаться счастья в рулетку. Освоив загадочные колеса и другие механизмы фортуны.

Ждать пришлось минуты две. Я распечатал пакетик с жетонами. Опустил первый квотер. Машина равнодушно его проглотила. Я опустил второй. С таким же результатом. Я опустил подряд еще четыре квотера. Никакого эффекта.

Я, как рыбак, поплевал на следующий квотер и опустил его...

Машина без затруднений глотала стальные пилюли. Видимо, желудок у нее работал превосходно.

Я тихо помолился всем знакомым богам и опустил следующие шесть квотеров. Агрегат победно зарокотал и выплюнул — два.

Я воодушевился. Значит, намечается перелом.

Далее — шестнадцать четвертаков последовательно и бесследно исчезли в трубе ненасытного зверя...

Мне захотелось посмотреть, что делает Рафаил. Я отыскал его в толпе. Возбужденно и почти неистово дергал он рычаг слот-машины. Иногда пинал ее ногой. При этом он что-то говорил и даже напевал. В его действиях ощущался заметный привкус безумия, фанатизма и той необыкновенной целеустремленности, которая отличает религиозных мыслителей восточной школы.

— Рафа, — говорю, — я проиграл восемнадцать долларов.

— Это нормально, — откликнулся Рафаил и добавил:

— Фортуна — не уличная девка. Ее за червонец не купишь! Фортуна — женщина тургеневского склада. Она долго колеблется, присматривается, выжидает. Ей нужны гарантии подлинных чувств. Но зато — потом... Это тысячи и одна ночь!..

— Как твои дела? — спрашиваю.

— У меня осталось шесть долларовых жетонов.

— Кошмар, — говорю.

— Ничего подобного. Это хорошо, что мы сейчас проигрываем. Зато потом начнем выигрывать. Хуже, если бы все шло наоборот. Сначала выигрываешь жалкие четыреста долларов, а затем проигрываешь и конец! И возвращаешься домой без копейки...

— Когда же мы начнем выигрывать?

— Через шесть с половиной минут, — загадочно ответил Рафа.

Видимо, он заметил где-то соответствующий знак.

Рафа при мне затолкал в щель оставшиеся жетоны, машина безмолвствовала. Мне показалось, что она злорадно ухмыляется. И даже подмигивает...

— Одолжи мне половину своих жетонов, — требовательно высказался Рафаил.

— М-м, — сказал я.

— Не будь таким мелочным, — прикрикнул он и добавил: — Нам предстоит выиграть колоссальные деньги! А ты сэкономишь ничтожные двадцать жетонов...

Мы поделили жетоны и направились к свободным автоматам. Я раза три выигрывал по шесть монет. Один раз выскочило двадцать. Я опускал жетоны снова и снова. И вдруг они кончились.

Я оглянулся и заметил Рафу.

— Игра только начинается, — возбужденно крикнул он, — у тебя есть деньги?

— Ты задавал мне этот вопрос рано утром. У меня было сто долларов. Теперь их нет...

— Отлично, — сказал Рафаил, — посмотрим, что делают наши жены.

Мы отправились на розыски.

По дороге нам встречались разнообразные типы. Мы увидели пожилого мужчину, который непрерывно хохотал. Он непрерывно хохотал и неизменно выигрывал. Его карманы заметно оттопыривались. Пол вокруг него был усыпан долларовыми жетонами. Щеки мужчины казались подозрительно округлыми.

Последовал новый взрыв хохота. Изо рта у счастливца выпал металлический доллар. Еще один выкатился из его левой штанины...

Затем мы увидели женщину, которая рыдала. На ее шее тускло поблескивало жемчужное кольцо. Руки были унизаны кольцами.

— Капризы миллионерши, — сказал Рафа.

Затем мы увидели наших жен. Их лица были печальны.

— Я опустила все три жетона, — сказала Лариса, — на третий раз выскочила бельевая пуговица. И все...

— Пуговица — это чудесно! — воскликнул Рафа. — Это знак фортуны! Игра только начинается...

— Но у меня кончились деньги, — сказала Лариса.

— И у меня, — сказал я.

— И даже у меня, — признался Рафа.

Моя жена красноречиво промолчала.

— Деньги — прах! — сказал Рафа.

— Особенно те, которых нет, — желчно добавил я...

— Придется ехать домой, — сказал Рафаил. — Отношения с фортуной несколько запутываются. Я думаю, нам повезет в следующий раз. Только надо захватить побольше денег. А главное — береги пуговицу, — напомнил он жене...

Мы ехали в сгущавшихся сумерках. Машину обгоняли наполненные светом автобусы. Бесчисленные разноцветные огни мелькали на горизонте. Временами слышался приглушенный звон жетонов и гудение игральных механизмов...

Я ехал и думал. Отчего у меня хорошее настроение? Отчего я не угнетен, не разочарован и не подавлен? Отчего мне не жаль потерянного времени?

И почему я даже не возненавидел Рафу?..

Может быть, потому, что я свободен? И потому, что, как ни странно, отдохнул? И потому, что завтра будет обычный день? И я увижу моих талантливых друзей? И расскажу им, какой я болван.

И они с удовольствием это подтвердят. И мы будем делать газету, разумеется, — лучшую, единственную... И так далее...

И вдруг моя жена сказала:

— А у меня есть сорок восемь долларов.

Рафа подпрыгнул. Я испугался, что он захочет развернуться прямо на хайвее. Но Рафа сдержался. И только спросил:

— Откуда?

— Когда вы пошли играть, я тихо обменяла жетоны на доллары. Купила себе яблоко и мороженое. А фен и тележку для супермаркета мы купим завтра...

— Э, нет, — сказал Рафа, — мы поедem в Бруклин. Мы поедem ужинать в ресторан «Кавказ». Там шашлыки, маринованные баклажаны, купаты, осетрина...

— Небось и водка? — спросила Лариса.

— И водка, — сдержанно подтвердил Рафа.

И мы поехали в ресторан «Кавказ». Там было много симпатичных людей. И очень вкусная еда. И музыканты два раза пели в нашу честь. И хозяйка нам любезно погадала. А некий Изя плясал один, смешно и трогательно...

Рафаил задумался и произнес:

— Надо было ехать прямо сюда. Не заезжая в Атлантик-Сити...

Мы вернулись домой около полуночи. Все уже спали. Собака Глаша даже не залаяла.

— Ну, вот, — сказала моя жена, — а тележку купим в следующий раз...

Три часа в казино избавили автора от бремени всех его сбережений. И он вернулся домой куда умнее, чем был...

«Новый свет»¹, № 4 (92), 14—20 ноября 1981 г.

¹ В скобках дается номер очередного выпуска «Нового американца».

КР ИЗ РОССИИ ДОЛЕТАЮТ...

Из России долетают тревожные, мрачные вести. Одному кандидатскую не утвердили. Другого с работы уволили. Третий отказ получил... Очереди за колбасой... Зимней обуви не купить... И так далее.

В общем, нечему радоваться. Тоска, уныние и горечь.

И все-таки сквозь этот мрак доносится порой живая, язвительная, неистребимая шутка.

Вообразите себе приемную какого-нибудь Львовского ОВИРа. Табличка с фамилией инспектора. Публика терпеливо ждет своей очереди.

Распахивается дверь. Выходит очередной посетитель. На лице его скорбь и разочарование. В зале — полная тишина.

И вдруг какой-нибудь Фима, Боря или Лазарь Самуилович тихонько произносит:

— ДАН ОТКАЗ ЕМУ НА ЗАПАД...

Раздается первый неуверенный смешок. Через минуту смеются все. Включая дежурного милиционера.

А значит, жизнь продолжается.

Значит, есть силы для борьбы.

Вообразите провинциальный российский город. Воронеж, Тулу, Сестрорецк...

Утро в продовольственном магазине. На витрине — мелкий частик, завтрак туриста... Одиноко желтеет прямоугольник голландского сыра.

Возле кассы очередь. Лица — неприветливы и суровы. Неожиданно кто-то вполголоса декламирует:

— В ВОРОНЕЖ ГДЕ-ТО БОГ ПОСЛАЛ КУСОЧЕК СЫРА...

И вновь раздается смех. И жизнь кажется не такой уж безнадежной...

Вспомним недавнее прошлое. Наши танки движутся к афганской границе. Солдаты удручены и подавлены. В грохоте машин тишина становится еще заметнее.

И вдруг происходит чудо. Кто-то саркастически роняет:

— НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ!

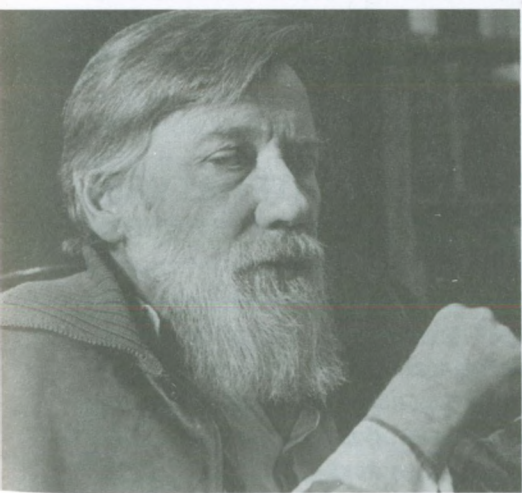
В КАБУЛЕ ОСТАНОВКА...

Значит, чувство справедливости еще не потеряно. Значит, эти люди еще способны возродиться.

Юмор — украшение нации. В самые дикие, самые беспросветные годы не умирала язвительная и горькая, простодушная и затейливая российская шутка.

И хочется думать — пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом!

Писатель в роли Кассандры



ЛУЧШЕЕ, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Когда-то, в Союзе, мы были очень похожи...

Теперь мы все очень разные. Есть среди нас либералы. Есть демократы. Странники монархической власти. Правоверные евреи. Славянофилы и западники. Есть, говорят, даже последователи Маркса. Что почти невероятно...

Есть просто люди. Которые ненавидят тиранию, ложь и глупость. Хотя и не обладают четкими политическими и религиозными убеждениями... Все у нас разное — сорочки, профессии, жизненные идеалы.

Но литература — одна. Единственная. Русская литература. Высшее достижение нашей многострадальной родины. Лучшее, что нас объединяет...

Убежден — тот, кто ценит нашу литературу, рано или поздно будет достоин ее!

«Новый американец», № 1, 8—14 февраля 1980 г.

БЛЕСК И НИЩЕТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Лекция, прочитанная 19 марта в университете
Северной Каролины**

Уважаемые господа!

Прежде всего я должен извиниться перед вами за то, что не могу прочитать эту лекцию по-английски. Вот уже три года я живу в Америке и все еще плохо владею английским языком. С первых дней в Нью-Йорке я был связан с русскими эмигрантскими кругами, занимался исключительно русскими проблемами, был одним из создателей русского еженедельника «Новый американец», и английским языком мне приходилось пользоваться лишь в супермаркете и в сабвее. Вообще, русские эмигранты владеют английским языком на самых разных уровнях, которые можно обозна-

чить следующим образом: сабвей инглиш, супермаркет инглиш, а на более высоких ступенях — тиви инглиш, дейли ньюз инглиш и, наконец, вершина знаний это — чайна таун инглиш, потому что труднее всего нам понимать английский язык, которым пользуются владельцы китайских ресторанов, прачечных и канцелярских магазинов.

Мои более разумные друзья часто корят меня за то, что я плохо владею английским. Как правило, они выдвигают два главных довода:

1. Овладев английским языком в совершенстве, ты сможешь читать в подлинниках произведения американских и английских писателей, и тогда перед тобой откроется новый ослепительный мир.

2. Усовершенствовав свой язык, ты сможешь больше общаться с американцами, лучше понять эту замечательную страну и быстрее почувствовать себя полноценным человеком.

Отвечая на эти доводы, я, в порядке оправдания, выдвигаю следующие контрсоображения.

При самых упорных занятиях английским языком я в лучшем случае смогу следить за развитием сюжета в книгах американских и английских писателей, а также понимать высказываемые ими мысли и идеи.

Но мысли, идеи и тем более сюжет — это как раз то, что меня интересует в литературе меньше всего. Более всего мне дорога в литературе ее внеаналитическая сторона, ее звуковая гамма, ее аромат, ее градус, ее цветовая и фонетическая структура, в общем, то, что мы обычно называем необъяснимой привлекательностью.

Кроме того, у меня на родине очень хорошо, как это ни странно, поставлено переводческое дело. Многие выдающиеся русские писатели и поэты, не имея возможности писать и публиковать по цензурным соображениям собственные книги, начинали, в поисках средств к существованию, заниматься переводами. Тут можно назвать массу замечательных имен, начиная с Пастернака и Ахматовой и кончая Бродским и Ахмадулиной. В результате уровень переводов явно повысился за счет уровня литературы в целом. Так

или иначе в великолепных русских переводах существует Джойс, Оруэлл, Киплинг, Хемингуэй, Фолкнер, Колдуэлл, Томас Вулф, Стейнбек, Воннегут, Апдайк, Сэлинджер и многие, многие другие выдающиеся англоязычные писатели.

Что же касается личных контактов, то я не располагаю большим досугом, и, если вижу с людьми, то, как правило, эти встречи связаны с делом, с литературой, а в этом смысле наибольший интерес для меня представляют американские слависты и переводчики, да и я в первую очередь очень могу быть интересен переводчикам и славистам, то есть людям, говорящим по-русски, таким, например, как мои ближайшие среди американцев друзья — профессор русской филологии Карл Проффер и переводчица Анн Фридман, чей русский язык не хуже моего.

Разумеется, все это лишь отговорки и попытки оправдать свое легкомыслие, и потому я еще раз прошу вас извинить меня за то, что эта лекция звучит по-русски.

Вернемся к теме нашей лекции.

В названии я использовал заглавие одного из романов Оноре де Бальзака — «Блеск и нищета куртизанок». В сопоставлении литературы с дамой полусвета я не вижу ничего кощунственного, во всяком случае роль светской львицы более пристала литературе, нежели роль домохозяйки, воспитательницы подрастающего поколения или добросовестной служащей. С дамой полусвета литературу роднит еще и то, что ценность ее заключена в ней самой, а не в исповедуемых ею принципах. Это название кажется мне уместным еще и потому, что в русской литературе на нынешнем этапе можно обнаружить одновременно черты бесспорного величия и несомненного убожества.

Начнем с того, что русская литература, в отличие от европейской и американской литературы, с западной точки зрения литературой не является.

Этот парадокс требует некоторой расшифровки. Русская православная церковь (господствующая церковь в России), в отличие от западных церквей, католической и протестантской, никогда не пользовалась в народе большим авторитетом. В православной церкви не было той грозной силы, которая заставляла бы ее ува-

жать и бояться. В русских народных сказках полно издевок и насмешек над священнослужителями — попами и попадьями, которые изображаются, как правило, алчными, глупыми и хитрыми людьми. В истории русской церкви было немало мучеников и подвижников, но очень мало религиозных деятелей с позитивной программой. Авторитет русской церкви укрепляется именно сейчас, в последние десятилетия, в эпоху диссидентства, когда несколько русских священников выказали огромную силу духа в борьбе с тоталитарными порядками, снискав, таким образом, любовь и уважение народа.

Что же касается русской философии, то она гораздо моложе западной и развиваться начала лишь в девятнадцатом веке, дав миру несколько очень ярких имен — Булгакова, Соловьева, Леонтьева, Бердяева и других. Исторически же философов в России заменяли всякого рода антисоциальные личности — юродивые, кликуши, спившиеся резонеры и попросту — балаганные шуты. В отношении к ним русское общество проявляло любопытство, смешанное с некоторым чувством брезгливости.

А вот литература в России всегда была очень популярна и пользовалась огромным уважением. Писателя в России всегда воспринимали как пророка, приписывали ему титанические возможности и ждали от него общественных деяний самого крупного, государственного масштаба. Роль и поприще писателя всегда считались в России очень почетными и потому сказать о себе: «Я — писатель» всегда считалось в России крайне неприличным, все равно, как сказать о себе: «Я — красавец», «Я — сексуальный гигант» или «Я — хороший человек». Отношение к писателям в России напоминает отношение американцев к кинозвездам или спортивным чемпионам, так что если бы в Советском Союзе существовала телевизионная реклама, то в перерывах между фильмами появлялись бы на экране не Фара Фосет и не Мухаммед Али, а Курт Воннегут, Апдайк и Айзек Башевис Зингер. Хотя Фара Фосет выглядит гораздо лучше Зингера и даже Воннегута.

В силу всего этого литература постепенно присваивала себе функции, вовсе для нее не характерные. Подобно религии, она несла в себе огромный нравственный заряд и, подобно филосо-

фии, брала на себя интеллектуальную трактовку окружающего мира. Из явления чисто эстетического, сугубо художественного литература превращалась в учебник жизни или, если говорить образно, литература из сокровища превращалась в инструкцию по добыче золота.

Этому немало способствовала русская литературная критика, основы которой закладывали такие выдающиеся общественные деятели, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов. Критика предъявляла к литературе требования, менее всего связанные с ее эстетическими качествами и касающиеся, главным образом, ее общественно-политических тенденций. От русской литературы ожидали заботы о народном благе, призывов к просвещению и не в последнюю очередь — захватывающей и убедительной нравственной проповеди.

Таким образом, история подлинной русской литературы была историей борьбы за сохранение ее эстетических прав, за свободное развитие ее в рамках собственных эстетических законов, ею самую установленных.

В этом смысле чрезвычайно показательна фигура Александра Сергеевича Пушкина, величайшего русского поэта и прозаика, олицетворяющего собой все лучшее и наиболее полноценное в русской литературе. Сейчас в Советском Союзе личность и творчество Пушкина канонизированы абсолютно, его именем названы сотни гуманитарных учреждений, его сочинения тщательнейшим образом изучаются в школах и университетах, его портреты встречаются почти так же часто, как портреты Ленина и Брежнева, его изображения, порой безнадежно далекие от оригинала, попадают в общественных банях, на стадионах, в детских садах и в зубоврачебных клиниках. Творчество Пушкина объявлено священным, как, впрочем, и творчество Ленина с Брежневым, но так было далеко не всегда. Современники обвиняли Пушкина в легкомыслии и пустословии, сочиняли на него язвительные пародии, требовали и ждали от него произведений более четкого общественно-политического звучания. Я хочу в этой связи привести здесь одну выразительную цитату из переписки Пушкина с его

близким другом князем Вяземским. Вяземский в своем письме к Пушкину говорит:

«Задача каждого писателя есть — согреть любовью к добродетели и возбуждать ненавистью к пороку...»

На что Пушкин уверенно и резко отвечает:

«Вовсе нет. Поэзия выше нравственности. Или во всяком случае — совсем иное дело».

В этом заявлении Пушкина особенно важна последняя часть. Судить о том, что выше, поэзия или нравственность, так же трудно, как выяснить — кто сильнее, слон или кит, и трудно именно потому, что это совершенно разные вещи.

Предъявлять Пушкину нравственные, идеологические претензии было так же глупо, как упрекать в аморализме ястреба или волка, как подвергать моральному осуждению вьюгу, ливень или жар пустыни, потому что Пушкин творил, если можно так выразиться, в режиме природы, сочувствовал ходу жизни в целом, был способен выразить любую точку зрения, и его личные общественно-политические взгляды в данном случае совершенно несущественны. Герои Пушкина редко предаются абстрактным рассуждениям, и если даже это происходит, то предметом рассуждения чаще всего оказывается художественное творчество, чему примером может служить «маленькая трагедия» Пушкина — «Моцарт и Сальери».

Пушкин был не художником по преимуществу, и, тем более, не художником по роду занятий, а исключительно и только художником по своему физиологическому строению, если можно так выразиться, его сознание было органом художественного творчества, и все, к чему он прикасался, становилось литературой, начиная с его частной жизни, совершившейся в рамках блистательного литературного сюжета, украшенного многочисленными деталями и подробностями, с острым трагическим эпизодом в финале.

Можно сказать, что творчество Пушкина было победой чистого эстетизма над общественно-политическими тенденциями проповедничества и морализаторства в литературе.

Таким образом, если считать, что русская литература началась с Пушкина, то это начало было чрезвычайно многообещающим и удачным.

Коснемся теперь творчества четырех гигантов русской прозы, явившихся на смену Пушкину. Я имею в виду — Толстого, Достоевского, Тургенева и Гоголя.

Все эти четыре писателя были обладателями громадного пластического дарования, и все они в той или иной степени стали жертвами своих неудержимых попыток выразить себя в общественно-политических и духовно-религиозных сферах деятельности.

Лев Толстой, написав десяток гениальных книг, создал затем бесплодное нравственное учение, отрекся от своих произведений, исписал тысячи страниц необычайно скучными баснями для народа и почти дегенеративными трактатами об искусстве, о балете и шекспировской драме, и умер в страшных нравственных мучениях на заброшенной железнодорожной станции, покинув семью и не разрешив ни одну из мучивших его проблем.

Показательна также судьба его яснополянской школы. Лев Толстой создал в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, сам преподавал в этой школе, восхищался живым умом и непосредственностью своих учеников, внушал им благородные нравственные принципы, в результате многие из них стали «народниками», спились, прожили жизнь надломленными людьми и очень редко поминали своего благодетеля добрым словом.

В памяти народа Толстой остался великим художником, а его побочная деятельность, которую он считал главным делом жизни, забыта и вызывает интерес лишь в академических кругах.

Достоевский написал четыре гениальных романа, но в своей журнально-общественной деятельности, как публицист славянофильского толка, выказал себя реакционером, а главное — страшным занудой. Его необычайно многословный «Дневник писателя» не идет ни в какое сравнение с художественными текстами того же автора.

Все лучшее в жизни Достоевского было связано с художественной литературой, а все худшее — каторга, ссылка, солдатчина, финансовые и общественно-политические неурядицы — с попытками утвердить себя во внехудожественных сферах.

Тургенев начал с гениальных «Записок охотника», затем писал романы «с идеями» и уже при жизни утратил свою былую славу.

Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева, мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. В наши дни мне трудно представить себе интеллигента, перечитывающего романы Тургенева без какой-либо практической или академической цели вроде написания ученой диссертации на тему: «Тургенев и русская общественная мысль 60-х годов девятнадцатого столетия».

Гоголь обладал феноменальным художественным дарованием сатирической направленности, обладал не совсем обычным для русского писателя тотальным чувством юмора, написал лучший роман на русском языке — «Мертвые души», затем углубился в поиски нравственных идеалов, издал опозорившую его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой пришел к оправданию рабства, загубил в себе художника и умер сравнительно не старым и абсолютно сумасшедшим человеком.

На смену этим четырем титанам пришел Антон Павлович Чехов — первый истинный европеец в русской литературе, занимавшийся исключительно художественным творчеством и не запятнавший себя никакими общественно-политическими выходками и фокусами. Чехов первым добился широкого признания на Западе, лучшие американские писатели охотно говорили о том влиянии, которое оказало на них творчество Чехова, и остается лишь добавить, что у себя на родине Чехов был при жизни объектом самой разнузданной и оскорбительной травли со стороны литературных критиков школы Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Его упрекали в цинизме, бессердечии и равнодушии к страданиям народа, а критик Михайловский даже предрекал ему голодную смерть под забором.

Однако Чехов выказал силу духа, не опустился до общественно-политических телодвижений, сохранил в себе художника и обессмертил свое имя. Его творчество исполнено достоинства и покоя, оно **НОРМАЛЬНО** в самом благородном значении этого слова, как может быть нормально явление живой природы.

Тут уместно было бы припомнить одну цитату из Шекспира. В одном из своих монологов Гамлет произносит слова, которые, к сожалению, могу воспроизвести лишь приблизительно, но за смысл их почти ручаюсь. Гамлет восклицает:

«Что же это я, как шлюха, душу свою выражаю в словах...»

Гамлет хочет сказать, что слова есть продукт бесплодной рефлексии, что настоящий мужчина должен выражать себя в активной созидательной деятельности, что именно деятели нужны современному обществу, и так далее...

Все это, может быть, звучит вполне резонно в устах государственного мужа, каковым являлся Гамлет, но совершенно неприемлемо для художника, потому что СЛОВО для художника как раз и является его ДЕЛОМ. Тем не менее лучшие русские писатели, достигнув высочайшего уровня в своем творчестве, начинали испытывать безудержную тягу к общественно-политической деятельности, и все без исключения потерпели неудачу.

Примером такой глобальной неудачи можно считать публицистическую деятельность Солженицына, который начал с потрясающих романов, но, оказавшись на Западе, выступил в роли обличителя и пророка, возглавив чрезвычайно опасную, национально-христианскую и, в конечном счете, — авторитарную тенденцию в русской общественной мысли, изрядно скомпрометировав себя в глазах тех читателей, кто хотел бы видеть будущую Россию — европейским демократическим государством.

Литературным антиподом Солженицына можно считать великого русского поэта Иосифа Бродского, моего давнего знакомого и кумира, который не соблазнился никакой общественно-политической ролью, остается поэтом, художником, творцом и, кстати сказать, подвергается за это довольно резкой критике в русской эмигрантской печати, где доживают свой век последователи Белинского и Добролюбова, не обладающие их бескорыстием и страстью, но приумножившие их заблуждения.

И к Бродскому, и к Солженицыну я еще вернусь, когда речь пойдет о русской литературе на современном этапе.

Означает ли все вышесказанное, что литература лишена возможности оказывать благотворное нравственное воздействие на

читателя? Ни в коем случае. Подлинная литература такое воздействие оказывает и в очень значительной степени, но не прямо, как, допустим, плакат или средство массовой информации, а сложным косвенным образом. Проанализировать механизм этого воздействия трудно, гораздо проще обратить ваше внимание на простое и ясное чувство, которое испытывали чаще или реже все без исключения грамотные, полноценные читатели как в России, так и на Западе. Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова:

«Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе — достойно, благородно и умно...»

Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство — и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия, оказываемого чисто эстетическими средствами...

Итак, до революции русская литература сравнительно успешно развивалась в попытках отстоять свои художественные права, в борьбе между требованиями долга перед обществом и желанием служить исключительно собственному предназначению.

В России существовала клерикальная и гражданская цензура, иногда довольно мягкая, порой сравнительно жестокая, в России существовала требовательная и бесцеремонная литературная критика, проникнутая интересами общественного блага, но в России до 17-го года отсутствовала карательная система, направленная против художников, в России не существовало аппарата физического подавления художественного творчества, а значит, лучшие из писателей смогли осуществить свои задачи и, если терпели поражение, то в борьбе с собой, а не в безнадежном поединке с государством.

После 17-го года все изменилось. Ленин официально и недвусмысленно сформулировал роль искусства, как одного из многих подручных средств переустройства мира, и этот период можно считать началом планомерного истребления русской литературы,

которая существовала в невыносимых условиях, теряя лучших своих представителей и унижаясь до полного отождествления себя с государством. По официальным данным, около восьмиста русских литераторов, причем наиболее заметных, было физически уничтожено в сталинских концентрационных лагерях, но даже это не самое страшное. Гораздо страшнее то, что литература в целом стала постепенно утрачивать самое драгоценное и жизненно необходимое качество — способность к открытому и безбоязненно-му самовыражению.

И если в двадцатые и даже в тридцатые годы русская литература еще давала какие-то яркие, достойные плоды, то это нельзя считать фактом ее нормального естественного развития, это был, выражаясь несколько пышно, — свет погасшей звезды, или, говоря языком Солженицына, — это была пена от ушедшего под землю озера.

Истинная литература продолжала существовать еще некоторое время вследствие того, что карательный механизм приводился в действие постепенно, да и в дальнейшем работал с некоторыми переборами.

К началу войны 41-го года литература была почти полностью истреблена, и в этой сфере на долгие годы воцарилось тягостное убожество.

В конце 50-х годов недолгая хрущевская оттепель вызвала к жизни приток литературных сил, и на страницах журналов запестрели имена талантливых молодых писателей — Аксенова, Гладиллина, Войновича, Окуджавы, Ефимова, Ахмадулиной, Шукшина, Искандера, Балтера и многих других.

Это было время великих иллюзий; огромных надежд. Многим казалось, что литературный процесс может быть восстановлен, что могут быть наведены мосты от классической русской литературы к здоровым художественным тенденциям начала шестидесятых годов.

Увы, этим иллюзиям не суждено было осуществиться. Официальный процесс демократизации общества быстро зашел в тупик, и то, что пришло ему на смену, поразило еще большим убожеством, бесплодием и скукой.

Если при Сталине талантливых писателей сначала издавали, затем обливали грязью в печати и, наконец, расстреливали или уничтожали в лагерях (Бабель, Пильняк, Мандельштам), то теперь никого не расстреливали, почти никого не сажали в тюрьму, но и никого не печатали. Лучшие писатели, уподобляясь заговорщикам, писали, как говорится, «в стол», а менее честные и стойкие верой и правдой служили государству, получая за это доступ к очень заманчивым материальным благам.

Далеко не все мои друзья разделяют эту крайне пессимистическую точку зрения. Некоторые стараются меня переубедить. Они говорят мне:

«Но ведь существуют же талантливые книги. Удастся же некоторым писателям обходить цензурные преграды. Существует же какая-то лазейка между совестью и подлостью... И так далее».

В ответ на это я рассказываю им одну и ту же притчу. Эта притча банальна, но при этом она довольно точно выражает суть происходящего.

Представьте себе, что у вас есть мать. Что она живет, допустим, в Милуоки вместе с вашим братом. И вдруг вы узнаете, что ваша мать тяжело заболела и попала в госпиталь. Вы посылаете брату телеграмму с вопросом:

«Что с матерью? Отвечай немедленно!»

Брат немедленно отвечает примерно следующее:

«У нас в Милуоки скверная погода».

Дальше идет талантливое и яркое описание климата в Милуоки. Но о матери — ни слова.

Вы начинаете еще больше волноваться. Вы посылаете еще одну телеграмму с тем же вопросом:

«Что с матерью?»

Брат отвечает:

«Транспорт у нас в Милуоки работает плохо».

Дальше идет подробное, талантливое описание работы транспорта в Милуоки. Но о матери — ни слова.

И так — без конца. О том, что нас по-настоящему волнует, — ни слова. О главном — ни слова.

Под матерью здесь можно понимать нашу родину и ее судьбу, или, что сложнее и точнее, — то самое ценное, что делает литературу литературой, а именно: открытое, свободное и безбоязненное самовыражение...

Когда я жил в Советском Союзе и мои рассказы нигде не печатали, моя восьмилетняя дочка, которая очень из-за этого переживала, как-то раз дала мне совет. Она сказала: «Папа, что ты все пишешь о плохом? Ты напиши о чем-нибудь хорошем. Напиши о собаке. Может быть, если ты напишешь о собаке, твой рассказ напечатают».

В ответ на это я придумал короткую сказку. Она тоже довольно банальна и тоже, как мне представляется, выражает суть вещей.

В некотором государстве жил-был художник. Однажды его пригласил к себе король и говорит:

— Нарисуй мне картину. А я тебя щедро вознагражу.

— Что же я должен нарисовать? — спросил художник.

— Все что угодно, — ответил король, — все что угодно, кроме маленькой зеленой гусеницы.

— Значит, я могу нарисовать все, что я захочу? — еще раз спросил художник.

— Разумеется, — ответил король, — за исключением маленькой зеленой гусеницы.

Художник отправился домой, чтобы взяться за работу. Прошел месяц, второй, третий, королю надоело ждать, и он снова вызвал к себе художника.

— Где же картина? — спросил он.

Художник вздохнул и ответил:

— Я не могу написать эту картину. Потому что я с утра до ночи думаю о маленькой зеленой гусенице...

Итак, картина современной русской литературы представляет мне очень безрадостной. Почему же я назвал свое выступление «Блеск и нищета»? С нищетой, казалось бы, все ясно, а вот блеска что-то не видно.

Это не совсем так.

Томас Манн однажды высказался следующим образом:

«Немецкая литература там, где нахожусь я».

Это заявление может показаться нескромным даже со стороны такого гиганта, как Томас Манн, но лишь на первый взгляд. Томас Манн хотел сказать простую вещь, и упоминание собственного имени было в этом высказывании — условным и случайным. Он хотел сказать, что пока живет и работает хотя бы один настоящий писатель — литература продолжается. Пока живет и работает хотя бы один гениальный русский писатель — русская литература продолжает оставаться гениальной

Зерно литературы может нести в себе один человек, более того, оно может десятилетиями храниться под слоем пошлости и гнили, а затем в первую же благоприятную минуту — дать ярчайшие всходы.

Надежду на возрождение русской словесности дает мне то, что в литературе продолжает трудиться один гениальный русский писатель. Это — Иосиф Бродский. Кроме него в литературе работают несколько мастеров очень высокого класса: Аксенов, Войнович, Искандер, Синявский, Зиновьев, Ерофеев.

Помимо этого существует и критика. Мои друзья и коллеги Вайль и Генис пытаются создавать на Западе образцы чисто художественной, сугубо эстетической критики и делают это успешно, о чем свидетельствует хотя бы ненависть к ним со стороны почти всех эмигрантских беллетристов, которые полагают, что убожество с дальнего расстояния может сойти за благородство, а постоянная неизбывная мрачность заменит в их произведениях глубину. С бесконечным нетерпением мы ждем новых художественных книг Солженицына.

Я бы хотел дожить до тех дней, когда возродится наше опозоренное отечество, ставшее пугалом мира, и это будут дни возрождения нашей многострадальной литературы. Оба эти процесса неизбежны, и я даже не знаю, какого из них жду с большим волнением...

«Новый американец», № 111, 30 марта — 5 апреля 1982 г.

КР ЕЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ...

Еще в Ленинграде мне часто приходилось слышать:

«Все русские на Западе жестоко перессорились! Евреи с православными. Монархисты с демократами. Либералы с почвенниками. Первая эмиграция с третьей. И так далее...»

Наконец я приехал и убедился: действительно, ругани хватает. И в прессе, и на частном уровне...

Поводов бесчисленное множество. Эстетические, политические, философские, религиозные... Цель одна — скомпрометировать идейного противника как личность. Повторяю: не убедить, не опровергнуть, а именно — скомпрометировать.

В какой-то степени нас можно понять. За спиной — десятилетия вынужденной немоты. Печать на устах. Кляп во рту. Амбарный замок на губе.

Десятилетия мы безмолвствовали. Раскланивались с негодьями. Улыбались стукачам. Мирились с любыми гнусностями.

И вот мы здесь. Кругом свобода, демократия и плюрализм!

Нам скомандовали — можно! Можно все. Можно думать, читать, говорить...

Какое это счастье — говорить, что думаешь!

Какая это мука — думать, что говоришь!

Говорить умеет всякий. (На Четырнадцатой улице есть попугай в зоомагазине. Говорит по-английски втрое лучше меня.)

А вот думать — не каждый умеет. Слушать — и то разучились.

Казалось бы — свобода мнений! Очень хорошо. Да здравствует свобода мнений! Для тех, чьи мнения я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю?!

Заткнуть им рот! Заставить их молчать! Скомпрометировать как личность!..

Дома бытовало всеобъемлющее ругательство «еврей». Что не так — евреи виноваты.

Здесь — «агенты КГБ». Все плохое — дело рук госбезопасности. Прокси товарища Андропова.

Пожар случился — КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло — под нажимом КГБ. Жена сбежала — не иначе как Андропов ее ублудил. Холода наступили — знаем, откуда ветер дует!

Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хо-роши. И если мы ленивы, глупы и бездарны, то Андропов тут ни при чем.

У него своих грехов достаточно...

Так давайте же взглянем на себя критически и беспристрастно. Будем учиться выслушивать своих противников. Терпимо относиться к чужому мнению. Соблюдать элементарные приличия.

Давайте учиться жить по-человечески!

И учтите, если кто-то возражает, я буду считать его агентом КГБ...

«Новый американец», № 42, 26 ноября — 2 декабря 1980 г.

КР КАЖДОЕ УТРО...

Каждое утро мы распечатываем десятки писем. Значительная часть приходится на мою долю.

Письма бывают самые разные. Умные и глупые. Дружеские и враждебные. Деловые и лирические...

Как разнообразны эти письма! Как широк диапазон человеческих эмоций!

Один корреспондент назвал меня «современным Чеховым». Другой — «смердящим литературным отбросом». Увы, заблуждается первый. Надеюсь, погорячился второй...

Доброжелательных писем — больше. И читать их гораздо приятнее.

Многие благодарят нас за «Литературное приложение».

«Щедрый подарок!» — восклицает Лариса Котлер (Астория).

Читая это, я испытываю легкую неловкость. Похоже, что нас благодарят за своевременно возвращенный долг.

Мы обратились к читателям за помощью. Учредили «Клуб-100». На призыв откликнулись десятки людей. В целом образовалась значительная сумма. Редакция приобрела дорогую наборную машину. Остальные деньги ушли на «Литературное приложение». Цена газеты осталась прежней.

Стоит ли нас за это благодарить? Скорее, мы должны благодарить читателей...

Но тут забеспокоился Орлов. Ему, видите ли, необходимо «Спортивное приложение».

Батчан и Шарымова тотчас заявили, что кино важнее спорта. Хитроумно ссылаясь при этом на затасканную цитату из Ленина.

Нина Аловерт все чаще заговаривает о театральных страницах. Бланк отвоевывает место для рекламы.

«Литература — это, конечно, хорошо, — тихо ворчит Александр Гальперин, — но есть дела и поважнее». Как вы уже догадались, Гальперин мечтает расширить политический отдел.

Конечно, «Новый американец» и дальше будет расти. Рано или поздно станет выходить каждый день. Все зависит от читателей, от их активности, от их приверженности к газете.

Кое-что осуществимо лишь в ясном будущем. Например, Галина Сальникова из Лос-Анджелеса пишет:

«...Зачем мне нью-йоркская телепрограмма? Нельзя ли давать по каждому штату?..»

Распечатав это письмо, Меттер громко застонал. Действительно, пожелание госпожи Сальниковой — неосуществимо. В каждом штате — своя телевизионная программа. И каждую надо перевести с английского. А переводчик у нас один. Все тот же Александр Гальперин. Вот так и живем...

Наша сила — в единодушии и бескорыстии. Хотя проблем у нас — масса. А если силу разделить на массу, получится что? Вот именно...

«Новый американец», № 44, 10—16 декабря 1980 г.

КР КОГДА МЫ СОЗДАЛИ ГАЗЕТУ...

Когда мы создали газету, администрация «НРС» заявила:

— Нашим авторам печататься в этом самом «американце» категорически запрещается. Либо — мы, либо — они!

— Они! — сказали трое ведущих сотрудников «НРС».

И перешли в нашу газету. (С резким понижением зарплат.)

Внештатные авторы действовали по-разному. Некрасов, Гладилин, Максимов — решительно пренебрегли ультиматумом. И печатаются в обеих газетах.

Авторы попроще страшно напугались. Стали звонить:

— Мы бы и рады... Да Седых запрещает... У него большой тираж...

А мы заинтересованы в рекламе... И вообще...

Ладно. Мы не в претензии. Нам своих авторов хватает...

Тут появляется у нас статья Вайля и Гениса — «Ответственность». Резкая, полемическая статья о литературе.

Статья вызвала бурную реакцию. Потянулись критические отклики и заметки. Кое-что мы опубликовали. Кое-что отвергли.

— Как это так?! — спросили отвергнутые авторы. — Вы же демократическая газета! Вы же смелые и решительные! Вы же печатаете что угодно!

— Нет, — сказали мы. — Мы печатаем то, что нас интересует.нас и наших читателей... Демократизм и неразборчивость — вещи разные!

Затем мы сказали:

— Пошлите свои опусы в «НРС».

Авторы грустно рассмеялись...

Что же получается?! Свои милые юморески Басков и Заяц посылают в «НРС». А критические заметки — нам. Значит, критиковать нас Седых разрешает?!

Разве не парадоксально?! Единственная газета, публикующая критические материалы — наша. Обругать «Новый американец» можно только в «Новом американце»!..

Есть такой писатель — Сулов. Сначала печатался у нас. Хвалил нашу газету. Потом ему запретили. Теперь печатает в «НРС» свои замечательные очерки. Критические же материалы о «Новом американце» посылает в «Новый американец».

Говорят, такие же фокусы выделявал пьяный Есенин. Обедать ходил в дорогой, фешенебельный ресторан. А затем шел в ресторан по-проще — сквернословить и драться.

Русская пресса в Америке — обтекаема и снисходительна. Одного лишь Брежнева критикуем с энтузиазмом.

И вот появилась газета, не боящаяся дискуссий. Не уклоняющаяся от критики и самокритики. (Кто читал в «НРС» хотя бы один самокритичный материал?) Короче, появилась смелая газета. Все обрадовались. И первым делом начали критиковать сотрудников этой газеты...

Представьте — идете вы с друзьями. Неожиданно к вам пристают хулиганы. Вы начинаете драться. Потому что вы смелый и решительный. А друзья миролюбиво отходят в сторону.

В результате, у вас фонарь под глазом. А у друзей — хорошее настроение.

Так вот. Пусть будет хорошее настроение — у всех. Или — у каждого по фонарю...

«Новый американец», № 45, 17—23 декабря 1980 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ «НЕВИДИМОЙ КНИГИ»

Выступление на международной конференции «Литература в эмиграции: третья волна» 16 мая 1981 года

Разрешите начать выступление с фокуса. Или с загадки. Догадайтесь, что у меня в кулаке?

Можете не стараться. Все равно не угадаете.

В кулаке находятся мои произведения. Все мое литературное наследие. Более двух тысяч страниц неопубликованных рукописей.

Рукописи сняты на микропленку. Вывезены из Ленинграда чудесной француженкой. (Фамилию ее просили не оглашать.)

Француженка занималась не только моими делами. Ей многим обязаны десятки русских литераторов и журналистов.

Из Союза французенка увозила рукописи, письма, документы. Туда везла книги, газеты, журналы. Порой — десятки экземпляров. Как-то раз в Ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана...

Так проникает на Запад русская литература. Я думаю, этим можно гордиться. Наши сочинения приравниваются к оружию, к взрывчатке...

Я хочу вручить эту пленку Илье Левину для его музея. Не потому, что мои рукописи так уж ценны. Вовсе нет. Я считаю эту пленку крошечным обелиском нашего безумного времени. Памятником нашего унижения, нашей жизнестойкости и нашего триумфа...

Я начал писать рассказы в шестидесятом году. В самый разгар хрущевской оттепели. Многие люди печатались тогда в советских журналах. Издавали прогрессивные книжки. Это было модно.

Я мечтал опубликоваться в журнале «Юность». Или в «Новом мире». Или на худой конец — в «Авроре». Короче, я мечтал опубликоваться где угодно.

Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов.

Это было странно.

Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы.

Мне казалось, я пишу историю человеческого сердца. И все. Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. Об уголовном лагере. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках и литературной богеме...

Я не был антисоветским писателем. И все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял:

Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власти притворяются, что этой жизни нет.

При этом явно антисоветские книги издавались громадными тиражами. Например, произведения Бубеннова, Кочетова или Софронова. Это были книги, восстанавливающие читателей против советского режима. Вызывающие отвращение к нему.

Тем не менее их печатали. А меня — нет.

Наконец я совершенно разочаровался в этих попытках. Я уже не стремился печататься. Знал, что это бесполезно.

К этому времени хрущевская оттепель миновала. Начались заморозки. На месте отцветающей прогрессивной литературы расцвел самиздат.

Этот выразительный, четкий неологизм полон глубокого значения. Пишем сами. Издаемся сами. «Эрика» берет четыре копии...

Самиздат распространился повсеместно. Если вам говорили: «Дай что-нибудь почитать», значит, речь шла о самиздате. Попросить официальную книгу считалось неприличным.

Масштабы увлечения самиздатом достигали масштабов российского пьянства.

Теперь мы писали без определенной цели, движимые иррациональными силами. Видимо, так и должно быть.

Я не буду говорить о том, для кого мы пишем. Этот вопрос заслуживает многолетнего научного исследования. Лично я писал главным образом для моей бывшей жены. Пытаясь доказать ей, какого сокровища она лишилась.

В некоторых западных изданиях я прочел о себе:

«Его произведения распространялись в самиздате...»

Я не совсем понимаю, что это значит. В огромном количестве тиражировались произведения Солженицына. Материалы процесса над Синявским и Даниэлем. Письма Жореса Медведева и Эрнста Генри. И многие другие знаменитые тексты.

Вряд ли кто-то специально перепечатывал мои рассказы. Или рассказы моих друзей. Закончив рассказ, я сам перепечатывал его в нескольких экземплярах. И потом раздавал знакомым. А они — своим знакомым, если те проявляли некоторый интерес.

Это и есть самиздат в наиболее точном значении. Сам пишешь. Сам даешь знакомым. А порой — и сам читаешь в гордом одиночестве.

В семидесятые годы начали эмигрировать мои друзья. Я тогда и не думал об эмиграции. Хотя, может быть, идея развивалась в подсознании. В те годы подсознание стало необычайно людным местом. На этой арене разворачивались все главные события человеческой биографии.

Короче, я не собирался уезжать. Я чего-то ждал. Мне в общем-то известно, чего я ждал. Я ждал, когда меня издадут в «Ардисе»...

Вот как это произошло. В издательство попала рукопись моей «Невидимой книги». Друзья сообщили, что Карл Проффер намерен ее опубликовать. На двух языках.

Летом 76-го года я узнал, что Проффер в Ленинграде. Выяснилось, что я могу его повидать.

Я страшно волновался. Ведь это был мой первый издатель. Да еще — американец. После 16 лет ожидания.

Я готовился. Я репетировал. Я прямо-таки слышал его низкий доброжелательный голос:

«Ах вот ты какой! Ну, прямо вылитый Хемингуэй!..»

Наконец встреча состоялась. На диване сидел утомленный мужчина в приличном костюме. Он с заметным усилием приподнял веки. Затем вновь опустил их.

— Вы издаете мою книгу? — спросил я.

Проффер кивнул. Точнее, слегка качнулся в мою сторону. И снова замер, обессилив полностью.

— Когда она выйдет? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он.

— От чего это зависит? — спросил я.

Ответ прозвучал туманно, но компетентно:

— В России так много неопубликованных книг..

Я не отставал. Тогда он наклонился ко мне и еле слышно произнес:

— Я очень много пью. В России меня без конца заставляют пить. Я не могу больше разговаривать. Еще три фразы, и я упаду на пол...

Потом я виделся с Карлом еще раз. Говорил с ним. И многое понял. Вернее, многое узнал.

Узнал, например, что в Америке даже знаменитые писатели — бедствуют. Что они ради заработка вынуждены служить или, как минимум, — преподавать. Что русских авторов переводят мало. Что американцы предпочитают собственную литературу — европейской. (Не в пример европейским и тем более — русским читателям.) Я узнал, что финансовое положение Бродского несколько идеализировано ленинградской молвой. Что издательства завале-

ны рукописями, доходы от которых ничтожны. Что многие русские книги попросту убыточны. Особенно — стихи, что является некоторым утешением для прозаика. И так далее. И тому подобное...

После этого я собирал информацию два года. Мне хотелось знать всю правду. Покончить с иллюзиями. Действовать разумно, трезво и практично.

Я не торопился уезжать. Хотя жизненные обстоятельства мои резко ухудшились. Я ждал, когда меня издадут в «Ардисе». Ведь пока я живу в Союзе, у меня больше шансов для этого.

И все-таки пришлось уехать. Некоторые происшествия сделали мой отъезд безотлагательным...

С февраля 79-го года мы живем в Нью-Йорке. Этот город — серьезное испытание воли, характера, душевной прочности. Здесь у тебя нет ощущения гостя, приезжего, чужестранца. И нет ощущения дома, пристанища, жилья. Есть ощущение сумасшедшего корабля, набитого миллионами пассажиров. Где все равны...

Если хочешь здесь жить, надо что-то полюбить в Америке.

Мне в этом смысле повезло. Я полюбил Америку раньше, чем ее увидел.

С детства я любил американскую прозу. За демократизм и отсутствие сословных барьеров. За великую силу недосказанности. За юмор. За сочувствие ходу жизни в целом. За внятные и достижимые нравственные ориентиры.

Еще раньше я полюбил американские трофейные фильмы. За ощущение тождества усилий и результата. За идею превосходящего меньшинства. За гениальное однообразие четко вылепленных моделей.

Затем я полюбил джаз шестидесятых годов, сдержанный и надломленный. Полюбил его за непосредственность. За убедительное, чуждое ханжеству возрождение соборных переживаний. За прозорливость к шансам гадкого утенка. За глубокий, выстраданный оптимизм...

У меня появились знакомые американцы. Я любил независимость их поведения, элегантную небрежность манер. Я любил их

пренебрежение к условным нормам. Прямоту и однозначность в разговоре. Мне нравились даже их узковатые пиджаки...

Наконец я приехал. Пытаюсь разобраться в этой жизни. Что-то делать, предпринимать...

Увы, мои прогнозы оказались верными. Вот что я уяснил:

Положение русского литератора на Западе можно считать двойственным. Обстоятельства его жизни необычайно выигрышны. И наряду с этим — весьма плачевны.

Начнем с плохого. Рядового автора литература прокормить не может. Писатели работают сторожами, официантами, лифтерами, водителями такси.

В Америке серьезной литературой занимаются те, кто испытывает в этом настоятельную духовную потребность.

Литература также не является здесь престижной областью. Действительно, в Москве или Ленинграде писатель считается необычайно уважаемой фигурой. Удостоверение Союза писателей распахивает любые двери. Дружбой с писателями шеголяют маршалы и киноактеры, хоккеисты и звезды эстрады, работники ЦК и гении валютных операций.

Здесь рядовой писатель совершенно не выделяется. Сферы бизнеса, медицины, инженерии, юриспруденции — куда престижнее. Литератора здесь ценит довольно узкий круг читателей.

Дома можно, разговаривая с незнакомой барышней, выдавать себя за приятеля Евтушенко. Здесь такой прием малоэффективен.

Дома нас страшно угнетала идеологическая конъюнктура. В Америке тоже есть конъюнктура — рынка, спроса. Это тоже очень неприятно.

И все-таки я предпочитаю здешнюю конъюнктуру. Ведь понятия «талантливая книга» — «рентабельная книга» хоть изредка, но совпадают. Разумеется, не всегда. И даже не часто. Скажем, в трех из десяти.

Понятия же «талантливая книга» — «идеологически выдержанная книга» не совпадают никогда. Нигде. Ни при каких обстоятельствах.

Здесьняя конъюнктура оставляет писателю шанс, надежду, иллюзию. Идеологическая конъюнктура — это трибунал. Это верная гибель. И никаких шансов. Никаких иллюзий!..

Мы поселились в Америке. Приготовились к борьбе за существование. Все мои друзья твердили:

— Если надо, буду мыть посуду в ресторане. Жизнь заставит — пойду таскать мешки. Поступлю на курсы ювелиров или автомехаников. На худой конец, сяду за баранку...

Я сам все это говорил. И что же? Многие ли из нас уплотнили собой ряды американского пролетариата?

Лично я таких не знаю. У кого-то грант. Кому-то жена умная попалась. Кто-то преподает. Кто-то стал государственным паразитом.

К тому же, напоминаю, я говорю о средних писателях. Не об Аксенове, Войновиче или Синявском. Я говорю о тех, кто не имел признания в Союзе.

Да и здесь пока что его лишен.

(Немного обидно быть делегатом и теоретиком посредственности. Однако должен же кто-то исследовать этот вопрос.)

Все мои знакомые живы. Все что-то пишут. Подрабатывают на радио «Либерти». В одной нашей редакции что-то получают 16 человек. По соседству находится русское телевидение. У них еще человек двадцать. И так далее...

Вернемся к литературе.

«Ардис» выпустил мою «Невидимую книгу» по-русски и по-английски. Рецензии были хорошие. Но мало.

Самая большая рецензия появилась в газете «Миннесота Дэйли». Мне говорили, что в этом штате преобладают олени. И все же я низко кланяюсь штату Миннесота...

«Ардис» выпускает на обоих языках русские книги. Бродский советовал мне подумать об американских журналах. Он же рекомендовал меня замечательной переводчице Анн Фридман. Еще раньше я познакомился с Катей О'Коннор из Бостона.

Аня перевела мой рассказ, который затем был опубликован в журнале «Нью-Йоркер». Далее «Нью-Йоркер» приобрел еще три моих рассказа. Один должен появиться в течение ближайших недель. Остальные — позже.

Мне объяснили, что это большой успех. В Союзе о «Нью-Йоркере» пишут: «Флагман буржуазной журналистики...» Здесь его тоже ругают. Знакомые американцы говорят:

— Ты печатаешься в самом ужасном журнале. В нем печатается Джон Апдайк...

Я не могу в этом разобраться. Я все еще не читаю по-английски. Джон Апдайк в переводах мне очень нравится...

Курт Воннегут тоже ругал «Нью-Йоркер». Говорил, что посылал им множество рассказов. Жаловался, что его не печатают. Хемингуэя и Фолкнера тоже не печатали в этом журнале. Они говорят, Фолкнер писал чересчур хорошо для них. А Хемингуэй чересчур плохо.

Мне известно, что я не Воннегут. И тем более — не Фолкнер. Мне хотелось выяснить, чем же я им так понравился. Мне объяснили:

— Большинство русских авторов любит поучать читателя, воспитывать его. Причем иногда в довольно резкой, требовательной форме. Черты непрошеного мессианства раздражают западную аудиторию. Здесь этого не любят. И не покупают...

Видно, мне повезло. Воспитывать людей я не осмеливаюсь. Меня и четырнадцатилетняя дочка-то не слушается...

Действительно, русская литература зачастую узурпирует функции церкви и государства. И рассчитывает на соответствующее отношение.

Я не хочу сказать, что это плохо. Это замечательно. Для этого есть исторические причины. Церковь в России была довольно слабой и не пользовалась уважением. Литература же пользовалась огромным, непомерным, может быть, — излишним авторитетом. Отсюда — категорическая российская установка на гениальность, шедевр и величие духа. Писать хуже Достоевского считается верхом неприличия. Но Достоевский — один. Толстой — один. А людей с претензиями — тысячи.

Мне кажется, надо временно забыть о Достоевском. Заняться литературной техникой. Подумать о композиции. Поучиться лаконизму...

Кроме того, в сочинениях русских авторов преобладают мрачно-ватые гаммы. Это естественно. Мы прибыли из довольно серьезного государства. Однако смешное там попадалось не реже, чем кошмарное.

Трудно забыть, как сержант Гавриленко орал на меня:

— Я СГНИЮ тебя, падла! Вот увидишь, СГНИЮ!..

Грустить мне или смеяться, вспоминая об этом. Хотелось бы не путать дурное настроение с моральным величием.

Уныние лишь издалека напоминает порядочность...

Недавно я прочел такую фразу у Марамзина:

«Запад интересуется нами, пока мы русские...»

Это соображение мне попадалось неоднократно. В самых разнообразных контекстах. У самых разных авторов.

То есть мировая литература есть совокупность национальных литератур. В самых ярких, блистательных образцах. Чем национальнее автор, тем интернациональнее сфера его признания...

Это соображение вовсе не кажется мне бесспорным. Хотя я и не решаюсь его опровергать. Теория — не мое дело.

Я только хочу привести несколько фамилий.

Иосиф Бродский добился мирового признания. Его американская репутация очень высока.

При этом Бродского двадцать лет упрекают в космополитизме. Говоря, что его стихи напоминают переводы с английского. Об этом писали Рафальский, Гуль и другие, более умные критики. И у Бродского есть материал для подобных оценок. В его поэзии сравнительно мало национальных черт. Хотя ленинградские реалии в его стихах точны и ощутимы.

Мне кажется, Бродский успешно выволакивает русскую словесность из провинциального болота.

А раньше этим занимался Набоков. Который еще менее национален, чем Бродский.

Два слова о Набокове. Я не хочу сказать, что ему противопоставлена русская традиция. Просто она живет в его творчестве наряду с другими. Лужин, например, типично русский характер. Гумберт принадлежит к средневропейскому типу. Мартын Эдельвейс — вненационален, хоть и уезжает бороться с коммунистами.

Очевидно, самое русское в Набокове — литературный язык. (Пока он его не сменил.)

Вспомните Алданова, Ремизова, Зайцева, Куприна. Это были необычайно русские писатели. Притом очень высокого класса. А мирового признания добился один Набоков.

Я думаю, понятие «мировая литература» определяется не только уровнем. Не только качеством. Но и присутствием загадочного обшечеловеческого фермента.

Я думаю, национальное и обшечеловеческое в творчестве живет параллельно. И то и другое сосуществует на грани конфликта. Может быть, противоречит одно другому. И при этом в каком-то смысле дополняет...

Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Разумеется, гениальным провинциалом. Даже «Крейцерова соната» — провинциальный шедевр.

А теперь вспомним Чехова. Например, его любимую тему: раскачивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы, что тут особенного. Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе.

А Чехов сделал на этом мировое имя. Благодаря обшечеловеческому ферменту.

Уж каким национальным писателем был Лесков! А кто его читает на Западе?!

Чрезвычайно знаменателен феномен Солженицына, который добился абсолютного мирового признания.

И что же? Запад рассматривает его в первую очередь как грандиозную личность. Как выдающуюся обшечественную фигуру. Как мужественного, стойкого, бескомпромиссного человека. Как историка. Как публициста. Как религиозного деятеля.

И менее всего как художника.

Мы же, русские, ценим в Солженицыне именно гениального писателя. Выдающегося мастера словесности. Реформатора нашего синтаксиса. Отдавая, разумеется, должное его политическим и гражданским заслугам.

По-моему, тут есть над чем задуматься...

Мне кажется, у литераторов третьей волны проявляется еще одна не совсем разумная установка. Мы охвачены стремлением любой ценой дезавуировать тоталитарный режим. Рассказать о нем

всю правду. Не упустив мельчайших подробностей. Затронув все государственные и житейские сферы.

Стремление, конечно, похвально. И черная краска тут совершенно уместна. И все-таки, задача кажется мне ложной для писателя. Особенно, если превращается хоть и в благородную, но самоцель.

Об ужасах советской действительности расскажут публицисты. Историки. Социологи.

Задача художника выше и одновременно — скромнее. И задача эта остается неизменной. Подлинный художник глубоко, безбоязненно и непредвзято воссоздает историю человеческого сердца...

Я думаю, у литераторов третьей волны хорошие перспективы на Западе. Нашли дорогу к читателям — Аксенов, Максимов, Синявский, Войнович. Большой интерес вызывает творчество Соколова, Лимонова, Алешковского. Критика высоко оценила Мамлеева и Наврозова.

Ищет встречи с западной аудиторией благородное детище Григория Поляка — «Часть речи»...

Наверное, я пропустил десяток фамилий. Например, Ерофеева, автора шедевра «Москва—Петушки»... Конечно же — Игоря Ефимова, Марамзина, Некрасова.

Мы избавились от кровавадной внешней цензуры. Преодолеваем цензуру внутреннюю, еще более разрушительную и опасную. Забываем об унижительной системе аллюзий. О жалких своих ухищрениях в границах дозволенной правды.

Банально выражаясь, мы обрели творческую свободу. Следующий этап — новые пути, оковы, вершины литературного мастерства.

Как говорил Зощенко — литература продолжается.

Я, например, стал тем, кем был и раньше. Просто многие этого не знали. А именно, русским журналистом и литератором. Увы, далеко не первым. И, к счастью, далеко не последним.

Спасибо за внимание.

КР В СОЮЗЕ НАМ КАЗАЛОСЬ...

В Союзе нам казалось, что мы — демократы. Еще бы! Ведь здоровались с уборщицами. Пили с электромонтерами. И, как положено, — тихо не-навидели руководство...

Тоталитарный строй нам претил. Мы ощущали себя демократами.

И наконец сделали окончательный выбор. Подали документы на выезд. Приехали. Осмотрелись.

И оказалось, что выбрать демократию — недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.

Профессией надо овладеть. То есть — учиться. Осваивать навыки. Постигать законы мастерства.

Мы учимся демократии подобно тому, как учились ходить. Робко и неуверенно делаем первые шаги. Естественно, не обходится без падений и ушибов...

Скоро мы будем отмечать юбилей «Нового американца». За это время газета изменилась самым радикальным образом.

Я говорю не о количестве страниц. Не о принципах верстки. И даже не о качестве публикуемых материалов.

Произошло нечто более важное. Изменились мы сами.

Чего только не происходило за эти месяцы в редакции! То делались попытки установить непререкаемое единовластие. То, наоборот, — увести газету в дебри анархии и безответственности.

Часы напряженных дискуссий сменялись периодами расслабленно-го умиротворения. Турниры уязвленных амбиций чередовались с припадками взаимного обожания.

Шаг за шагом мы избавлялись от пережитков тоталитаризма. И процесс этот далеко не завершен. Но уже сейчас можно говорить о торжестве демократических принципов.

Есть обязанности у президента корпорации. И есть обязанности у наборщицы. Спорные вопросы обсуждаются на редакционных летучках. Если не удастся прийти к общему мнению — голосуем. Последняя статья Глезера обсуждалась четыре раза. И все-таки была отвергнута. Большинство голосовало против. За — только двое. Президент и главный редактор...

Разумеется, количественный принцип — не идеален. Истина далеко не всегда принадлежит большинству. Но меньшинству она принадлежит еще реже...

Любое учреждение представляет собой крошечную модель государства. У тоталитарной модели есть свои преимущества — оперативность, дисциплина, безоговорочная исполнительность. Но во имя этого приходится жертвовать главным — человеческим достоинством.

И потому мы — убежденные демократы...

Конечно, мы — не только сослуживцы. Не только — единомышленники. Есть у меня в редакции близкие друзья. Люди, которыми я восхищаюсь. Мнением которых чрезвычайно дорожу.

Стоит ли выделять их фамилии? Пожалуй — нет. Ведь это будет не демократично...

«Новый американец», № 46, 24—30 декабря 1980 г.

КР ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД...

Приближается Новый год. Время — подводить итоги. Время — загадывать желания.

Я вспоминаю прошлогодний конец декабря. Газеты еще не существует. Мы только говорим и думаем о ней. Мы строим планы. Прodelываем массу наивных, бессмысленных вещей...

Помню, я убеждал своих товарищей:

— Главное — заказать визитные карточки...

Опыт появится еще не скоро. А пока — нагромождение встреч, ошибок, разочарований...

Мы беззастенчиво обиваем пороги. Иногда нас обманывают. Чаще — бескорыстно и охотно помогают.

И все-таки, нет главного. Нет — денег...

Помню, как один из нас твердил:

— Клянусь, я ограблю банк!..

И наконец — телефонный звонок. Безумный крик Леши Орлова:

— Меттер (непечатное) раздобыл (непечатное) двенадцать тысяч (непечатное, непечатное, непечатное)!!!

Нас было четверо тогда. Четверо совершенно разных людей. Четверо нищих эмигрантов, готовых бороться за свое призвание.

Нас объединяла жажда работать по специальности. И полное нежелание заниматься чем-либо другим. Наши жены критически хмурили брови...

Но вот появилась газета. Одни проблемы сменились другими. Чистого энтузиазма оказалось мало. И профессионального опыта — мало. И собранных денег было — мало, мало, мало...

Мы плутали в джунглях американского бизнеса. Ломились в открытые двери. Изобретали бесконечные велосипеды.

Мы делали ошибки. Публиковали вздорные статьи. Нарушали границы дозволенного. Робели перед авторитетами.

Ощущение контакта с читателями поддерживало нас. Помогало устоять в неравной конкурентной борьбе.

Трижды мы переживали угрозу краха. Трижды выворачивали свои карманы. Трижды обращались за помощью к читателям...

Газета стала реальностью. Из маленького этнического курьеза она превратилась в жизнеспособный духовный центр. Ощущение чуда сменилось повседневными заботами...

Мы были очень разными людьми. И это должно было сказаться. Ведь речь шла не только о принципах газетной формы. Речь шла о новых жизненных принципах.

Что лучше — копировать другие издания? Или — создавать новую русскую прессу? Пытаться угодить всем? Или действовать в расчете на конкретного читателя? Решать вопросы сообща или подчиняться единственному непререкаемому голосу?..

Нас осталось трое. Это было грустно и неизбежно.

Затем пришли другие люди. Появились новые друзья и единомышленники, молодые, яркие, талантливые...

Скоро Новый год. Время подводить итоги. Время загадывать желания. В этот день мне хочется сказать:

— Нам повезло! И вам так повезет! Увидите...

«Новый американец», № 47, 31 декабря — 6 января 1981 г.



— Кто такой Маразмин?

— Карамзин эпохи позднего маразма.

ПИСАТЕЛЬ В РОЛИ КАССАНДРЫ

Выступление на пресс-конференции в Лос-Анджелесе

В ходе конференции состоялось несколько бурных дискуссий.

Проблематика одной из них была сформулирована так:

1. Русская литература — две или одна?
2. Каким представляется вам будущее русской литературы.

Две литературы или одна?

Мне кажется, вопрос сформулирован недостаточно четко. Речь должна идти не о литературе. Речь может идти только о литературном процессе. О различных формах, уровнях и тенденциях литературного процесса.

Литература это то, о чем пишут в школьных учебниках. Мы же, собравшиеся здесь журналисты, беллетристы и критики — независимо от разряда дарования — являемся участниками литературного процесса.

В этом процессе сосуществуют различные тенденции. Причем не одна и не две. А целых три. Как в русской сказке:

1. Официальная верноподданническая тенденция в Союзе.
2. Либерально-демократическая — там же.
3. Зарубежная часть процесса, включая самиздат. (Поскольку самиздат тяготеет к русской литературе в изгнании.)

Сейчас эти тенденции кажутся антагонистическими, взаимоисключающими. Хорошо бы, конечно, взглянуть на это дело через сто или сто пятьдесят лет. Когда нынешняя литература осядет в школьных учебниках. Но это сделать трудно.

Можно поступить иначе. Можно поступить — наоборот. А именно, взглянуть отсюда — на литературу столетней давности.

И сразу появятся впечатляющие аналогии.

Оказывается, тройственный процесс существовал всегда. Имела место охранительная тенденция (Лесков). Либерально-обличительная (Щедрин). Самиздатская (Чернышевский). А также литература в изгнании (Герцен).

Издалека литература прошлого кажется ровной и спокойной. И в ней царит относительный порядок.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что эту литературу сотрясали невероятные катаклизмы.

Пушкин добивался издания «Бориса Годунова» шесть лет. «Скупого рыцаря» — десять лет. «Медный всадник» так и не был опубликован при жизни автора.

Белинский и Добролюбов так и не увидели своих книг.

«Горе от ума» вышло через несколько десятилетий после смерти автора.

«Философические письма» Чаадаева опубликованы в 1907 году...

Помимо катаклизмов имели место фантастические несуразности.

Неутомимый обличитель режима Салтыков-Щедрин был губернатором. (Это такая же дикость, как если бы «Чонкина» написал Андропов.)

Самиздатский автор Грибоедов был дипломатом. (Вроде Добрынина.)

Революционер Герцен жил в Лондоне на доходы от своего поместья. (Вообразите, что сейчас в Москве переиздали «Звездный билет» Аксенова и уплатили ему гонорар.) И так далее.

Кто сейчас задумывается об этом? Время сглаживает политические различия. Заглушает социальные мотивы. И в конечном счете наводит порядок.

Взаимоисключающие тенденции образуют единый поток.

Белинского и Гоголя мы упоминаем через запятую. А ведь разногласия между ними достигали крайней стадии. За одно лишь цитирование письма Белинского — Гоголю Достоевского чуть не расстреляли.

Время перемещает акценты. Ретуширует контуры. Отодвигает на задний план минутные исторические реалии.

Достоевский написал «Бесов» как идеологический памфлет. А мы читаем «Бесов» как гениальный роман. Дело Нечаева забыто, а фигура Степана Трофимовича Верховенского преисполнена жизни.

Герцен создавал «Былое и думы» как политические мемуары. Отображая многообразные социальные коллизии. Прибегая к тончайшей идеологической нюансировке.

Мы же читаем «Былое и думы» как великолепную прозу.

Перечитайте через двести лет солженицынского «Теленка». Кто будет интересоваться личность писателя Тевекеляна? Или подробности взаимоотношений литфонда с оргкомитетом ЦК? Останется лишь великолепная проза.

Перечитайте через двести лет «Иванькиаду» Войновича. Останется замечательная трагикомедия...

Сто лет назад было все. Были правоверные. Были либералы. Присутствовал самиздат. Издавался за границей «Колокол».

Особняком возвышался Лев Толстой с его духовными поисками. Сейчас это место занимает, допустим, Битов. Или — покойный Трифонов. (Я не сравниваю масштабы дарования. Я говорю о пропорциях.)

Мы восхищаемся деревенской прозой — Распутина, Белова, Лихоносова. И эта тенденция жила сто лет назад. Вспомните Слепцова, Решетникова, Успенского.

Было все. И всякое бывало.

Любой из присутствующих может обнаружить в русской культуре своего двойника...

Мне кажется, я ответил на заданный вопрос.

Литературный процесс разнороден. Литература едина.

Так было раньше. И так, по-видимому, будет всегда...

Каким представляется мне будущее русской литературы?

Замятин говорил:

«Будущее русской литературы — это ее прошлое!»

Заявление мне кажется чересчур драматическим и отражает лишь реальное положение вещей.

Будущее, строго говоря, уже не раз имело место.

Будущее «Золотого века» литературы обрело черты декаданса. И в этом качестве благополучно миновало. Будущее романтической традиции осуществилось в крайнем нигилизме. И так далее.

Время соединяет различные тенденции литературного процесса. Территориально-гражданские признаки оказываются малосущественными

Будущее литературного процесса определит мера таланта его участников.

Есть разница между Огаревым и Фетом? Безусловно. Однако не в сфере мировоззрения, а в уровне таланта. Огарев был революционером, а Фет — крепостником. Но вопреки своей исторической обреченности Фет писал куда лучше.

Аполлон Григорьев был почти что люмпеном. (Вроде Льва Халифа.) А Тютчев — камергером. (Вроде Седых.) Сейчас это абсолютно не важно.

Внуки будут оценивать наши достижения только по эстетической шкале. Останется единственное мерило — качество. Будь то — пластическое качество, качество духа, юмора, интеллекта...

История сгладит и отодвинет на задний план жизненные обстоятельства. Обесмыслит самую злободневную гражданскую подоплеку. Перечеркнет конкретные реалии.

Вот мы без конца цитируем строки из «Евгения Онегина». Например, такие:

... И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым...

Сейчас досужие исследователи установили, что пирог — это вовсе не пирог. А гусиный паштет. А «нетленный» он потому, что консервированный. Действительно, в те годы изобрели фантастическую новинку — процесс консервирования. Что и было запечатлено цепким на детали Пушкиным.

Кого это сейчас волнует? Одного Юрия Михайловича Лотмана... Реалии забыты, а стихи живут, потому что хорошо написаны. Только качество определит литературу будущего.

Проза Солженицына выше прозы Леонидова именно качеством. И ничем другим...

Я часто слышу:

«Талант может развиваться в эмиграции, усовершенствоваться, заявить о себе. Родиться в эмиграции талант не может...»

Я не разделяю этого убеждения. Мне кажется, рождение таланта абсолютно непредсказуемо, иррационально внелогично. Тут может произойти все, что угодно.

Например, появление Аксенова, Войновича, Гладылина — было естественным. Оттепель, кончина Сталина... И тому подобное.

А появление Солженицына — неестественным. Более того — противоестественным. Вообразите капитана артиллерии. Потом заключенного. Потом ракового больного в азиатском захолустье. Потом рязанского учителя. И вдруг — гениального писателя...

Солженицын растил свой талант двадцать лет. Затем написал четыре тысячи гениальных страниц.

А Ерофеев двадцать лет пил водку. Затем написал «Москва—Путушки» (65 страниц). И снова пьет водку.

Оба — настоящие писатели. Где же логика?

В эмиграции может родиться гениальный писатель. А может и не родиться.

Это логически непредсказуемо, как и многое другое в жизни и творчестве.

Контуры литературы будущего можно различить, исследуя литературу прошлого. Как известно, все повторяется.

Мерилом будет — качество. Это надежный, а главное — единственный серьезный критерий. Может быть, любой из нас станет первой жертвой этого критерия. Что не делает его менее справедливым. А главное — менее единственным.

Мы уже говорили на тему: «Две литературы или одна?» По сути — это разговор о будущем литературы.

Литература едина. В ней есть элементы, присущие любой здоровой культуре. Имеется — аванград, реалисты, эксцентрики. Наличествует — сатира. Присутствует — нигилизм.

Будущее литературы — в осознании собственных прав. И собственных возможностей.

Из методологической разработки относительно того, как жить и «что делать», литература превратится в захватывающее явление самой жизни.

Из наставления по добыче золота она превратится в сокровище.

И не важно будет, трудом добыто это сокровище или получено в наследство!

Спасибо за внимание.

КР Я ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ...

Я всегда гордился своей аккуратностью. Хотя гордиться тут особенно нечем. Известно, что повышенная аккуратность — свойство заурядных натур.

И все-таки я гордился. Гордился тем, что своевременно возвращаю долги. Тем, что редко опаздываю. Тем, что, как правило, выполняю свои обещания.

Это готова подтвердить даже моя собака. Уже десять лет я гуляю с ней в одни и те же часы...

Короче — педант, аккуратист, бескрылая личность. Чем и горжусь.

И больше всего горжусь тем, что сразу же отвечаю на письма. Вернее — так было раньше. А теперь — все иначе...

Ежедневно мы распечатываем сотни писем. Значительная часть приходится на мою долю. Письма — самые разные. Деловые и личные. Восторженные и негодующие. Есть и анонимные письма. Это нормально. Это даже приятно. Поскольку можно не отвечать...

Когда газета начала выходить, писем было мало. Три-четыре в день. Через несколько месяцев они хлынули бурным потоком. Затем обрели мощь Ниагарского водопада.

Возникла довольно серьезная проблема. Как быть? Секретарша и без того завалена работой. Объем газеты увеличивается. Нагрузка у каждого сотрудника редакции огромная. Времени совершенно не хватает.

А письма все идут. Приблизительно их можно классифицировать следующим образом:

1. Деловые. 2. Творческие. 3. Личные.

На деловые письма мы отвечаем сразу. Конструктивные предложения обсуждаем на собраниях. Критические замечания стараемся учитывать.

Резкость формы при этом нас мало смущает. Лишь бы критика обусловливалась доброжелательным чувством.

Шипение злобствующих неудачников — игнорируем. Ведь зависть способствует любому успешному начинанию.

С творческими письмами хлопот гораздо больше. Нам шлют стихи и прозу. Фотографии и рисунки. Статьи и корреспонденции. Документы и вырезки. Мемуары и анекдоты.

Лучшие вещи мы печатаем. Неудачные произведения — отвергаем. Обсуждать и рецензировать — не считаем целесообразным.

Возвращать отвергнутые рукописи — не принято. (Снять копию здесь — не проблема.)

Все это — обычные редакционные правила. Принятые как в Союзе, так и на Западе...

А вот с личными письмами — катастрофа. Они загромождают мой письменный стол. И за каждым безответным письмом — обида, горечь, требовательное недовольство. Что мне делать — не знаю...

Друзья мои! Вообразите лист бумаги размером с озеро Мичиган. И авторучку с корабельную мачту. Этой громадной воображаемой авторучкой на этом огромном воображаемом листе бумаги я пишу:

— БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, МОИ ДОРОГИЕ, В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ! СПАСИБО ЗА ВСЕ. И ПРОСТИТЕ МЕНЯ...

«Новый американец», № 48, 7—13 января 1981 г.

КР С ДЕТСТВА НАС УБЕЖДАЛИ...

С детства нас убеждали, что мы — лучше всех. Внушали нам ощущение полного и безграничного совершенства.

Советское — значит, отличное! Наше учение — самое верное! Наши луга — самые заливные! Наши морозы — самые трескучие! Наша колбаса — самая отдельная! И так далее...

Самовлюбленный человек производит жалкое впечатление. «Я — умный, добрый и хороший!» — звучит неприлично.

Коллективное самолюбование выглядит не менее глупо, чем персональное. «Мы — умные, добрые и хорошие!» — тоже не звучит.

Видимо, многие думают иначе. Кричать о себе: «Я — хороший!» — не решаются. А вот утверждать: «Мы — хорошие!» — считается нормальным...

Народ — есть совокупность человеческих личностей. История народа — совокупность человеческих биографий. Культура, религия — необозримая совокупность человеческих деяний и помыслов.

Повышенное расположение к себе — есть нескромность. Повышенное расположение к своему народу — шовинизм.

Заниматься самовосхвалением — непристойно. Восхвалять свой народ, принижая другие, — так же глупо и стыдно.

Прославить человека могут лишь его дела. Так и слава народа — в его деяниях. В его истории, религии, культуре...

Мы создали первую в Америке еврейскую газету на русском языке. Не потому, что мы — лучше. И не потому, что мы — хуже. А потому, что мы — есть. И будем...

В Ленинграде у меня был знакомый — Гриша Певзнер. При слове «еврей» — лез драться. Гриша считал, что «еврей» — оскорбление.

Например, его спрашивали:

— Вы — еврей?

И Гриша становился в позицию. На его лице вспыхивали багровые пятна. На скулах появлялись желваки.

Он говорил:

— Что ты хочешь этим сказать?!

Гриша был уверен, что защищает свое национальное достоинство. Расписываясь при этом в своей неполноценности.

У мировых знаменитостей Гриша выискивал наличие еврейской крови. Считал евреями Пушкина и Блока. Но при этом утверждал, что марксизм выдумал Энгельс — гой и забулдыга...

Гришу можно понять. Гриша настрадался от антисемитизма.

Но ведь мы-то уехали. (Кстати, Гриша тоже.) Так давайте чуточку расслабимся. Давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками.

Любовь к своему народу — естественное чувство. Да и любовь к себе — естественна. Люби на здоровье. Люби, но помалкивай...

Чтобы не получилось — «Еврейское — значит отличное!»...

«Новый американец», № 49, 14—20 января 1981 г.

ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После конференции в Лос-Анджелесе

...А значит, никто никого не обидел,
и литература продолжается...

М. Зощенко

Мной овладело беспокойство

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. А я по его настоянию — был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю — тем более. Делаю это лишь в случаях крайней необходимости. (Таковым представляется мне рывок из Ленинграда в Австрию. Через таможду и ОВИР..)

Потом начались загадочные разговоры:

— Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря... Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы...

— Скандал? — говорю.

— Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации...

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе. Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом...

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъяснил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел...

Припоминаю, что говорил на эту тему ленинградский автор Вольф:

— Хорошо, когда тебя зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако самое лучшее, когда зовут, а ты плюешь...

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или, наоборот, — Пентагоном. Как водится...

Я решил — поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

Как известно, снобизм является двигателем прогресса.

Был такой исторический случай. Академик Бунин пригласил в ресторан молодого коллегу — Набокова. Самонадеянный Набоков отказался. Как все говорили потом — из снобизма.

Значит так. Игнорировать Бунина — снобизм. И приставать к Бунину — снобизм. Кругом снобизм проклятый. Еду..

Загадочный пассажир, или Уроки английского

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала «Время и мы».

Перельман — человек загадочный. И журнал у него загадочный.

Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка...

Я спросил Перельмана:

— Как у вас с языком?

— Неплохо, — отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал «Время и мы»...

В Лос-Анджелесе нас подждал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал, потому что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

— Лос-Анджелес из э биг сити?

— Ес, сэр, — находчиво реагировал молодой человек.

Во дает! — завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередную вопрос:

— Калифорния из э биг стейт?

— Ес, сэр, — не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

— Америка из э биг кантри? — спросил Перельман.

— Ес, сэр, — ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

Культура начинается с излишеств

Нас поселили в гостинице «Хилтон». Каждого — в отдельном номере. Причем с двумя кроватями.

Лично я усмотрел в этом факте метафизический парадокс. Номер предназначен для одного человека. А кроватей — две. Как хочешь, так и понимай.

Человек я пасмурный, семейный. Путешествую один. Зачем мне вторая кровать?

Я задумался и наконец все понял. Я понял, что вторая кровать — излишество. То самое бессмысленное излишество, которое необходимо цивилизованному человеку.

Необходимое излишество — вот она, чеканная метафизическая формулировка.

Вспомните короля Лира. Барышни хотели, чтобы старик доволествовался всем необходимым. А он с упорством добивался лишнего. И в этом его страшная трагедия. Трагедия бывшего диктатора, которого лишили излишеств. Трагедия человека, стоящего на грани цивилизации. Вроде нас...

Дело Синявского

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях.

И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички... Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли... Ему хорошо...

Говорят, его жена — большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

— Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше никому..

Короче, мне она понравилась.

Разумеется, у нее есть что-то мужское в характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь — загрызут.

Но по отношению к людям доброжелательным Синявские чрезвычайно милы.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.



Андрей Синявский

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

— Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось понятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидел Синявский...

Дезертир Лимонов

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступающих третировал Лимонова. Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

«...Господин, который не желает быть русским писателем...»

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!

Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе — и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

— Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом... Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

— Да и черт с ним!..



Эдуард Лимонов

И даже не расстрелял академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто «русский писатель» — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегающий этим званием, — сатана и монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

— Я — русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой...

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно говоря, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.

И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова. И Даниил Гранин — еврей. И Афанасий Фет немножко еврей. И мерзавец Чаковский еврей...

Допустим, в рассказах Бабеля фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса — марсиане. В рассказах Сетона-Томпсона — орлы, лисицы и бараны... Разве Уэллс — марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший — это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским — малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию — значит, изменник. Не стоит так горячиться.

Лимонов — талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонов — прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был Жэне. Был Луи Фердинанд Селин. Кажется, еще жив великий Уильям Берроуз...

Лимонов не превзошел Генри Миллера. (А кто превзошел?)

Хотя и с Леонидовым его рядом не поставишь...

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова — Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба — талантливые представители «черного» жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным...

Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант — большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес, главным образом, у родни...

Старик Коржавин нас заметил

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

— Главное — не обижайте Коржавина!

— Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю его публицистику. Мне импонирует его прямота...

— Коржавин — человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.

— Почему же именно меня?

— Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.

— Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите...

— Если Коржавин вас обидит, не реагируйте. Потому что Коржавин — ранимый.

— Позвольте, но я тоже ранимый! И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!

— Коржавин — особенно! Так что не реагируйте...

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов.

Он сказал:

— Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бобышев — талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Нам тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

— Была в старину такая газета — «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили: «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил: «Кормимся, батюшка, кормимся...»

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать.

Я взял микрофон и ответил:

— Я горжусь тем, что в «Новом американце» работают двенадцать журналистов. Что они при этом не умирают с голоду. Что они миновали велфэйр и нелегкий физический труд. Я горжусь тем, что «Новый американец» дал им возможность работать по специальности...

Если дела будут идти хорошо, мы предоставим такую же возможность уважаемому Науму Коржавину!

В ответ Коржавин буркнул что-то непочтительное.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Нема извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нему. Нема извиняется так: «Ты, конечно, извини. Но все же ты — говно!»

Коржавин минуту безмолвствовал. Затем нахмурился и выговорил:

— Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал...

Дорогой Наум Моисеевич! Мы очень любим ваши стихи. С удовольствием напечатаем вашу публицистику. Все, что сочтете нужным прислать...

И никаких обид! Мы, как я уже писал, — не хризантемы. Тем более, что на фоне Андрея Седых вы — ангел!

В окопах «Континента», или Малая земля Виктора Некрасова

Гражданская биография Виктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгнал из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия — прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это — будучи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан...

На конференции он был представлен в двух лицах. (Слово «ипостаси» — ненавижу!) Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала



Виктор Некрасов

он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые «легкомысленные» очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности...

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию «Континента». Формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов — свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно, он читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво представляет на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями. (Виктор Платонович так себя и называет — «облезлый голубь мира».)

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

«Континент» — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидаться с друзьями. Обнять того же Нему Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, приехал с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло — Цветков, Лимонов, Бокков.

— Почему «Континент» искажил стихи Цветкова?

— Почему Горбаневская обругала Лимонова?

— Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов...

Я не говорю, что журнал Максимова — вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова — несостоятельны. Я сам имею претензии к Максиму. Все правильно...

Я только хочу спросить — при чем здесь Некрасов?

Да еще — втроем на одного. Да еще — такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться, — это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он в президиуме, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большущим скандалом...

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас...

Кумиры нашей юности

После конференции я давал Гладилину интервью на «Либерти». Гладилин спросил:

— Что вас особенно поразило?

Я ответил:

— Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.

Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршутам...

Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллин, увлекались джазом...

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский... Наконец, Солженицын... Но это уже касалось взрослых людей.



Василий Аксенов

Синявский был недостижим. Я бы сказал — морально недостижим. Солженицын — тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменились. Гладилина увлекают сатирические фантазмагии. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры...

Юность неповторима... Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы и нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо...

Нам было хорошо.

Величественная «Панорама»

В кулуарах меня остановил Половец. (Неплохая фамилия для русского патриота!)

Половец — глава калифорнийского издательства «Альманах». А также — редактор газеты «Панорама».

Зовут его — Александр. Человек он по виду — деловой и крепкий.

Половец был сдержанно учтив. Правда, на лице редактора блуждала едва заметная тревожная улыбка.

Он дал мне четыре номера «Панорамы». В отеле я их перелистал.

Газета еженедельная, шестнадцать страниц. Оформлена превосходно, с выдумкой. Лаконичная верстка, замечательная полиграфия.

Разумеется, есть недостатки. Явно не хватает проблемных материалов. И вообще — мало текста. А рекламы — многовато для шестнадцати страниц.

И все-таки я уверен, что дело пойдет...

Листая газету, я кое-что понял. Разгадал истоки тревожной улыбки на лице Саши Половца. Газета «Панорама» содержала умеренные колкости в наш адрес. Что-то говорилось и насчет моих злосчастных редакторских колонок. Мол, зачем написал про собаку?! (Алешковский называет это мое произведение — «Болонка редактора».)

Я проанализировал выпады и убедился, что они корректны. Что они находятся в рамках дозволенного. Здоровая товарищеская насмешка. То есть все о'кей! И никаких обид...

Когда-то половцы были довольно воинственным народом. Затем последовали некоторые исторические катаклизмы...

От души желаем «Панораме» мирного развития!

Трусцой против ветра

Александр Янов — давний оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он — учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам.

У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегаёт трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане «Моне»...

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема.

Солженицын отсутствовал.

Позднее, на банкете в ресторане «Моне», когда докладчик ужи-нал и танцевал, одна язвительная женщина сказала:

— Янов отмечает свой триумф!..

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее — единственным ощущением. А именно:

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым — невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов — добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропась между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

— Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

— Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост — шесть футов и четыре дюйма...

Оба правы. Хоть и говорят на разных языках...

Ромашка, например, для крестьянина — сорняк. А для влюбленного — талмуд.

С точки зрения химии «Мыслитель» Родена и глиняная копилка — близнецы...

Солженицын — гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу.

Янов — блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу...

Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще — после банкета в ресторане «Моне»...

Священный беспорядок

В ходе конференции определились три дискуссионных поля.

1. «Континент» и другие печатные органы.
2. Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.
3. Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царил невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу — бессмысленно. Слава Богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Цензура отсутствует. Читатели оценят, вникнут, разберутся...

Мотивы второго дискуссионного тура — из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блистали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий...

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?!

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как тунеядец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин...

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!..

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой.

Да и Лимонов не последний человек...

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову шестьдесят, и работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти — модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.

Мне кажется, так и должно быть!

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантастическая путаница!

Последнее слово

Вероятно, я должен закончить примерно так:

В ходе конференции появилось ощущение литературной среды. Чувство многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях...

Так и закончу.

Прощай, Калифорния! Прощай город ангелов, хотя ангелов я чего-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай... Я чуть не сказал — прощай, литература! Sorry. Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет...

«Новый американец», № 74, 12—18 июля 1981 г.

КР ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАЗАД...

Месяца четыре назад в редакции произошло знаменательное событие. Я бы даже назвал его — историческим. А именно — у нас восторжествовали принципы коммунистического труда.

Вот как это было.

Мы переживали очередные финансовые затруднения. Мучительно выискивали пути дальнейшей экономии. Урезали расходы по всем без исключения статьям.

Наконец были исчерпаны все мыслимые средства. Меттер стал изысканно любезным, что выражает у него крайнюю степень подавленности.

Цифры упорно не желали сходиться. Каждый номер газеты обходился в четыре тысячи. А выручали мы за него — три с половиной. Орлов засыпал и просыпался с калькулятором в руке.

А дефицит неумолимо возрастал. В голосах кредиторов звучали металлические нотки.

Мы решили назначить экстренное совещание. Долго молчали с вытнутыми физиономиями.

И вдруг прозвучало грозное, загадочное слово — мораторий.

Я забыл, кто его произнес. Наверное — Вайль. Он у нас самый решительный.

Что означает это слово, я тогда не знал. Да и сейчас плохо знаю. Но общий смысл — доступен. Мораторий — это когда тебя лишают заработной платы. Частично или полностью.

— Необходим мораторий! — твердо произнес Вайль.

И тут началось самое поразительное.

Сотрудники «Нового американца» поднимались один за другим. Коротко обрисовывали свое материальное положение. Честно раскрывали дополнительные источники существования. Затем назначали себе прожиточный минимум. Или совсем отказывались получать зарплату.

Выявилась такая картина. Кое-кто подрабатывает на радио «Либерти». У кого-то жена имеет нормальную человеческую профессию. (О женах я еще напишу в ближайшей колонке редактора.) У кого-то — стипендия. Батчан, например, — вегетарианец. Люба Федорова — на диете. И так далее.

Соответственно были понижены оклады. В следующих жестких пределах: от нуля до категорического минимума.

Честно признаюсь, в ту минуту я испытал огромное душевное волнение.

Газета в очередной раз была спасена...

Это было четыре месяца назад. Прошли времена финансовых катаст-

роф. Положение необратимо стабилизируется. А мне не дает покоя курьезное соображение:

Так ведь можно невзначай и коммунизм построить!.. Назло советским товарищам...

Ну, от коммунизма мы, пожалуй, воздержимся. А вот приличная газета – будет! Уж это – как минимум...

«Новый американец», № 50, 20—26 января 1981 г.

КР В ЭМИГРАЦИИ НА КАЖДОМ ШАГУ...

В эмиграции на каждом шагу дают о себе знать черты матриархата. Я знаю десятки семей, в которых именно женщинам принадлежит главенствующая роль.

Женщины более добросовестны и непритязательны. У них в большей степени развито чувство ответственности. Они даже физически выносливее.

Поэтому женщины быстрее и легче адаптируются. Успешнее преодолевают языковой барьер. Лучше приспосабливаются к новым условиям.

Вполне обычной представляется такая картина. Женщина работает по восемь часов. Три часа проводит в сабвее. (Где час считается за три, как на войне.) Вечером — дети, прачечная, супермаркет. И так далее...

А мужчина тем временем размышляет о судьбах планеты. О будущем России. О путях демократии. Об издержках и преимуществах свободы.

Мужчина вещает и пророчествует. Сеет разумное, доброе, вечное...

Мужчина сеет, а женщина — пашет. На фабриках и в пиццериях. За три пятьдесят в час...

Лично я пролежал на диване ровно год. Моя жена работала с утра до ночи. За ужином она дремала под мои рассуждения на тему свободы и автократии.

Мне вспоминаются дни перед отъездом. И мои решительные заявления:

— Главное — обрести свободу. Остальное не имеет значения... Буду мыть посуду в ресторане. Или таскать мешки...

Ленинградцы всхлипывали, слушая мои предотъездные речи.

Однако выяснилось, что мыть посуду в ресторане — тяжело и неприятно (я и дома-то мою ее без энтузиазма)...

Короче, обрел я свободу и лег на диван. А жена работает. Так прошел год...

Наконец мы решили издавать газету. Моя жена сказала:

— Ничего, я привыкла. Ты и в Союзе был нестандартной личностью.

— Вот увидишь, — говорю, — Меттер сулит заманчивые перспективы.

— Бедная Таня, — неопределенно высказалась моя жена...

Прошел год. «Новый американец» крепнет и обретает стабильность.

В Форест-Хиллсе я стал не менее популярен, чем Консон.

Хотя на доходах все это отражается слабо...

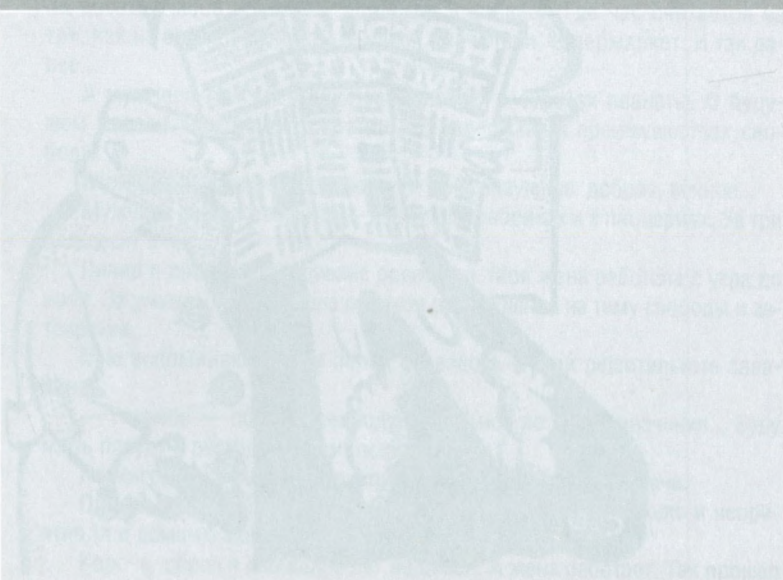
Тем не менее я хочу сказать:

— Ирина, Галя, Таня, Рая, Лена! Еще немного, и мы заживем по-человечески! Простите нас! И пожелайте нам удачи!

«Новый американец», № 51, 27 января — 2 февраля 1981 г.



Дзэн-буддист с лопатой





СЕМЬ НОТ В ТИШИНЕ

На фоне шумного, роскошного, сорокаэтажного Манхэттена Гринич-Вилледж кажется тихой лужайкой. Невысокие здания, узкие переулки, маленькие экзотические кафе и рестораны...

Здесь издавна селилась нью-йоркская артистическая и художественная богема — поэты, живописцы, джазовые музыканты. В основном — непризнанные, бедные и доброжелательные. Ощущение живого, вдохновенного творчества и сейчас преследует здесь гостя на каждом шагу.

В бесчисленных магазинах полно товаров, изготовленных не фабричным способом, а руками. Вот сумки из грубой, необработанной кожи. Вот литые и кованые перстни. Самодельные гитары и банджо. Деревянные сандалии. Шахматы, вырезанные из ясеневых чурок. Трубки из монгольского корня. Изысканные плетеные циновки. Пестрые бумажные абажуры.

Прямо на асфальте у ограды сквера — десятки картин. Здесь можно встретить работы любого направления и стиля. От изображения сентиментальных ромашек до причудливых зигзагов авангардизма...

Мы бродим по Гринич-Вилледж.

Шершавые и приглушенные звуки контрабаса сменяются режущими воплями трубы. Мерное позвякивание струн — рыданиями геликона. Дробный стук барабана — хоровым пением...

Здесь не ощущается преобладания какой-то одной этнической группы. Распахнуты двери сирийских, пакистанских, греческих кофеен. Напротив ирландского бара — еврейская кошерная лавка. Запах турецкого кофе перемешан с ароматом мексиканских лепешек...

Люди здесь одеваются так, как считают нужным. В толпе явно преобладает молодежь. Навстречу шагает юноша в синем бурнусе. Следом — затянутый в кожу мотоциклист. Двое в пальто, напоминающих солдатские шинели. Девушка в серебристом платье. Ее подруга — в черной монашеской накидке...

Тут каждый чувствует себя естественно. Тут не делают людям замечаний. Тут не услышишь: «Ну и молодежь пошла...»

Не видно роскошных лимузинов, серых плащей и однообраз-

ных клерковских троек. Здесь живут артисты, бедный и веселый народ...

Три пологие ступеньки — вниз. Мы разглядываем витрину ночного джаз-клуба. На фотографии тощий лохматый парень в кожаных джинсах. Его глаза полузакрываются! И надпись:

«Корнелиус Прайс озорничает на альт-саксофоне»...

За спиной господина Прайса — негр-барабанщик. Представление начинается в одиннадцать тридцать...

Мы ужинаем в крошечном сирийском ресторане. Нам приносят розоватый чай в бумажных стаканчиках.

— Счастливо провести вечер, — улыбается хозяин...

В одиннадцать тридцать мы у порога джаз-клуба.

Это небольшая подвальная комната. В глубине ее — стойка бара. На стенах портреты джазовых гениев. Я узнаю Чарли Паркера, Тиллениуса Монка, Гиллеспи, Питерсона, Джанго.

В центре — два ящика, накрытые пестрой материей. Рядом установка с барабанами. По углам — четыре столика. Два из них свободны.

Мы садимся и заказываем вино.

Кто-то включает магнитофон.

Сначала появляется негр-барабанщик. Он в морской полосатой фуфайке и с тяжелыми бусами на груди. Он настраивает барабаны, помахав собравшимся рукой.

Затем в центре под яркой лампой оказывается мистер Прайс. В руках у него потерянный футляр с инструментом. На голове — жокейская шапочка.

Гости хлопают и кричат:

— Дуй, Корни! Дуй, мальчик! Начни с «Высокой, высокой луны»...

Мистер Прайс швыряет к ногам брезентовое пальто и достает саксофон. Хозяин протягивает ему бумажный стаканчик. Негр касается палочками малого барабана.

Наступает тишина. Корни Прайс вытирает ладони о джемпер. Негр делает глоток из стакана. Затем опускает его на пол между Корни и собой.

Топнув, Прайс начинает играть.

Я не очень-то разбираюсь в джазовой игре. Хотя какие-то основы были заложены еще в юности. Мне кажется, я способен разли-

чить подлинное вдохновение и шутовство. Непосредственность в обращении и заигрывание с публикой. Несдержанные порывы и глупые выходки, эпатирующие зал.

Корни играл добросовестно, честно. Без излишней старательности, но и без развязного парения в заоблачных далях. Если импровизации достигали высоких нот, Корни не облегчал себе задачу. Он кропотливо выпутывался из создавшегося положения.

В его игре звучал глубокий, выстраданный оптимизм. У него был чистый и сильный звук без визгливых концовок. Он играл так, как будто делает это в последний раз...

Барабаны звучали, как четкий пульс всего организма. Искусство барабанщика напоминало суховатую музыкальную графику. На этом бархатном фоне все ярче звучала живопись саксофониста Корнелиуса Прайса.

Они играли снова и снова. Некоторые мелодии я знал, некоторые слышал впервые. Среди них была джазовая интерпретация «Песни о встречном» Шостаковича.

Между выступлениями негр и Корни пили из одного стакана. Хозяин то и дело подливал им виски.

Я чувствовал какой-то странный душевный подъем. Мне казалось, я неожиданно ощутил всю глубину и разнообразие жизни. Всю меру своей причастности к общему ходу бытия...

Концерт продолжался часа три. Наконец хозяин откинул чехол и сам заиграл на маленьком пианино. Корни, подпевая, возвышался у него за спиной.

Затем музыканты подходили к столикам и беседовали с гостями. Видимо, это были их знакомые. А может быть, и нет...

Я задал Корни Прайсу единственный вопрос:

— Ты счастлив, когда играешь?

— Я живу, — ответил мистер Прайс, — моя душа живет. У каждой души свои причуды. Одна душа хорошо считает на компьютере. Другая предпочитает бейсбол. А вот моя душа играет на саксофоне. И без этого она мертва...

Мы вышли на улицу глубокой ночью. Тротуары были заполнены народом. Молодые люди громко переговаривались и смеялись.

На улице было светло, как днем...

КР ВСЕ МЫ ГОТОВИЛИСЬ...

Все мы готовились к отъезду на Запад. Каждый по-своему.

Самые дальновидные занимались английским. Самые практичные обзаводились кораллами и хохломой.

Кто-то учился водить автомобиль. Кто-то фотографировал свои рукописи...

Мой сосед Григорович вывез два ратиновых отреза на пальто. (В результате, говорят, сшил из них чехол для микроавтобуса...)

Лично я собирал информацию. Мне хотелось трезво и объективно представлять себе будущую жизнь.

Я знал, что литература в Америке источником существования не является. Что тиражи русских книг — ничтожны. Что людям моего склада очень трудно найти работу. Что американская преступность достигла устращающих размеров...

Мне хотелось знать правду. Я желал навсегда покончить с иллюзиями.

Многое из того, что я узнавал, внушало ощущение страха. Я боялся одиночества и немоты. Меня ужасала перспектива второго рождения. Пугала неизбежная языковая изоляция.

Я не был уверен, что смогу писать. А тогда все остальное не имело бы значения.

Кроме того, я опасался ностальгии. Я так много слышал об этом. Я читал письма Бунина, Цветаевой, Куприна. Я не мог сомневаться в искренности этих писем...

Конечно, мне и раньше случалось надолго покидать Ленинград. Но тогда я знал, что могу вернуться. И все равно умирал от тоски...

В армии у нас было такое печальное развлечение. Собирались бывшие ленинградцы и начинали вспоминать... дома. По улице Ракова, скажем. Один за другим. Какого цвета, сколько этажей?.. Что там было внизу — закусовая, ателье проката?..

Заканчивалось это дело мрачной попойкой, слезами, бессонницей...

И вот мы приехали. Испытали соответствующий шок. И многие наши страхи подтвердились.

Действительно — грабят. Действительно — работу найти трудно. Действительно — тиражи ничтожные.

А вот ностальгия отсутствует.

Есть рестораны для собак. Брачные агентства для попугаев. Резиновые барышни для любовных утех. Съедобные дамские штанишки. Все есть. Только ностальгия отсутствует. Единственный фрукт, который здесь не растет...

Лишь иногда, среди ночи... Или в городской суете... В самую неподходящую минуту... Без причины... Ты вдруг задыхаешься от любви и горя. Боже, за что мне такое наказание?!

Но это так, иногда... И говорить не стоит... Да и газета наша — принципиально оптимистическая...

КР ЛЮДЬМИ НАУКИ УСТАНОВЛЕНО...

Людьми науки установлено, что время имеет форму, цвет, объем...

Год нашей жизни был окрашен в самые разнообразные тона. Анилиновое зарево надежды то и дело сменялось пыльным колером уныния. Над зелеными побегами творчества сгущались черные облака догматизма. Кумачовый мираж вседозволенности уводил нас с благородного пути.

Шло время.

Серебристый ручеек инициативы орошал бесцветные пространства человеческой косности.

Мы чувствовали себя все более уверенно...

Год нашей жизни позади. Год жизни — это так много! Это — 52 бурных редакционных совещания. Это 47 196 часов совместного напряженно-го труда. Это 2 831 760 минут дерзости и бесстрашия...

Год жизни — это так мало. Это — первые робкие шаги в нескончаемых лабиринтах американского бизнеса. Это — невнятный лепет освобожденной младенческой речи. Это — слабые, едва уловимые толчки независимого сознания.

Мы не заблуждаемся относительно своих достижений. Мы только заявили о себе. Обозначили свое присутствие в этом безумном и радостном мире.

Волею обстоятельств нам была предопределена сложнейшая миссия. Мы создали первую либерально-демократическую газету на русском языке.

Нас часто спрашивают:

— Какова ваша идеологическая платформа? Каковы ваши принципы? С кем вы? И против кого?..

Наши принципы ясны и однозначны:

Газета является независимой свободной трибуной.

Эта трибуна предоставляется выразителям самых разных, зачастую диаметральных мнений.

Редакция отнюдь не выдает себя за единственного конфидента истины. Редакторское кресло, повторяем, не есть вершина человеческой мудрости. Читатель, получая широкую объективную информацию, делает выводы — сам.

Едва достигнув годовалого возраста, редакция не осмеливается считать читателей беспечными младенцами. Газета доверяет своим читателям. Мало того, она доверяет им больше, чем себе...

Нас часто спрашивают:

— Чьи интересы выражает газета? Кто стоит за вами?..

Мы выражаем интересы шестидесяти тысяч беженцев из Союза. Наиболее жизнестойкой части советского еврейства. Всех тех, кого благородно приютила загадочная и непонятная Америка.

За нами стоят десятилетия уникального горького опыта. Общие с читателями трудности и проблемы. Общие слабости и грехи.

Ведь читатели — та единственная инстанция, от которой мы добровольно и безоговорочно зависим.

«Новый американец», № 53, 10—16 февраля 1981 г.

КР ВСЕ МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ДАВАТЬ СОВЕТЫ...

Все мы очень любим давать советы. Такое уж государство нас воспитало — советское.

Мы даем советы, потому что все знаем. Мы знаем, как управлять страной. Как бороться с преступностью. Как вести международную политику. В общем, знаем, как жить.

Хотя сами живем отвратительно. Хуже всех на свете. Хуже китайцев. Те хоть судили вдову председателя Мао. А наш товарищ Молотов, выродок и убийца, разгуливает по Садовому кольцу...

Наконец мы приехали. В чужую непонятную страну. Научились пользоваться туалетной бумагой. Перестали в ужасе шарахаться от кондиционера. Запомнили пятнадцать английских слов от «чека» до «кеша» — включительно. Стиранные бюстгальтеры на пожарную лестницу уже не вывешиваем. Короче — осмотрелись.

И заговорили с невероятным апломбом. Мой друг Григорович снисходительно подметил:

— Знаешь, американцы тоже люди. Сегодня видел одного на Бродвее. Пьянуший, аж лыка не вяжет... Шнурки болтаются... Наш человек!..

Америку мы сдержанно похваливаем. Снабжение, мол, хорошее, дублики, растворимый кофе...

Хотя имеются, конечно же, отдельные недоработки.

Бензин дорожает. От чернокожих житья не стало. А главное — демократия под угрозой. Совсем ослабла. Того и гляди — пошатнется да рухнет. Что делать? А вот что!

Цены на бензин понизить. Велфейр у пуэрториканцев отобрать. Чернокожих — по лагерям и тюрьмам!.. Что, нету лагерей? Значит, надо это дело в стахановском порядке организовать. Кубу — оккупировать немедленно! По Тегерану водородной бомбой — раз!

Иначе — демократии конец!..

Дорогие мои земляки! Советчики и реформаторы! Энтузиасты и преобразователи!

Ради Бога, успокойтесь! Американской демократии двести лет. И все эти годы американская демократия слабеет. Все эти годы ей предсказывают скорейшую гибель. Все эти годы дорожает жизнь. Все эти годы чернокожие пугают нас до смерти.

А магазины по-прежнему ломятся от жратвы. А миллионы книг по-

прежнему распродаются. И по-прежнему звучит гениальная музыка. И тысячи картинных галерей ежедневно распахивают двери. И мчатся потоком роскошные автомобили. И по-прежнему количество беженцев со всего мира — растёт.

И жить по-прежнему можно только здесь. И не только жить. Но еще и учить американцев — демократии!

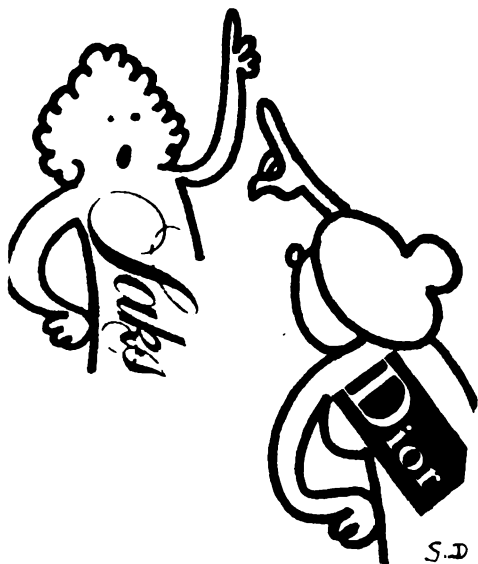
«Новый американец», № 55, 24 февраля — 2 марта 1981 г.

САМЫЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Очаровательная блондинка в джинсах «Сэссун», кофточке «Лорд энд Тейлор» и в туфлях от «Сакса» сказала эффектной брюнетке в джинсах «Джордаш», кофточке от «Мейсиса» и туфлях от «Блуминг-дейла»:

— Ах ты, сука ты позорная!..

«Новый американец», 11—17 апреля 1980 г.



НАДЕНУ Я ЧЕРНУЮ ШЛЯПУ...

«В человеке все должно быть прекрасно — и пиджак, и штаны, и рубашка, и галстук!..»

(Фарцовщик Белуга, в частном разговоре)

«...Вы — человек культурный. У вас — макинтош!..»

(Беседа в метро)

«На Западе люди одеваются, в Москве — рядятся...»

(А. Герцен, «Былое и думы»)

«...А девки на пляже одеты — так просто срам! Не зря люди говорят — быкини. Быкини и есть. Парни за ними, как быки, как быки...»

(Старушка Малафеева, в частном разговоре)

Лично я одет довольно плохо. А раньше был одет еще хуже. В Союзе я одевался настолько плохо, что меня даже корили за это.

Директор заповедника, в котором я работал экскурсоводом, говорил мне:

— Своими брюками, Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест!..

Редактор партийной газеты, в которой я служил халтурщиком, терпеливо уговаривал меня:

— Купите приличную обувь! У нас, между прочим, бывают иностранцы!..

Инструктор ленинградского обкома КПСС, взглянув на мой джемпер, сказал:

— Вы, как я догадываюсь, беспартийный?..

В общем, плохо я одевался. И меня это не беспокоило.

Дома одежде приписывались четкие социальные функции.

Нечто подобное было в старину. Коллежскому регистратору полагалась, допустим, шинель из военного сукна. Выдвинулся чином повыше — заказывай шинель из драпа. Статскому советнику полагался бобровый воротник. Тайному — из нерпы. И так далее...

Сейчас — такая же история. Удостоился кандидатской степени — покупай дубленку. Или, на худой конец, — тулуп. Ведь кандидат — не дворник. Кандидату без тулупа — нельзя...

Один мой знакомый, литератор Еремин, достал болгарский кожаный пиджак. Другой мой знакомый, литератор Рейн, тотчас же перешел с Ереминым на «вы». (Столь огромно было его уважение к пиджаку...)

На родине импортные вещи являлись знаками социальной полноценности. Раздобыв югославский полиэтиленовый мешочек, женщина надолго избавлялась от тяжелых комплексов. С пачкой жевательной резинки можно было явиться на именины...

Способность доставать заграничные вещи приравнивалась к ясновидению и медиумизму. Бесчисленные Лелики, Марики, Фердинанды Сигизмундовичи пользовались громадным авторитетом. Ведь они могли что-то доставать!

В день рождения Сергея Михалкова его почетным гостем был некий Эдди Захарович. Человек, изготовлявший на дому замшевые кепки...

Одежды было мало. Но значение ее было огромно...

И вот мы на Западе. Проблем не существует. Магазины ломаются от всевозможного тряпья. И цены доступные. Выбирай!

Опять — злополучная свобода выбора.

Раньше надевали, что придется. То, что удавалось раздобыть. Теперь — каждый человек отвечает за свою внешность. Недаром говорил Пастернак:

«Быть некрасивым — некрасиво!..»

Короче, надо ориентироваться в этом чрезмерном, почти бессмысленном изобилии.

Самое простое и разумное — обратить внимание на туземцев. Поучиться у местных жителей.

Вот идет преклонных лет толстяк. Шнурки болтаются. Пуговицы отсутствуют. И заметьте — ни малейших комплексов...

Вслед за толстяком — элегантный молодой человек. Голубовато-серый костюм, белоснежная сорочка, ослепительные лаковые туфли. Комплексов нет и в помине...

За ним — девица. Тесная мини-юбка, кривые ноги. Трикотажная майка украшена надписью: «Я — Софи Лорен». А комплексов все нет и нет....

Наконец встречаете законченного оборванца. В самых настоящих лохмотьях. Прямо-таки — репинский бурлак. Без тени комплекса в лице. Вид гордый...

Здесь — так. Если человек одет в лохмотья, значит, человеку это нравится. Значит, его устраивает подобная внешность. Значит, облик голодранца соответствует его внутреннему мирозерцанию...

Я полтора года в Америке. С первых дней меня учили:

— В Америке надо ежедневно менять рубашку. (А по возможности — и брюки.) В офис надо являться при галстукке. На пикник — в шортах. Городская вечеринка требует элегантного костюма.

И так далее. Недвусмысленные, четкие правила...

Довелось мне однажды посетить изысканный светский раут. Вырядился я, как мог. Галстук затянул так, что башка не проворачивается. Сесть не решаюсь, боюсь — штаны лопнут... Ботинки жмут. Брожу с коктейлем в руке. Ем черешни. Косточки храню за щекой. Выплюнуть неловко...

А вокруг — бедлам и хаос. Кто в смокинге, кто — в шортах. На ком — вечернее платье с блестками, на ком — трикотажная маечка. Один пришел босиком. Другой в сапогах до колен. Третий в обычных туфлях, зато — с эрдельтерьером.

Одни тихо беседовали, прихлебывая коктейль. Другие испуленно целовались. Хозяин просто заснул на диване. (Кстати, я его видел утром. Рубашку он не переменял...)

Все чувствовали себя легко и естественно. Все, кроме меня.

Я знаю, что «свобода» — мудреный философский термин. Предполагает разнообразные духовные интерпретации. Осознанная необходимость и так далее.

Я уважаю философию. И обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от догм и предрассудков. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством...

В Америке человек одевается так, как ему хочется. Так, чтобы это соответствовало его натуре. Чтобы ему было легко, свободно и естественно...

Художник-авангардист таскает кожаный жилет с бубенчиками. И правильно делает.

Банковский служащий — мышинного цвета тройку.

Уборщик в пиццерии — трикотажную фуфайку и шорты.

Но попадались мне и художники в элегантных костюмах. И банковские служащие в шортах. И уборщики в кожаных жилетах...

Вы заметили, как хорошо, вернее — щеголевато, одеваются бедные негры и пуэрториканцы? Видимо, им это нужно для самоутверждения.

У романиста Джона Апдайка — иные проблемы. (Насчет самоутверждения тут все о'кей.) Вот он и носит серый пиджачок...

Я давно изучаю личность президента нашей корпорации — Меттера. Когда газета только создавалась, Меттер разъезжал по учреждениям. Ему назначали по шесть апойнтментов в сутки. (Простите за англицизм, господин Зеев Барэль.)

Стояла дикая жара. Будущий президент целыми днями ездил в метро. На вытянутой руке он держал складные «плечики». На плечиках висел шоколадного цвета блейзер. Подходя к офису, Меттер замедлял шаги. Надевал свой блейзер, а плечики засовывал в карман. Покидая офис, снова замедлял шаги. Стаскивал блейзер, вешал на плечики и шел к остановке метро...

И так с утра до вечера. При сорокаградусной жаре.

Прошел год. И вновь наступило лето. «Новый американец» благополучно выходит. Меттер по-прежнему в разъездах. Щеголяет в трикотажных бобочках. И блейзер ему уже не требуется. Дела и без этого неплохо подвигаются. Можно вздохнуть свободнее. А блейзер подарить новому эмигранту Мише Зарину...

Зачем я все это рассказываю? К чему призываю?

К свободе и естественности. Как в большом, так и в малом. Как в области идей, так и в области носков...

Для себя же я, вроде бы, установил некоторое единство облика. Нечто военно-спортивно-богемное... Гибрид морского пехотинца с художником-авангардистом...

Мне кажется, в такой одежде легче переносить удары судьбы.

«Новый американец», № 29, 27 августа — 2 сентября 1980 г.

КР ЗДРАВСТВУЙТЕ...

Здравствуйте, уважаемый Леонид Ильич!

Говорят, в Москве закончился съезд коммунистической партии. Надеюсь, все прошло хорошо. Надеюсь, советские люди уверенно шагают в будущее. Благосостояние народа повышается. Вооруженные силы крепнут. А мировая буржуазия достигла, наконец, самого края пропасти...

Говорят, вы произнесли речь. И вас показывало телевидение. Правда, всего шесть минут. А затем трансляцию прервали. Ибо ваше состояние ухудшилось...

Года три назад вы были очень плохи. Вас явно шатало на трапе международного лайнера. Вы едва передвигали ноги. А вместо тезисов произносили неприличные слова.

Говорят, по Европе за вами следовал обоз медикаментов.

Затем появилась какая-то грузинка. Подвергла вас метафизическим излучениям. И вы заметно помолодели. Воспрянули телом и духом.

Вы опять начали улыбаться. Возобновили поездки за рубеж. Стали произносить многочасовые речи.

А теперь вам снова хуже.

Грешно мне злословить на эту тему. Человек вы пожилой, усталый. Может, вам свойственно что-то хорошее? Может, будоражат вашу совесть какие-то нотки раскаяния? Или кошмары мучают вас по ночам?..

Честно говоря, меня интересует другое. Мне кажется странным, что ваши недуги так усиленно рекламируются. Что ваше запущенное лицо становится достоянием международной общественности. Что ваши невнятные речи повсюду слышны.

Сталин, например, действовал по-иному. Он вообще не появлялся. Он превратился в бессмертный и неосязаемый символ. О его кончине известили несколько дней спустя.

Нечто аналогичное произошло с товарищем Мао. Ходили слухи, что его подменяют роботы или двойники. (Трудно ли подобрать двойника в Китае?)

Человеческие слабости вождей принято таить от народа. И вдруг — такая неожиданная откровенность! Такой обескураживающий материализм!

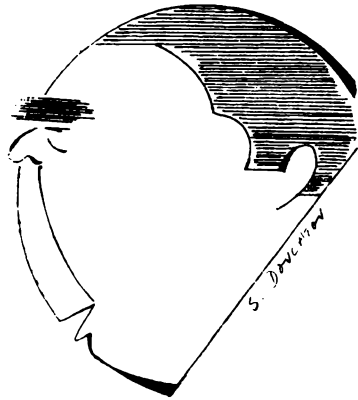


Рис. Сергея ДОВЛАТОВА

Могучий генсек шатается от слабости на виду у бессердечных западных корреспондентов. Вместо пламенной здравицы издает какое-то невнятное шипение...

Мне кажется, это неспроста. Мне кажется, вас усиленно гримируют под нормального человека. Вернее, под коммуниста с человеческим лицом.

Мне кажется, ваши служащие преследуют далеко идущую цель. Они как бы говорят мировому империализму:

— Видите, буржуи, как слаб наш Леонид Ильич?! Так что не откладывайте переговоров! Подписывайте СОЛТ! Спешите договориться по международным вопросам!

А то придет на смену Леониду Ильичу — жлобина. Какой-нибудь здоревенный Романов из Ленинграда. И всех мгновенно раздраконит!

Спохватитесь тогда, но будет поздно!..

Вот какие у меня соображения. А съезд, как и ожидалось, прошел благополучно. Все идет хорошо. Скоро, говорят, большевики Америку догонят. И даже перегонят.

А может, зря торопятся?! Ведь там же — пропасть!

«Новый американец», № 56, 3—9 марта 1981 г.

КР

НЕ КАЖДЕ ПИСЬМО ДОХОДИТ...

Не каждое письмо доходит из Союза. Бывает, что подолгу нет известий от родных. Мы начинаем беспокоиться, звонить...

Затем вдруг переписка налаживается. Одно, другое, третье письмо...

Они — бесценны. Мы читаем их внимательно, слово за словом. Расшифровываем намеки. По крупичкам добываем информацию.

Вот письмо из Ленинграда. Абсолютно сдержанное. Неожиданно взрывается строка:

«...К Олегу заявили гости. Учинили страшный беспорядок. Пропали важные бумаги...»

Речь идет о знакомом поэте. Неужели — обыск?! Неужели конфисковали рукописи?!

Читаю дальше:

«...Мы живем хорошо, как в Удельной...»

Что значит — «в Удельной»? Ах да, понятно. В Удельной, под Ленинградом, расположен знаменитый сумасшедший дом...

Переворачиваю страницу:

«...Костя очень плох. Врачи совсем его замучили. Заставляют принимать лекарства. Костя отказывается...»

Костя? Костя Азадовский! Около двух месяцев под следствием. Инкриминируются наркотики. Виновным себя не признает...

А вот письмо из Таллина:

«...Вечерами слушаем радио. Читаем газету с большим увлечением...»

Значит, слышали мое интервью по «Голосу». Значит, видели экземпляр «Нового американца»! Ведь не «Правду» же они читают...

Но бывают и другие письма. Редко, но бывают. Вот одно из них. Автор — пожилая женщина. Бывшая соседка. Вроде бы неплохо относилась. Образованная, начитанная дама. Мужа ликвидировали в тридцать седьмом году. Дочка — искусствовед — годами без работы. Зять — библиотекарь с высшим филологическим образованием. У самой — ничтожная пенсия. Трое — в однокомнатной квартире.

Письмо же — гневное. Более того — негодующее. Вот несколько строк из этого письма:

«...Дорогой Сережа, как вы изменились! Зачем вы клеветецете на свою родину?! Зачем попираете ногами святыни?! Родина вам образование дала. А вы?!...»

Несчастливая, безумная старуха! Все забыла, все простила, всем довольна!

Бедность, голод, унижения — все ей родина дала...

Сострадания достоин узник, томящийся за решеткой. Презрения достоин раб, возлюбивший свои оковы. Свою тюрьму. Свою галерею. Свою черствую пайку. Свою омерзительную робу.

Какое счастье, что наши дети вырастут иными!

«Новый американец», № 57, 10—16 марта 1981 г.

КР МЫ ЧАСТО СЛЫШИМ...

Мы часто слышим:

«Какого направления придерживается ваша газета? Против чего она выступает? С чем борется? Кого ненавидит?..»

Нас удивленно спрашивают:

«Кто вы такие, ребята? Антикommунисты? Антимонархисты? Антихристы?..»

Нас подвергают допросу:

«Какова ваша идейная платформа? Партийная тенденция? Конечная политическая цель?..»

Еще Достоевский высмеивал газеты с направлением. Высмеивал и презирал. В его «Скверном анекдоте» фигурирует корреспондент «Головешки» (пародия на революционно-демократическую газету «Искру») — уязвленный и хамоватый болван...

Любая позиция АНТИ — несостоятельна и малоплодотворна.

Мне кажется, великий Эйнштейн не был антиньютонем. Он был Эйнштейном и все. Он полагал, что этого достаточно.

Шостакович не был антимоцартом. Он был Шостаковичем. За что ему огромное спасибо.

Достоевский не был антитолстым. Бродский — не антиевтушенко. Солженицын — не антигрибачев. И слава Богу!..

Разве что Энгельс был антидюрингом. Ну и что хорошего? Оба так себе...

Антикоммунисты ли мы? То, что не коммунисты, — это ясно. Но анти?..

С научным коммунизмом десятилетия борются ученые, философы, экономисты.

Реальный коммунизм сложнее. Ведь то, что происходит на родине, от коммунизма бесконечно далеко. Эту жуть даже Брежнев коммунизмом называть стесняется...

Дальнейшее прошу напечатать крупными буквами. Чтобы все было ясно как дошкольнику, так и любому старику:

МЫ — НЕ ПРОТИВ! МЫ — ЗА! ЗА ПРАВДУ! ЗА СВОБОДУ! ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО! ЗА МИР И КУЛЬТУРУ! ЗА УЛЫБКУ И ЮМОР! ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК! ЗА ДРУЖЕЛЮБИЕ И КОРРЕКТНОСТЬ! ЗА СВОБОДУ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ПОИСКОВ! ЗА МУЖЕСТВО И ТАЛАНТ! ЗА НАШУ МНОГОСТРАДАЛЬНУЮ РОДИНУ! ЗА ПРИЮТИВШУЮ НАС БЛАГОРОДНУЮ И ГОСТЕПРИИМНУЮ АМЕРИКУ! ЗА ЖИВОЙ, БЕСКОНЕЧНО МЕНЯЮЩИЙСЯ, ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!

Мы переживаем ужасное время. И так было всегда. Любое время представлялось нормальному человеку — ужасным.

Мир полон зла. И это зло — внутри нас. А значит, человек должен победить СЕБЯ. Преодолеть в СЕБЕ — раба и циника, невежду и труса, карьериста и ханжу!

Навсегда убить в СЕБЕ — корыстолюбие, чванство и продажность!

Уничтожить в СЕБЕ ядовитые ростки коммунистического лишайника:

Нетерпимость к чужому мнению. Фанатизм и жестокость. Беззаветную преданность собственным интересам. Баранье единодушие. Жалкий страх перед ересью и новизной...

Свершится ли все это? И на чьем веку?.. Я хотел бы посетить этот мир через тысячу лет.

КР С КАЖДЫМ ГОДОМ...

С каждым годом она все больше похожа на человека. (Не в пример большинству знакомых журналистов.)

Принес я ее домой на ладони. Было это двенадцать лет назад. Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Морда кирпичиком. Хвост морковкой. Короче, Глаша была неотразима...

Воспитывали мы ее довольно невнимательно. Кормили чем попало. Зато подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать...

Глаша росла толковой и мужественной. К трем годам она совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул. Вытащила его за хвост из лужи. Кроме того, побывала с моим братом на охоте. Первая отыскала след медведя-шатуна.

Очередной подвиг Глаша совершила в Таллине. Я уехал в командировку. Отдал Глашу знакомой машинистке из ЦК. Машинистка затопила печь. Раньше времени закрыла трубу. И уснула.

В квартире запахло угарным газом. Все спали. Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. А потом громко залаяла...

Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта.

Глаша не интересовалась политикой. Однако лаяла на милиционеров, когда они являлись без приглашения.

Консервы «Завтрак туриста» вызывали у нее аллергию. Как и у меня...

Наконец мы собрались уезжать. За Глашу пришлось уплатить небольшой выкуп. По три рубля за килограмм. Глашу оценили чуть дешевле нототении. И чуть дороже постной свинины...

В Америке Глаше нравится. Она помолодела и готова выйти замуж. (Скоро дадим объявление в «НРС»...)

Говорят, все эмигранты перессорились. Это не так. Глаша одинаково симпатизирует Вагину и Янову, Бернштаму и Эткинду, Рафальскому и Парамонову...

Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частичек в томате. Или сквер в Щербакском переулке...

Не печалься, Глаша, все будет хорошо.

И прости, что у меня нет хвоста. (В Союзе был, и не один.)

Прости, что у меня есть ботинки и сигареты. И еще — работа по специальности.

В остальном мы похожи. И судьба наша — общая.

БРАК ПО-ЭМИГРАНТСКИ

Love and marriage,
Love and marriage,
Go together
Like horse and carriage...

(Песня Дальнего Запада)

От любви и до женитьбы
Протянул я все же нить бы!
Без любви семейный воз
Вмиг сорвется под откос...

(Вольный перевод с английского)

И все-таки люди женятся. Женятся вопреки тревожным историческим прогнозам. Женятся накануне третьей мировой войны. Женятся в преддверии надвигающегося апокалипсиса.

Люди женятся в свободном мире и под гнетом тоталитаризма. В промышленных центрах и заброшенных деревушках. На ледяных широтах Заполярья и в пекле африканских джунглей.

Женятся наивные юноши и умудренные годами старики. Звезды Голливуда и спившиеся обитатели Бауэри. Работники госбезопасности и агенты Эф-Би-Ай. Международные террористы и члены королевских семей. Чемпионы бокса и жалкие калеки. Святые мученики и выродки человечества.

Люди женятся в самые неожиданные минуты и в самых фантастических условиях.

Гитлер обвенчался в канун самоубийства. Флибустьер Бегониус — за шестнадцать часов до смертной казни. Океанолог Гуто Дукс сошелся браком на льдине. Правозащитник Гинзбург — в советской тюрьме. Богач и меценат Флориованти отправился в свадебное путешествие на дирижабле. Золотоискатель Бирн — в собачьей упряжке.

Пятеро моих знакомых женились, находясь в командировке. Причем двое из них — в заграничной командировке.

Человека три зарегистрировали брак в состоянии алкогольного помешательства. Причем все три брака оказались счастливыми.

Мой дядя Хорен официально женился четыре раза. И все четыре раза — на собственной жене.

Московский востоковед Евгений Евгеньевич Евгеньев был женат на актрисе кукольного театра — Валентине Валентиновне Валентиновой.

Ленинградский фарцовщик Акула, отбыв заключение, женился на следовательнице по его делу — Харинной.

Заведующий кафедрой НАУЧНОГО АТЕИЗМА ЛГУ сочетался ЦЕРКОВНЫМ БРАКОМ с юной практиканткой...

Короче, брак — явление таинственное и фантастическое...

И вообще, зачем он нужен — брак? Зачем нужны эти формальности, обряды, штампы, процедуры?

Любовь — понятно. Вот и люби себе на здоровье. Люби, рожай, будь счастлив и так далее. Без всяких ксив и нотариальных свидетельств. Так нет же, подаются заявления, оформляются соответствующие казенные бумаги. И все это дело скрепляется расплывчатой фиолетовой печатью. Зачем?!

В Союзе браки обуславливались двумя центральными мотивами — психологическим и экономическим. Возьмем обычный случай.

Он, Она... Молодые рабочие, студенты, деревенская публика. Между ними порхают крылатые безответственные амурсы. Все идет прекрасно...

Но человеческие отношения — это всегда поединок. Поединок воли, характера, интеллекта. Человеческие отношения не бывают равными.

В результате кто-то любит, а кто-то милостиво позволяет себя любить. Один раскрывается щедро и полностью. Другой гораздо экономнее расходует сердечные капиталы...

Возникает неравенство, появляется чувство тревоги. Опасение потерять любимого человека. Желание узаконить, сохранить завоеванные позиции.

Конечно, ЗАГС — не Божий храм. Но что-то общее все же имеется. Две-три кощунственно пародийные черточки.

Есть кумачовый алтарь. Иконостас с физиономиями членов Политбюро. Священнодействующая дама.

Наконец, есть свидетели. Что уже несколько ближе к милицмейской практике.

Конечно, и после всего этого люди расходятся. Иногда — на следующий день. Но все же поначалу им как-то спокойнее. Как-то надежнее выглядит подобный союз. Возникает психологическое ощущение цельности и единства.

Ощущение приятное. Но статистика его жестоко перечеркивает.

Вот статистические данные, опубликованные «Литературной газетой». Из каждых десяти семей, зарегистрировавших брак официально, распадается четыре. Из каждых десяти пар, связанных лишь взаимным чувством, — три. Тут есть над чем задуматься.

Законные отношения быстрее утрачивают черты романтизма. Их незаметно обволакивает пелена будничности, рутины. Осуществившаяся мечта превращается в быт. Счастливое безумие обретает процедурный характер...

Я знал людей, одержимых единственной мыслью — изменить своей жене. Где угодно и с кем попало. Просто так, для самоутверждения...

Может, свобода нужна хотя бы затем, чтобы реже появлялось искушение ею воспользоваться?..

Коснемся экономики... Известно, что брак может стать выгодным экономическим предприятием. Допустим, у Него шесть метров без окна. А у Нее полдома где-то в Киришах. Люди поженились и затеяли обмен. В результате — однокомнатная городская квартира.

В нищем государстве одному человеку жить трудно. Вдвоем гораздо легче противостоять ударам судьбы.

Люди облакачиваются друг на друга. Так они чувствуют себя увереннее. Получается своего рода шалаш, или, вернее — картонный домик.

Как-никак — две зарплаты. Двойной комплект родителей в свете забот о будущем младенце. Удвоенное количество ценных знакомств. То есть у него — дядя Коля из рыбного магазина. А у нее тетька Дуся с фруктовой базы. Таким образом, в праздничные дни — нотения с мандаринами...

Прикинем на калькуляторе. Он: городское жилье, плюс диплом, плюс рыба, плюс мама — участник блокады. Минус — пятая графа, заикание и родственники в Тель-Авиве.

У нее: четыре грядки зеленого лука, плюс отец — коммунист, плюс тетя Дуся, плюс хорошо рассольник варит. Минус — восемь единиц зрения, одышка и шестилетний ребенок.

В сумме — явный плюс...

Кроме этого существуют неожиданные побочные мотивы брака. Иногда — весьма причудливые.

«Выездным» товарищам — ученым, музыкантам, артистам — необходимо состоять в законном браке. Жены и дети остаются в качестве заложников.

Партийному работнику тоже желательно быть семейным человеком. Номенклатурные холостяки большая редкость и вызывают подозрительное чувство. Даже такой уровень свободы неприятен руководству...

Случаются еще более парадоксальные вещи. Эстонский филолог Теппе женился на девушке-коми. Его специальностью были финно-угорские языки. И ему не хватало коми-пермяцкого диалекта. Теппе использовал жену в качестве учебного пособия...

Мой друг Бусыгин путешествовал с любимой женщиной. Приехал на машине в Коктебель. И вдруг — начались заморозки. В палатке холодно. В машине тесно. В гостиницу не пускают без штампа. Бусыгин плюнул и женился...

Примеров — сотни...

Так обстояли дела в Союзе. И вот мы пересекли океан. Дальнейшее излагаю отрывисто, как бы пунктиром.

Мы убедились в том, что основы жизни неизменны. Что добрые и злые люди есть везде.

Мы обрели свободу и независимость, быстро привыкнув воспринимать это как должное. Мы поняли, что комфорт и хорошая еда — не все. Что потребности растут намного быстрее доходов. Мы не хотим быть лифтерами с окладами доцентов. Мы предпочитаем быть доцентами с окладами лифтеров.

Мы превратились в жизнеспособную этническую группу. У нас есть свои гении и свои жулики, праведники и демагоги, философы и бандиты.

Накупив штанов, колбас, автомобилей, мы решили издавать газеты.

Мы лечим, торгуем, поем и рисуем картины. Заключаем сделки, подписываем контракты, читаем лекции и водим такси. Влюбляемся, женимся, рожаем, даем малышам красивые американские имена. У нас существуют и как-то решаются все проблемы любого человеческого единства. В том числе и проблемы брака.

Что изменилось? Все те же Он и Она. Тот же неизменный поединок воли, характера, интеллекта. Те же банальные истины: «Разбитую вазу не склеишь...», «От любви до ненависти — шаг...» И так далее.

Что же изменилось?

Вот Ефим и Марина. Ей двадцать три года. Он — на год старше. Познакомились на вечеринке у друзей. Он подвез ее на своей машине в Форест-Хиллс.

Марина обещала помочь ему с английским. Она работает клерком в Манхэттене. Он — начинающий таксист.

Молодые люди стали встречаться. Несколько раз бывали в кино. Посмотрели шоу на Бродвее. Ездили в Коннектикут на джазовый фестиваль.

Недавно Марина переехала в Асторию. Они стали мужем и женой.

Ефим и Марина довольно разные люди. Он — спортсмен, автомобилист. Как все неуверенные люди, чуточку агрессивен. В интеллигентной компании чувствует себя неловко.

Марина из культурной ленинградской семьи. Приучена к систематическому чтению. Лишена практических навыков. Тоскует по Ленинграду и старым друзьям.

Молодые люди счастливы. Хотя их жизнь не совсем безоблачна. Временами Марину раздражает его прямолинейность. Фиме неприятна ее склонность драматизировать любое известие.

Он тянется к динамичным простым развлечениям. Она ценит уединение и покой.

Их отношения не зарегистрированы. Более того, они не представляют себе, как это делается и зачем.

Пока им хорошо, они вдвоем. А будет тяжело, расстанутся друзьями.

Что это — разврат, аморалка, вызов общественному мнению? Или нормальное, живое, бескорыстное супружество?..

Вот Алла и Феликс. Обоим за сорок. У него сын четырнадцати лет. У нее дочь в Хантер-колледже. Оба были женаты и развелись. Оба готовы были посвятить себя детям.

Познакомились они в Бней-Ционе. Феликс — верующий еврей. Алла заинтересовалась еврейской историей.

Оба — дипломированные инженеры. Алла работает чертежницей. Феликс устроился по специальности.

Больше двух лет они вместе. Оба почувствовали вкус к жизни. Побывали в Европе и Канаде. Четыре раза меняли жилье и наконец довольны. У них собственный дом.

Иногда надвигаются тучи. Феликс мечтает перебраться в Израиль. Алла и слушать об этом не хочет. Но пока что они собираются во Флориду.

Их брак не зарегистрирован, что мало смущает любящих супругов...

Роману Сауловичу шестьдесят девять лет. Регине Николаевне — семьдесят один. Познакомились они в НАЙАНЕ.

Дети и внуки Романа Сауловича живут ниже этажом. Дочь Регины Николаевны в Лондоне, с мужем. Пожилая женщина чувствовала себя заброшенной и одинокой. У Романа Сауловича тоже были претензии к жизни:

— Детям я надоел своим ворчанием. А внукам — тем более. Какой им прок от старика?..

Пожилые люди решили жить вместе. Оба заметно помолодели. Стали лучше одеваться, чаще бывать в гостях. Недавно приобрели шенка и видеомагнитофон с кассетами.

Официально их брак не зарегистрирован.

— Зачем эти формальности, — говорят они, — когда все построено на доверии?..

Вот Наталья Р. Приехала с одиннадцатилетней дочкой. Номенклатурный муж остался дома.

Поначалу Наташа была совершенно обескуражена. Сняла квартиру в гнусной части Бруклина. Рыдала ночами до самого утра.

Затем устроилась на курсы. Приобрела какую-то мебель. Определила дочку в иешиву.

Мечтала встретить хорошего человека. Дала объявление в «НРС»:

«Ищу человека, который ценит литературу, живопись, природу, юмор...»

Ответа не последовало. Какой уж тут юмор...

Сейчас у Наташи есть друг. Ему двадцать один год. Беспечный юноша то и дело меняет профессию.

— Лет через пять он меня бросит, — говорит Наташа, — или через семь... Это неизбежно... Или, что еще страшнее, начнет ухаживать за моей дочкой. Это добрый, но легкомысленный и безответственный человек... Я счастлива. Но я ко всему готова... Официально выходить замуж не собираюсь. Я уже была замужем. Причем за человеком серьезным и добропорядочным. Который оказался трусом и приспособленцем... Хватит... Я благодарна судьбе за те минуты, которые провожу с любимым...

Вот господин К. Ему сорок девять лет. Подвержен тяжелому душевному заболеванию — вялотекущей шизофрении. Угрозы для окружающих не представляет. Госпитализации не подлежит.

Мечтает встретить любящую женщину. Пусть хотя бы совсем неприметную. Чтобы кто-то был рядом...

Вот Михаил и Джоан. Он — художник из Трускавца. Она — модная портниха, коренная американка. Познакомились в музее современного искусства. Через неделю поселились в Сохо.

Михаил то и дело летает в Хайфу к родителям. Джоан часто ездит в Олбани, к своим.

Порой они надолго расстаются. И неизменно съезжаются вновь. Михаил говорит:

— Джоан — это чудо. Ни единой проблемы. Ни единой прочитанной книги. Ни единой минуты уныния. Море обаяния. Море секса. Море динамизма... Даже не знаю, женат ли я... Вероятно — женат... Дай Бог, чтобы это продолжалось вечно...

Вот Рита и Нортон. Она была студенткой МГУ. Познакомилась на выставке с молодым американским ученым. Через год они поженились. Рита давно мечтала вырваться из Союза.

Живут они в прекрасном районе. У них собственный дом.

Однако Рита считает брак неудачным:

— Дура я была, сумасшедшая дура! Увидела живого янки и голову потеряла. Не верила такому счастью.

Теперь жалею. Нортон, конечно, умница, блестящий экспериментатор. Человек, отдающий всего себя работе. Но вне работы он — пустое место. Черств, эгоистичен, занят исключительно собой. Живем мы скучно, замкнуто, однообразно. Экономим буквально каждый цент.

Я твердо решила уйти. Буду зарабатывать техническими переводами. А нет — пойду в магазин бусами торговать. В общем, не пропаду. К счастью, у меня нет детей. Нортону казалось, что это слишком дорого. Короче, детей нет. Хотя и это меня бы не остановило...

Казалось бы, разные судьбы. Совершенно разные люди. По-разному складываются их жизненные обстоятельства.

Эти люди учатся, торгуют, пишут книги, раскатывают мацу и воспитывают детей.

Но каждый прожитый день завершается в семье. И нет у обычных людей другой модели реального человеческого счастья...

Люди все еще женятся. Вопреки тревожным историческим прогнозам. Накануне третьей мировой войны. В преддверии надвигающегося апокалипсиса.

Люди женятся счастливо и неудачно, поспешно и осторожно, глупо и разумно.

Но ясно одно. Брак в эмиграции — не ловушка и не соломинка, за которую хватается утопающий. Здесь он стал тем, чем ему и положено быть. А именно, простите за банальность — добровольным и независимым объединением любящих сердец.

Потому что свобода — единственное оправдание нашего бегства. Не первое, не главное, не самое важное, а именно — единственное.

И еще. Хотя я допускаю, что в идее свободы заключен какой-то подвох, мы будем воспевать свободу как единственную надежду человечества.

КР НАШИ ДЕТИ ТАК БЫСТРО РАСТУТ...

Наши дети так быстро растут.

Я вспоминаю детские ясли на улице Рубинштейна. Белую скамью. Подвернувшийся задник крошечного ботинка...

Мы идем домой. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладошки. Даже сквозь рукавицу чувствуется, какая она горячая...

Меня поражала в дочке ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру... Ее зависимость от моих решений, действий, слов...

Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула. Помню, она вернулась из детского сада. Не раздеваясь, спросила:

— Ты любишь Брежнева?

До этого мне не приходилось ее воспитывать. Она воспринималась как ценный неодушевленный предмет. И вот — я должен что-то говорить...

Я сказал:

— Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку. На худой конец — меня. Брежнева мы не знаем. Хотя часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек. А может быть, и нет...

— Наши воспитатели его любят, — сказала дочка.

— Вероятно, они хорошо его знают.

— Нет, — сказала дочка, — просто они воспитатели. А ты — всего лишь папа...

Наши дети так быстро меняются. Английский язык им дается легко. Они такие уверенные, независимые, практичные...

Мы были другими. Мы были застенчивее и печальнее. Больше читали. Охотнее предавались мечтам.

Мы носили черные ботинки, а яблоко считали лакомством...

Я рад, что нашим детям хорошо живется. Что они едят бананы и халву. Что рваные джинсы у них — крик моды.

Для того мы и ехали.

Только я не знаю, как это связано, — витамины и принципы, джинсы и чувства... Какая тут пропорция, зависимость? Хорошо, если прямая. А если, не дай Бог, — обратная?

Надеюсь, все будет хорошо.

Отношения у меня с дочкой прежние. Я, как и раньше, лишен всего того, что может ее покорить.

Вряд ли я стану американским певцом. Или киноактером. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от забот. Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Совершенно равнодушен к частной жизни знаменитой актрисы Лорен Бокал. (Такая фамилия подошла бы неопохмелившемуся флотскому офицеру.) И главное — пло-

хо знаю английский. Что делает меня иногда совершенно беспомощным...

Недавно она сказала... Вернее, произнесла... В общем, я услышал такую фразу:

— Тебя наконец печатают. А что изменилось?

Ничего, — говорю, — ничего...

Короче, у нас все по-прежнему. И я всего лишь — папа...

«Новый американец», № 64, 3—9 мая 1981 г.

КР Я ЧАСТО ВСПОМИНАЮ...

Я часто вспоминаю лагерную зону под Иоссером. Перекур на лесоповале. Потомственный скокарь Мурашка рассуждает у тлеющего костра:

— Хорошо, начальник, в лагере! Можно не думать. За нас опер думает...

А теперь мне хочется задать читателям вопрос:

— Не уподобляемся ли мы этому тюремному философу? Живем мы или тянем срок?

И вообще, кто мы такие? Безответственные малолетки или взрослые люди? Способны ориентироваться в мире идей? Или нужен милиционер-регулировщик? Желаем думать самостоятельно? Или пусть думает начальство?..

Мы объявили газету независимой и свободной трибуной. Стараемся выражать различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Доверяем читателю. Предоставляем ему возможность думать и рассуждать.

В ответ то и дело раздается:

— Не хотим! Не желаем свободных дискуссий! Не интересуемся различными точками зрения! Хотим единственное верное учение! Единственную правильную дорогу! Хотим нести единственный, идеологически выдержанный транспарант!

Зачем нам яркие, праздничные одежды самостоятельной мысли? Хотим быть серыми и одинаковыми, как новобранцы...

Зачем нам колебаться, меняться и перестраиваться?!

Хотим быть твердыми, как шанкр!

Хотим, чтобы все было просто.

Были коммунистами, стали антикоммунистами. Сменили ворота, как на футбольном поле.

А если мир сложнее таблицы умножения? Если кроме «дважды два — четыре» существуют логарифмы?

Нет! Не желаем споров! Не хотим разногласий! Отказываемся выражать собственное мнение! За нас думает академик Сахаров.

Не желаем спорить и возражать. Пусть все будет тихо и спокойно. Как в морге...

Видел я раз случайно пекинскую кинохронику. Торжественный митинг, центральная площадь. Полмиллиона китайцев в одинаковых синих робах. Главный что-то пискнул, и китайцы дружно пискнули в ответ. И одновременно протянули вверх сжатые кулаки.

Тут я, честно говоря, перепугался. Вот это машина! Полмиллиона шурупов и винтиков! И все заодно. Да это страшнее водородной бомбы!..

Настанет ли конец бараньему единому сердцу?! Проснется ли в нас думающий, колеблющийся, свободный человек?!

Как это говорил Виктор Некрасов – свободный человек на свободной земле!

«Новый американец», № 66, 17—23 мая 1981 г.



РАЗВОД ПО-ЭМИГРАНТСКИ

池と川
ひとつこなりぬ
春の雨

(Песня Дальнего Востока)

«...Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки...»

(Вольный перевод с японского)

Как верно заметил Толстой — благополучные семьи похожи. А вот несчастливы люди — по-разному. У каждого горя своя неповторимая физиономия. Иногда зловещая, порой насмешливая, чаще всего — будничная, заурядная...

В Ленинграде разводились двое моих знакомых, Коля и Элла. Мирно беседуя, они явились в здание суда. Предъявили соответствующие бумаги. Судья нахмурился.

— Попрошу не улыбаться, — сказал он. — Здесь не цирк! Изложите причину развода!

Мои друзья немного растерялись. Кто-то из них смущенно произнес:

— Мы, как говорится, не сошлись характерами...

Судья еще больше рассердился:

— Что значит — не сошлись характерами?! Назовите конкретную причину — измена, рукоприкладство?!..

— Но мы утратили прежнее чувство, — сказала Элла.

— Я полюбил другую женщину, — вмешался Коля.

Судья задохнулся от бешенства:

— Нашли место — в любви объясняться. Здесь, между прочим, суд, а не танцплощадка! Люди приходят разводиться. У них серьезные, конкретные причины. А вы тут балаган устраиваете. Сядьте и послушайте...

И он вызвал следующую пару.

К столу подошла женщина в ботах. Под глазом у нее синел кровоподтек. Рядом стоял небритый мужчина в телогрейке.

— Изложите причину развода, — обратился к ним судья.

— Пьет, — еле слышно выговорила женщина, — дерется...

Судья удовлетворенно кивал головой.

— Все мои платья топором изрубил... Вовкины учебники пропил. А главное — бьет он меня чем попало...

— Клевета! — закричал мужчина и пнул жену ногой.

Его оттащили находившиеся в зале милиционеры.

Судья оживился. Это был нормальный советский развод. Народные заседатели понимающе хмурили брови...

Причины развода могут быть самыми неожиданными. В старину — более изысканными. В нашу дикую эпоху — попроще.

...Вдовствующая королева Дании — Герлинда была помолвлена с немецким ландграфом Мериндом. Затем помолвка расстроилась. Причины Герлинда сформулировала так:

— Увы, я белым говорю стихом, а он, злодей, предпочитает рифму!..

...Приятель Лермонтова — ротмистр Якубинский сел, будучи в гостях, на клавиши фисгармонии. Его жена тотчас возбудила дело о разводе. Она не могла перенести такого святотатства...

...Эсер Буренин женился в шестнадцатом году на миллионерше Лесниковой. Партийный комитет велел ему немедленно развестись. Буренин развелся, отсудив громадный дом на Троицкой улице в Петербурге. Этот дом заметно пополнил казну социалистов-революционеров...

...Когда я был студентом-филологом, моя однокурсница полюбила рабочего человека Леню. Они поженились. На свадьбу им подарили альбом репродукций Ван Гога.

— Ван Гог — он что, китаец? — поинтересовался Ленья. И добавил: — Я могу нарисовать гораздо лучше...

Однокурсница промолчала. Семейная жизнь дала трещину...

Причины развода бывают на удивление малосущественны.

Муж постоянно свистит. Или — напевает в уборной. Или стрижет за обедом ногти...

Жена злоупотребляет косметикой. Отказывается перечитывать Гюнтера де Бройна. Неумеренно восхищается Джоном Траволтой...

Любая мелочь способна вывести человека из равновесия. Тем более когда люди соприкасаются ежедневно...

Наша знакомая говорила о своем муже:

— Когда Лева надевает туфли, всегда подворачивается язычок...

Эти люди женаты, но я-то знаю — их брак обречен...

...Как-то я упрекнул эстонского юмориста Иво Рейна:

— Почему вы так грубо орете на Линду?

Рейн ответил:

— А почему Линда не смеется, когда я острою?!

Довод прозвучал убедительно. Через месяц они развелись...

Но это все интеллигентские дела. Простые советские люди разводятся менее утонченно.

Вообразите обычную советскую коммуналку. Шесть кухонных столов — шесть бастионов ненависти... Дети в одной комнате с родителями... Ничейные бабки за шкафом... Бесконечные свары, нужда и убожество...

Мужья ташат из дома байковые одеяла. Жены варят щи из сухожилей. Водка, крики, побои — гнетущий мрак советского житья...

А залитая бормотухой провинция?! Какая-нибудь Рязань, где после часу дня едва ли встретишь трезвого мужчину?!

А русская деревня, где одеколон, не в пример тормозной жидкости, считается лакомством?!..

А тысячи лагерных поселений, где дети не знают вкуса яблок?! А миллионы строительных бараков, где новогоднюю елку украшают винными этикетками?!..

Какое уж тут супружество, если половина мужчин засыпает в лыжных ботинках?!..

Водопады отвратительного пойла захлестывают страну. Миллионы людей раскрывают каждое утро глаза в тягчайшей, беспросветной похмельюге. И всюду они — приниженные, забитые — бьют, унижают, мучают женщин.

Где хуже обращаются с женщинами, чем у нас? Где еще бьют их вожжами и палками? Где еще носят они кирзовые сапоги и телогрейки? Где поставлены ниже дворовой собаки?

Где еще творится что-нибудь подобное?! В пустыне? В джунглях? На луне?!

На чьей это совести? Кто за это в ответе? Китайские хунвейбины? Иранские террористы? Может быть, западные либералы?

Где еще бьют женщин сапогами? Кто на такое способен? Да никакой отравленный марихуаной чернокожий! Ни один безмозглый пуэрториканец! Ни единый, самый кровожадный террорист! А у нас — каждый третий. А может, и каждый второй...

Миллионы русских женщин унижаемы — всечасно. Причем не КГБ их мучает. Не партия и ее ленинский центральный комитет. Не Андропов, черт бы его побрал, а собственные мужья. И за одно это мы, российские люди, достойны пожизненной каторги и вечного тоталитаризма...

И не большевики тут виноваты. (У них своих грехов хватает. А у нас — своих.) Всегда так было. Почитайте Костомарова, Тургенева — «Записки охотника». Букашку русский мужик пожалеет. Невидимую лесную козявку пожалеет. А собственную жену — по голове оглоблей...

Вернемся к проблемам брака.

Тысячи молодых женщин выходят замуж ради столичной прописки. Ради человеческого быта. Ради первой категории снабжения.

Семь из десяти подобных браков распадаются в течение года...

Высоко на брачном рынке котируются офицеры. Офицеры — люди дисциплинированные, чистоплотные. На офицеров есть управа. Если что — можно к замполиту обратиться.

Вот и ловят девушки молодых офицеров. А потом служивого направляют к чертовой матери — в Джебказган. И бегут офицерские

жены — домой. С какими-нибудь гастролирующими ленинградскими фокусниками. Чаще — с освободившимися зеками. Я помню, жена нашего командира роты с цирковым лилипутом убежала. Договорились в антракте, и с концами...

Дома преобладали социальные мотивы развода. Пьянство, нищета, серое однообразие жизни, морока тотального дефицита — все это разрушало хрупкое здание брака. Люди заметно ожесточались, становились грубыми, нетерпимыми, крайне воинственными. Поиски выхода из этого замкнутого круга толкали людей на разрушительные шаги.

Бывало, что в основе развода лежали какие-то душевные причины. Но это случалось гораздо реже. Неожиданное чувство, измена, утрата духовных контактов — всякое могло случиться. Человек слаб, им владеют эмоции, жизнь полна неожиданностей. Но все-таки подобных случаев — единицы. Гораздо чаще мы слышали:

— Пьянствует, хулиганит, дерется... Который месяц денег не приносит...

Разводы на душевной почве казались исключением, блажью. Дома они были неслыханной роскошью. Вспомните удивленный шепот молвы:

— У них — квартира, дача, «Запорожец»... И с чего это люди разводятся?..

Но вот советское житье осталось позади. Мы пересекли океан.

Уезжали, главным образом, дружные семейные пары. Вдвоем было легче проскочить через овировскую мясорубку. Трудности сплачивали людей, заставляли держаться вместе.

И наконец — свобода. Тихие улицы Вены. Незабываемые римские каникулы. Сказочная Америка — необъятный горкомовский распределитель для всех.

Мы дружно обзаводились жильем. Дружно покупали автомобили. Дружно ходили в синагогу за матрасами.

Год прошел, за ним второй.

И вдруг начались чудеса. Люди стали безудержно разводиться. Семьи разрушались одна за другой.

Что же такое произошло? Вроде бы — отдельные квартиры, на-

ряды, машины. Вроде бы — калории размером с дворнягу, устроенный быт...

А люди тем не менее разводятся.

Дети в школе, быт налажен, материальные проблемы решены. И тогда вырастают с устрашающей неотвратимостью проблемы человеческого духа.

Вот Рая и Гена. Всем они казались нежными, любящими супругами.

Рая — врач-отоларинголог. Или, как это называется в США, — E.N.T. Гена — бывший постановщик телевизионных фильмов.

Рая сдала труднейшие экзамены. Готовится к частной врачебной практике. Она хорошо водит машину, постоянно совершенствует английский язык. Ее интересует театр, кинематограф.

Рая часто бывает в гостях. Любит путешествовать. Отдыхает и трудится с энтузиазмом.

А Гена часами лежит на диване. Иногда вскакивает, произносит драматические речи:

— Кому я нужен?! В искусстве здесь преуспевают лишь ремесленники. Этого Милоша Формана я бы не взял к себе помрежем...

И он снова ложится...

Рая и Гена пока живут вместе. Но практически они развелись. Рае наскучили его монологи. Ее раздражает неутолимое тщеславие мужа. Его затянувшаяся мрачная бездеятельность.

Они в разводе. Просто Гене некуда уйти. Рая терпит бывшего мужа из жалости.

А жалость — такой ненадежный фундамент для брака...

Вот Лазарь и Белла. Он — блестящий ученый. Работает в одной из престижных химических лабораторий. Участник множества симпозиумов и конгрессов.

Белла — домохозяйка. В Союзе она не работала. На ее попечении был маленький ребенок. Кроме того, Белла часами простаивала в очередях.

Очередей здесь нет. Ребенок подросток. Белла предоставлена себе.

Она читает русские газеты. Беседует по телефону. Даже здесь, в

Америке, Белла одевается в тусклые, неопределенного цвета кофты и платье. Она выглядит запущенной и постаревшей...

Ее мужа окружают на работе яркие творческие личности. Среди них привлекательные, деловые, целеустремленные женщины. Домой Лазарь является все позже. Чаше исчезает по выходным дням...

Миша и Лера приехали четыре года назад. Миша — бывший администратор Ленконцерта. Лера — преподавательница музыки.

Жизнь их поначалу складывалась трудно. Миша водил такси. Администраторов здесь и без него хватало. Он переутомлялся, нервничал, бросал работу.

Лера тоже не могла устроиться по специальности. Поступила на курсы медиков-ассистентов. Сейчас работает во Флашинге и продолжает учиться.

Миша углублен в свое богатое прошлое. В эмиграции его понимает и ценит один человек — Леонидов. То и дело Миша говорит:

— А помнишь, как Сашка Броневицкий дал на гастролях в рожу официанту?

— А как Баглаенко чуть не свалился в оркестровую яму?..

— А как Магомаева обчистили в Семипалатинске?..

— А как Эдита Пьеха бегала в одной рубашке?..

Лера — наоборот — устремлена в будущее. Мечтает стать врачом. Хочет поехать в Европу. Собирает библиотеку.

Их связывает только ребенок. Но дети так быстро растут...

Так что же происходит в эмиграции с древнейшим институтом брака?! Укрепив материальную базу, супруги вынуждены коснуться неведомых им ранее духовных проблем.

Дома силы истощались в поисках материи. При налаженном быте освободившаяся энергия сотрясает фундаменты духа.

В России достаточно быть относительно трезвым, чтобы считаться завидным женихом.

Достаточно рассказать анекдот, чтобы считаться инакомыслящим.

Достаточно быть евреем, чтобы считаться интеллигентом.

Достаточно посетить Болгарию, чтобы считаться заместителем Магеллана и внуком Лаперуза.

Достаточно плюнуть на холст, чтобы считаться художником-авангардистом.

Достаточно не бить жену лопатой, чтобы считаться образцовым мужем...

Здесь все иначе.

Колбасы поел? Поел.

Штаны купил? Купил.

Машину бензином заправил? Заправил.

Голою даму в «Плейбое» узрел? Узрел.

Теперь изволь быть личностью. Изволь быть чутким, глубоким, тонким, любезным, умным, снисходительным, нежным, мужественным, порядочным и добродушным.

Это трудно. Но это — единственный путь...

Так что же нам делать?

Любить. Потому что любовь — это рабство, которое выше свободы. Единственное, ради чего можно этой свободой пожертвовать. Единственное, во имя чего можно лишиться свободы, — без колебаний.

«Новый свет», № 7 (95), 5—11 декабря 1981 г.

КР ТРИ ГОРОДА...

Три города прошли через мою жизнь.

Первый из них — Ленинград.

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную, помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько уязвленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином.

Такие города имеются в любой приличной стране. (В Италии — Милан. В Соединенных Штатах — Бостон.)

Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России...

Следующим был Таллин. Многие считают его искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллинна естественно быть немного искусственным.

Жители Таллина — медлительны и неподвижны. Я думаю, это неподвижность противотанковой мины.

Таллин — город вертикальный, интровертный. Разглядываешь высокие башни, а думаешь о себе.

Это наименее советский город Прибалтики. Штрафная пересылка между Востоком и Западом.

Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад. И третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк...

Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще добродушен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп.

Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она ужасна настолько, что достигает своеобразной гармонии.

Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы евклидовой геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов.

Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда и развлечений.

Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке.

Здесь нет ощущения старожила или чужестранца. Есть ощущение грандиозного корабля, набитого двадцатью миллионами пассажиров. И все равны по чину.

Этот город разнообразен настолько, что понимаешь — здесь есть место и для тебя.

Я думаю, Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно эмигрировать только на Луну.

«Новый американец», № 67, 24—30 мая 1981 г.

КР ТО, О ЧЕМ Я СОБИРАЮСЬ РАССКАЗАТЬ...

То, о чем я собираюсь рассказать, — невероятно. И произошло это на конференции в Лос-Анджелесе.

Еще в самолете меня представили знаменитому ученому Джорджу Гибиану из Корнуэлла. Мы разговорились (Джордж превосходно владеет русским языком).

Но поразило меня другое. Меня поразил его галстук. На вишневом фоне, пониже безукоризненного узла, золотилась отчетливая монограмма — «С. Д.».

Это были мои инициалы. Я порозовел от гордости. Я и не думал, что моя популярность так велика.

Всю дорогу я ласково подмигивал Гибиану...

Началась конференция. Нас познакомили с ее организатором — госпожой Матич. Это была красивая молодая женщина с чудесной улыбкой.

Но поразило меня другое. Ее элегантные кожаные туфли были украшены моими инициалами — «С. Д.».

Я был крайне взволнован. Моя популярность достигла небывалых размеров. Я даже чуть изменил походку.

Далее в ходе конференции меня подстерегали бесчисленные сюрпризы.

Свои инициалы я обнаружил на портфеле выдающегося журналиста Роберта Кайзера. На авторучке, принадлежавшей драматургу Эдварду Олби. На золоченой пудренице Веры Данхэм. На зажигалке Эллендеи Проффер...

Мое сердце бешено колотилось. Глаза сверкали. Щеки покрылись малиновым румянцем.

Я говорил себе:

— Не возбуждайся! Все идет нормально. Ты давно и честно работаешь в литературе. Редактируешь популярный еженедельник. Тебя, наконец, оценили. Наступил долгожданный триумф!..

Три дня пролетели незаметно. Семинары, заседания, художественные чтения, банкеты, разговоры в кулуарах... Литература третьей волны заявила о себе громко и убедительно.

Окончился последний, заключительный семинар. Нас повезли в Беверли-Хиллс. Там в особняке Дохини Грейстоун состоялся прощальный банкет. На одной из веранд под звуки флейты я разговаривал с Аксеновым.

Кумир моей юности был, как обычно, сдержан и приветлив. Слава не превратила его в оракула и монстра.

«Я буду таким же, — мелькнуло в сознании, — простым и доступным...»

Но поразило меня другое. Голубые носки Василия Аксенова были украшены моими инициалами — «С. Д.».

И тогда я не выдержал.

— Вася, — сказал я притворно, — что означают эти буквы? Что означают эти непонятные буквы — «С. Д.»?

— Кристиан Диор, — ответил Вася, — Christian Dior. Самая модная парижская фирма. Производит одежду, духи, украшения...

Наступила мучительная пауза. Голос флейты звучал уныло и равнодушно.

Я вздохнул и подумал:

«Триумф откладывается!..»

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

О статье Вайля и Гениса «Бардак в мире секса»

От этой демократии буквально не стало житья. Литературные конквистадоры Вайль и Генис написали статью. Называется — «Простак в мире секса». Статья мне резко не понравилась. Казалось бы, ты — главный редактор, ты — шишка. Чего тут мудрить?! Статью в корзину, авторам — предупреждение!

Так нет. Изволь напечатать, а потом уж — возражать.

Напечатал — возражаю.

В статье два раздела. Первый, я думаю, написан Александром Генисом. Давно я замечаю в Генисе ханжеские нотки. Остальное, мне кажется, написал Петр Вайль. Вайль — человек размашистый и откровенный.

Если Генис — Арамис, то Вайль — Портос. (И оба пишут как Дюма — талантливо, быстро, небрежно. Есть у нас и Д'Артаньян — Борис Меттер. С его гасконскими штучками. Но это к слову...)

В первом разделе говорится о любви, о душе, о целомудрии и супружестве. Центральный тезис формулируется несколько жеманно — «Без любви это гадко».

Второй раздел трактует это дело в положительном смысле. Мол, почему бы и нет? Для здоровья полезно. И вообще...

Итак — две точки зрения.

Первая точка зрения — абстрактна. Вторая — безнравственна.

Попытаюсь в ущерб нюасам коротко изложить содержание обоих разделов.

Эмигрант попадает на Запад. Понемногу устраивается — работа, квартира. И тогда он крадучись направляется в секс-шоп. В ожидании могучих порывов разменивает доллар. Опускает четвертак — видит тусклую киноленту. На экране кишечно-желудочная суета. В результате — чувство неловкости и уныния. Рядом — еще одна кабина. Гулять так гулять! Снова квотер — отодвигается печная заслонка. На грязном коврикe приплясывает голая девица. Сначала

кажется — обнаженная, присмотришься — все-таки голая. И заметьте, украдкой почесывается...

Авторы делают первый вывод — «У эмигрантов наблюдается фантастическая тяга к сексу».

Далее следуют грустные размышления. О том, как под влиянием эротических соблазнов распадаются браки. Мол, тяготы российской жизни сплывали. А здесь у людей вырастают крылья. (Да еще черт знает где.)

Заканчивается раздел наставительной ламентацией:

«Главное — любить! Секс без любви — гнуснейшее изобретение века!» (Хуже водородной бомбы?)

И наконец:

«Зачем мы тащим на искусственный алтарь единственное сокровище — душу?!»

Здесь что ни слово — то абстракция: любовь, душа, изобретение века...

И любое соображение — натяжка.

Начнем с «фантастической тяги». (Или с фантастической натяжки.)

Эмигрант попадает на Запад. В абсолютно новые условия. В абсолютно незнакомую среду. В психологическое, экономическое, нравственное зазеркалье.

Его мучительно интересует все. Супермаркеты, автомобили, негры, дискотеки, уличные музыканты...

В том числе и секс-шопы.

Америка — страна неслыханного, чрезмерного изобилия. Есть все, что хочешь. Есть съедобные шахматы. Есть съедобные дамские штанишки. На 14-й улице продается съедобная Библия.

В супермаркете, как в музее. Больше смотришь, чем покупаешь.

И что же в результате? Стали мы обжорами, гурманами? Да ничего подобного. Наоборот, питаемся разумнее и сдержаннее. Не случайно русские здесь поголовно худеют.

Коснусь еще одной параллели — алкогольной. Как бывший пьяница, я нахожу ее очень выразительной. (Поклон товарищу Фришману.) Казалось бы, вина — залейся! Есть такие огромные бутылки, что к ним прилагается насос! И стоит вино относительно дешево. А

пьют здесь люди куда меньше. Я, например, совсем бросил. (Не в пример авторам статьи.)

Вернемся к сексу. И к фантастической тяге. Авторы пишут: «Есть здесь кружок светских львов. Единственное занятие которых — умножение побед».

Так и пишут — светских львов. Без кавычек.

Я этих львов знаю. Неопрятные молодые люди с комплексами. В Ленинграде такими был набит знаменитый «Сайгон». Лично мне эта шпана рублей восемь задолжала...

Любое, даже поверхностное, исследование обозначает статистическую единицу. Некий воображаемый эквивалент. То, от чего ведутся расчеты.

Что за гипотетический эмигрант, о котором написана статья? Который листает журналы «Хастлер» и «Плейбой»? Засыпает в порнографическом кино? Умножает свои жалкие победы? И наконец, в погоне за счастьем бросает жену?

Совершенно ясно, что объект раздумий Вайля и Гениса — убог и ничтожен. Иначе бы этот гипотетический человек знал простые вещи. Например, что «Плейбой» — очень хороший литературный журнал. С изысканным юмором и великолепной прозой. Что «живые акты» предназначены для одиноких стариков. Что это для стариков как — посидеть на лавочке. Поглядеть на бедовую молодежь.

И что распадаются здесь не семьи, а коммуналки...

У Шекспира есть хорошая пьеса — «Ромео и Джульетта». Смотрят люди пьесу и вздыхают:

— Эх, было время! Была настоящая любовь!

Увы, настоящая любовь и при Шекспире была огромной редкостью. Иначе он не писал бы «Ромео и Джульетту». А написал бы «Далеко от Москвы». Или еще лучше — «Это я, Вилечка!»...

Переходим ко второму разделу.

Вначале авторы жалуется на изъяды сексуального просвещения в России. (Сравнение дается явно в пользу Америки.)

Затем констатируется опять же фантастический процент разводов в эмиграции. (Выше, чем показатели имперского города — Риги.)

Далее речь заходит о преимуществах американской жизни. (Достаток, жилплощадь, свобода.) Что дает возможность строить реальные отношения.

За этим следует панегирик техническому опыту. Позывные круглосуточной эротической готовности. «Вставай, проклятем заклеяменный!» И так далее...

О духовной близости авторы говорят мимоходом: «Это дело тонкое, меняющееся, сугубо уникальное...»

И наконец — вывод. Семья распалась — не беда. Может, секс — как волк. Оздоровливает джунгли нашей жизни...

Кстати, авторы приводят замечательные цифры. Дома, мол, сексу отводилось 10 процентов. (Чего — времени, сил, расходов?) Здесь — 50 процентов.

Меня эти цифры поразили. По-моему, все наоборот. Дома мы были скованы, зажаты. Политика для нормального человека была закрыта. Деловая карьера — тем более. Досуга практически не существовало. (Пьянство да чтение.) Творчество — лучше не вспоминать...

Доступной оставалась лишь сфера интимного. Секс был на родине единственной законной формой частного предпринимательства. Именно здесь мы выражали себя наиболее полно и безбоязненно.

Вообще сфера человеческих отношений требовала куда больших усилий. Большой ответственности. Составляла более значительную часть нашей жизни.

Есть у меня предмет особой гордости. За 37 лет жизни я не испортил отношений ни с кем. Ни с одним человеком. Ни с женщиной, ни с женщиной. Даже члены партии со мной любезно здоровались.

А здесь у меня десяток явных врагов.

Как это получается? Очень просто. Есть у меня тут знакомый. Поэт. Из Ленинграда. Хороший парень. Дал мне стихи. Естественное — дрянные. Дома я бы ему сказал:

— Ты гений, Витя, явление, Монблан!

И мы бы продолжали дружить.

Здесь — все по-другому. Здесь у меня — газета. А печатать стихи — нельзя. Они плохие. Значит, надо говорить правду. Короче, вернул ему стихи. А он мне написал:

«Ты — жлоб. Я еще в Ленинграде слышал, что ты проданся богатым евреям...»

Теперь мы не дружим. Жаль...

В Союзе мы жили, как в тюрьме, в камере. Упаси Господь, поспориться с человеком в тюремной камере. Будет твой сокамерник умышленно напевать «Кукарачу». Или зубами клацать по ночам. Изводить тебя.

Здесь отношения с людьми — главное. Увы, это так. Есть — твое дело. Есть творчество. Есть цели. Есть возможности...

Конечно, человек слаб. Бывает, натворишь чего-то лишнего. В квартире у приятеля. И стараешься поскорее забыть об этом...

Не верю я и в благо сексуального просвещения. Человеку отведена долгая жизнь. Он рождается наивным младенцем. Становится застенчивым пылким юношей. И наконец — опытным, сильным мужчиной.

Счастье тому, кто пережил безумную юношескую влюбленность. И глубокую, мучительную страсть зрелых лет. И тихую, вечернюю благословенную привязанность.

Технический опыт пятидесятилетнего мужчины губит юношу. Обкрадывает молодого человека. И гордиться таким опытом — нелепо. Это так же смешно, как гордиться лысиной или металлическими зубами.

Ведь любовь — довольно нежное растение. И не торопитесь вытаскивать его с корнем, чтобы убедиться, правильно ли оно растет...

* * *

Закончив эти страницы, я повстречал на радио хорошего журналиста Гендлера. Остановились, закурили. Поговорили о том о сем. Тут он начал ругать статью Вайля и Гениса. Двадцать четыре минуты ее ругал. Я специально время заметил.

Затем я повстречал хорошего журналиста Шулькевича. Он тоже начал ругать статью Вайля и Гениса. И ругал ее без перерыва двадцать шесть минут.

Я пришел домой и говорю жене:

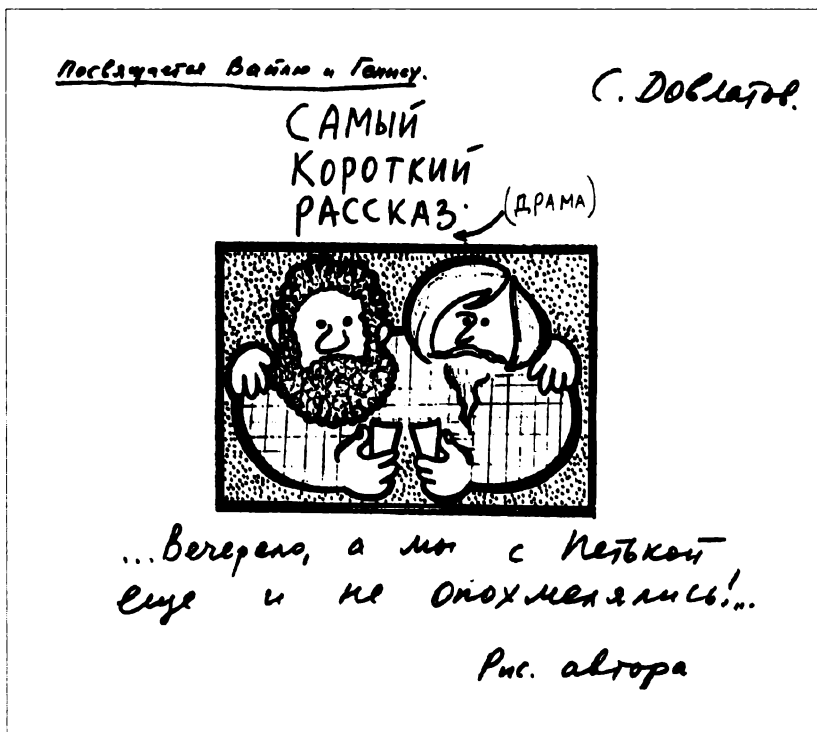
— Смотри, как интересно. Гендлер полчаса ругал статью. И Шулькевич полчаса ругал статью. Оба — занятые люди. Типичные

американцы. Ни минуты свободного времени, а тут — буквально не унять!

— Действительно, интересно, — говорит моя жена, — ты эту статью ругаешь уже вторую неделю...

Что бы это значило, думаю. Может, Вайля и Гениса нужно поздравить?

«Новый американец», № 24, 25 июля — 1 августа 1980 г.



КР ДИСКУССИЯ...

Дискуссия «Нового американца» с Центральным органом продолжалась месяц. Обеими сторонами были допущены некоторые передержки. На этом взаимный обмен любезностями прекращается...

Друзья нас спрашивают:

— Чего вы добились? Рекламы Андрей Седых все равно не даст...

Мы это знаем. Реклама — черт с ней! Лучшая реклама — качество газеты. А здесь у нас еще большой простор для совершенствования.

Чего же мы все-таки добились?

Мы еще раз заявили о своем праве на критическое исследование действительности. Вновь засвидетельствовали принципы, которыми руководствуемся:

Газета является независимой и свободной трибуной. Она выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Умный читатель делает выводы сам...

Мы отстаиваем свои демократические позиции. Именно этими позициями определяется категорическое неприятие тоталитаризма. Нетерпимость к любому проявлению человеконенавистничества. Безоговорочное осуждение любых экспансионистских поползновений.

В остальном мы готовы проявлять чудеса терпимости. С уважением исследовать доводы любого оппонента. Критикуя его точку зрения, не пытаться дезавуировать личность собеседника. Помнить, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого...

Мы признаем «НРС» влиятельнейшей и солиднейшей газетой русского зарубежья. Признаем бесчисленные заслуги этого издания. Конечно чтим талант и опыт главного редактора «НРС».

Мы считаем, что при, всех различиях, интересы трех эмигрантских волн — едины. Корни — едины. Цели — едины. Проблемы — едины...

Наконец, мы осмеливаемся внести следующие конструктивные предложения:

1. Организовать заседание «Круглого стола» при участии лучших журналистов трех эмигрантских волн. Тема заседания: «Проблемы объединения русских эмигрантов в Америке».

2. Предложить руководителям «НРС» дать обстоятельные интервью корреспондентам «Нового американца».

3. Опубликовать в двух газетах серии проблемных материалов на эмигрантские темы.

4. Оставить за каждой газетой безусловное право на самостоятельное развитие.

5. Считать деловую и творческую конкуренцию абсолютно нормальным явлением. Смело критиковать взаимные промахи и недостатки. Не опускаясь при этом до антагонизма и вражды...

6. Короче, жить по законам цивилизованного общества.

Мы высказались и ждем ответа.

«Новый американец», № 69, 7—13 июня 1981 г.

КР

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ДУРАКОМ И НЕГОДЯЕМ...

Выбирая между дураком и негодяем, поневоле задумаешься. Задумаешься и предпочтешь негодяя.

В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон. Есть корыстная и низменная логика. Наличествует здравый смысл.

Его деяния предсказуемы. То есть с негодяем можно и нужно бороться...

С дураком все иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, алогичны.

Дураки обитают в туманном, клубящемся хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя биология, своя арифметика. Им все нипочем. Они бессмертны...

Наша газета существует четырнадцать месяцев. Я не говорю, что все идет замечательно. До сих пор нет хорошего экономиста. Нет странички для женщин. О юном поколении совсем забыли...

Мы все это знаем. Что-то делаем, пробуем, ищем.

И мешают газете вовсе не агенты КГБ. Не палестинские террористы. Не американские либералы. А мешают ей старые знакомые, жизнерадостные и непобедимые — дураки.

Возникла у нас дискуссия о смертной казни. Вопрос освещался по-разному. С юридической позиции (Лейкин), с этической (Шрагин), с общедуховной (Рыскин).

Умные люди поделились своими раздумьями. Высказали печальные истины. Попытались выдвинуть конструктивные идеи.

Тут же взял слово дурак:

— Чего это вы пишете?! Зачем вы нас расстраиваете?! Какая еще преступность?! Я четыре года в Америке, и меня до сих пор не ограбили! А вы говорите...

Вы бы, уважаемый товарищ дурак, сказали это Игорю Шахнису...

Появилась у нас статья о местном антисемитизме. С фотографиями, цифрами, документами.

И снова дурак выступает:

— Какой там антисемитизм?! У нас все хорошо!..

Что дураку ответить? Вот разрисуют тебе свастикой физиономию, тогда узнаешь...

То и дело появляются у нас критические статьи. Иногда довольно резкие.

И снова дурак недоволен:

— Зачем вы критикуете бездарных писателей?! Вы лучше критикуйте талантливых, чтобы не зазнавались...

Состоялся в газете разговор на тему: «Что это значит — быть евреем?»

И снова дурак карабкается на трибуну:

— Какая разница, евреи мы или не евреи? Грин-карта есть, машина есть, сосисок хватает... Какие могут быть дискуссии?!

Что с дураком поделаешь? Дурак вездесущ и активен. Через ОВИР прорвался. Через океан перелетел. И давит почище Андропова.

Поневоле задумаешься, выбирая между дураком и негодяем. Задумаешься и все-таки предпочтешь негодяя.

Но самое ужасное, когда он еще и дурак в придачу...

«Новый американец», № 70, 14—20 июня 1981 г.

КР КОЛОНКИ РЕДАКТОРА ВЫЗЫВАЮТ...

Колонки редактора вызывают у моих знакомых самые неожиданные чувства. От безумного восторга до заметного испуга. То и дело я выслушиваю наставления, советы, рекомендации.

Например:

— Пиши о чем-нибудь серьезном. О налоговой системе. О ливанском кризисе. О преследовании христиан-баптистов... Зачем ты написал про дочку? И тем более — про собаку? Может, завтра и про таракана напишешь?..

Люди всю жизнь читали передовые статьи. Они привыкли. Им хочется получать ценные руководящие указания. Им без этого неуютно.

Что же делать?

Политикой у нас занимается Гальперин. Нравственными вопросами — Рыскин. Руководящие указания дает Борис Меттер. Да и то неохотно...

Что же это за колонки такие? Во имя чего существуют? Пользуясь выражением Андрея Седых, — кому это нужно?!

Колонки редактора появились не от хорошей жизни. Необходимо было что-то доказывать уважаемой публике. О чем-то просить. Освещать какие-то подробности редакционного быта. Короче — быть посредником между читателями и газетой.

Постепенно отношения с читателями наладились. А колонки тем не менее сохранились. Речь в них шла о чем угодно. В том числе и о моей собаке. Точнее, о ее самочувствии в эмиграции. Разве это не интересно?..

В старой русской журналистике бывало понятие — фельетон. Причем отнюдь не в теперешнем его значении.

Нынешний фельетон — это сатирическая корреспонденция. По идее — смешная, бичующая всевозможные недостатки.

Старинный фельетон был иным. Это было короткое сочинение на вольную тему. Иногда веселое, иногда печальное. Как говорится — взгляд и нечто... Речь без повода... Случайный разговор на остановке...

Встречаются утром два человека:

— Как поживаешь?

— Да ничего. А ты?

— А у меня, брат, произошла такая история...

Поговорили и разошлись. Впереди наполненный событиями день. Содержательные разговоры, деловые встречи, ответственные заседания...

Потом неожиданно задумываешься:

«А вдруг самое главное было произнесено утром? В этом случайном разговоре на троллейбусной остановке? В грохоте нью-йоркского метро?..»

Возможно, чересчур серьезные люди будут разочарованы. Им я могу рекомендовать для чтения «Большую Советскую Энциклопедию»...

А нормальным людям мне хочется сказать:

— Здравствуйте. Как поживаете?.. У меня произошла такая история...

И следующую колонку я принципиально напишу о тараканах в эмиграции!

«Новый американец», № 71, 21—27 июня 1981 г.

КР В АМЕРИКЕ НАС ПОРАЗИЛО МНОГОЕ...

В Америке нас поразило многое. Супермаркеты, негры, копируемые машины, улыбающиеся почтовые работники... Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся... Ругаем инфляцию, нью-йоркский климат, грязь в метро, чернокожих подростков с транзисторами...

И, конечно же, достается от нас тараканам. Эти усатые насекомые занимают среди язв капитализма весьма достойное место.

Вообразите себе шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и бумажными спичками. Чуть пониже безработицы. И чуть повыше марихуаны...

Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое. Ко всему привыкли. Дома было хамство и лицемерие. Консервы «Завтрак туриста» и ботинки «Скорород». КГБ и цензура. Коммунальные жилища и очереди за мылом.

А вот тараканов не было. Я их что-то не припомню. Хотя жить приходилось в самых разных условиях.

Однажды я снял комнату во Пскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было...

Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники? Не знаю...

Короче, приехали мы, осмотрелись. И поднялся ужасный крик:

— Нет спасения от тараканов! Так и лезут из всех щелей! Ох уж эта Америка! А еще — цивилизованная страна!

Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью.

Вроде бы и зверя нет страшнее таракана! Совсем разочаровал нас проклятый капитализм!

А между тем — кто видел здесь хотя бы одно червивое яблоко? Хотя бы одну подгнившую картофелину? Не говоря уже о старых большевиках...

И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же...

Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля.

Таракан не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос?

Таракан знает свое место и редко покидает кухню.

Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилища гнусным запахом химикатов...

Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить — это уже слишком. Но примириться, я думаю, можно! Я, например, мирюсь.

И, как говорится, — надеюсь, что это взаимно!

«Новый американец», № 72, 28 июня — 4 июля 1981 г.

КР МНЕ ПОЗВОНИЛ ЗНАКОМЫЙ...

Мне позвонил знакомый и говорит:

— Что же это получается? «НРС» игнорирует вас. Вы игнорируете «Новую газету». Седых лишает вас рекламы. Вы лишаете рекламы — их.

Седых молчит в ответ на критику. И вы молчите. «НРС» давит тех, кто слабее. И вы давите слабых. Седых презирает вас. И вы презираете своих конкурентов. Значит, все повторяется? Где же ваши принципы?..

Что я могу ответить?

«Новую газету» широко рекламирует Андрей Седых. Поскольку не видит здесь конкуренции. «Самая популярная газета в мире...» и так далее. Скромно и убедительно.

Конечно, Рубину приходится отрабатывать эту милость. И он это честно проделывает. Тут ему можно лишь посочувствовать.

Дальше. Мы действительно критикуем «НРС». Особенно статьи главного редактора, направленные против третьей эмиграции. Это наше право.

То, что делает Рубин, не является критикой. Это — просто грубость. Знакомое всем нам отечественное хамство.

Мы готовы отвечать на критику. Реагировать на хамские выходки — глупо.

Кто сказал, что мы презираем «Новую газету»? Вовсе нет. И мы не отказываемся ее упоминать. Лишь бы нашелся достойный повод...

Более того, я регулярно перелистываю «Новую газету». Покупаю ее каждую неделю. Хотя подписаться не решаюсь.

Я не считаю эту газету вредной или опасной. В ней попадаются интересные материалы. Особенно те, что перепечатаны из других журналов. Например, Игорь Бирман, Суслов, Зиновьев...

Мне очень нравятся корреспонденции ЛимЗергера. Заняты переводы Козловского, обзрения Габая. Очерки Богачинской, как минимум, гораздо профессиональнее ее стихов.

Сам Евгений Рубин — добросовестный, опытный журналист. Лучшие его вещи мы бы охотно печатали. И я надеюсь, еще будем печатать.

Короче, газета вовсе не плохая. Правда, не очень яркая и талантливая. Чутьочку скучная и однообразная. Без собственного мнения. Без дискуссионных и проблемных материалов. Но — информативная, скромная и по-хорошему заурядная.

От души желаю ей — выжить. Преодолеть финансовые трудности. С успехом распродать замечательные картины Шемякина. Победить читательскую инертность. Обрести свое творческое лицо. Научиться самостоятельно мыслить.

А хулиганить и грубить, я думаю, они перестанут. Это, как говорит-ся, болезни роста...

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ

Послушай, а что ты скажешь,
если он будет — Моцарт,
Этот неживший мальчик,
вытравленный тобой!..

Дмитрий Кедрин

У этих янки все проблемы — номер один. Инфляция, налоги, хранение оружия...

Расовая проблема — номер один. Преступность — номер один. Опять же — марихуана. Нелегальная эмиграция с Кубы. Или — как быстрее похудеть...

Все это — проблемы номер один.

Коммунистическая экспансия — тоже проблема. Причем отнюдь не самая животрепещущая. Так, на уровне легализации гомосексуализма. Где-то между экономией воды и снижением учетного процента.

Нам это кажется диким. Нас раздражает эта способность уделять внимание такому широкому кругу проблем. Само их многообразие вызывает у нас критическую реакцию:

— Подумаешь, вода! Если надо, будем умываться клаб-содой.

Мы устроены по-другому. Мы, как нам представляется, более цельные. Мы всегда добиваемся чего-то одного. Выделяем одну, с нашей точки зрения, главную проблему. Все остальное — малосущественно.

Так и хочется сказать американцам:

— Главное — коммунистическая опасность. Будьте начеку! Оставайтесь в покое гомосексуалистов и наркоманов. Рядом с Брежневым они — невинные младенцы. Плевать на инфляцию! Плевать на диету! Плевать на оружие! Все силы на борьбу против мирового коммунизма!..

Нас можно понять. Мы — одержимые. Мы — opinionated. (Загляните в словарь.) Мы знаем, что все несчастья — от коммунистов. Инфляция, безработица, марихуана — все это коммунистические происки.

Если ты женат на бэ,
Виновато КГБ!
Если вовсе не женат,
Тоже Брежнев виноват!..

И так далее.

Еще раз говорю — нас можно понять. Мы — одноклеточные. Или — однолинейные. Такими уж нас воспитали.

Западный человек устроен по-другому. Был такой писатель Андрэ Жид. По фамилии — жид. По национальности — француз. Одно время — большой поклонник Сталина. При этом — гомосексуалист. При этом — замечательный писатель.

Вот такое немислимое ассорти. Выходит, жизнь — сложна...

Горький презирал Достоевского. И Набоков презирал Достоевского. Казалось бы, Набоков должен уважать товарища Горького. На базе взаимного презрения к Достоевскому. Однако Набоков и Горького презирал. Еще больше, чем Достоевского. Такие дела, как сказал бы Воннегут...

Западный человек — плюралистичен. Плюрализм означает — множественность. (От латинского «плюралист» — много. В чем я совершенно не уверен.)

Плюрализм — это многообразие интересов. Широта взглядов. Терпимость и снисходительность. Плюрализм — это способность воспринять (не разделить, а именно — воспринять) чужую точку зрения. Плюрализм — это чуть ли не единственное украшение современной западной цивилизации.

Американцев волнует самый широкий круг проблем. От Польши до Сальвадора. От бездомных собак на Аляске до эпидемии гриппа в Зимбабве.

Американская филантропия не знает географических, идеологических, более того — логических пределов.

Десятки тысяч американцев с увлечением занимаются русскими проблемами. Тип американца, «Сдвинувшегося на России» (Crazy about Russia) — обычное явление. У одного меня четверо таких знакомых. Куда до них славянофилу Парамонову!

Эти люди говорят о Щаранском и Марченко. Перечитывают

«Архипелаг». Знают наизусть стихи Горбаневской. Посылают джинсы Гарику Суперфину. Пытаются вытащить из тюрьмы Сеню Рогинского...

Сотни американцев фиктивно женились на русских барышнях. Вывезли их, таким образом, на свободу.

А наши? Иного по любви жениться не заставишь!..

Вспомните себя до эмиграции. Кого из нас волновали американские проблемы? Что я знал о Мартине Лютере Кинге? В лучшем случае, что он был негр. That's it...

Нам все должны. Нам все обязаны помогать и сочувствовать. И чтоб не смели отвлекаться! Чтоб не теряли время, решая какие-то собственные проблемы! Этого еще не хватало!..

Попросите у русского эмигранта доллар на беженцев с Кубы. Мы даже не пойдем, о чем вообще идет речь...

Как может Рейган задумываться о паршивой ливанской нефти? Разве для этого мы выбирали его президентом?! Разве мало ему наших проблем?!

В магазине «Красное яблоко» состоялся такой разговор. Вернее — монолог. Эмигрант в добротной шапке говорил:

— Моему брату в Харькове кандидатскую не утвердили. Я написал Рейгану. Так этот шмок даже не ответил. Поручил кому-то из шестерок...

Когда мне предложили участвовать в дискуссии на тему абортот, я слегка растерялся. Начал листать американские газеты и журналы.

(Кстати, слухи о моем беспросветном незнании английского языка чуточку преувеличены. Время идет, понемногу читаю, могу объясниться. Разумеется, я — не Козловский. Однако на фоне Евгения Рубина мы — Уолтер Кронкайт.)

Начал листать газеты и журналы. Выяснилось, что проблема абортот стоит необычайно остро. Дебаты между сторонниками и противниками абортот носят крайне болезненный характер. Дискуссия сопровождается эмоциями редкостного накала. Копья ломаются с оглушительным треском. То и дело нам попадают в американских журналах следующие экстатические формулировки:

«...Речь идет о жизни и смерти...», «...Такого не было со времен рабства...», «...Кто дал им право распоряжаться чужой жизнью?..», «...Надо бежать с этого кровавого материка...», «...Аборты раскололи наше духовное единство...», «...Наша частная жизнь в опасности...», «...Эта тема разъединила нас, как гражданская война...», «...Такого не позволял себе даже господин Маккарти...», «...Верните мне право распоряжаться собственным телом...», «...Каждая вторая из наших знакомых женщин — убийца!..»

И так далее.

Действительно, проблема серьезная. Хотя бы потому, что вызывает такие дикие страсти...

Я попытался упорядочить доводы обеих сторон. Несколько их систематизировать.

Получилась такая картина. Противники абортов выдвигают следующие генеральные тезисы:

Аборт есть поощряемое конституцией убийство, истребление живого существа!

Аборт есть стремление корректировать мудрую и гениальную природу!

Аборты разрушают традиционные семейные ценности. Они деморализуют молодежь и способствуют цинизму!

Как видите, здесь преобладают соображения морально-этического характера. С едва заметным оттенком ханжества. Но об этом — позже.

Коснемся главных тезисов противной стороны. Странники легальных абортов выдвигают не менее крепкие доводы:

Женщина имеет право распоряжаться собственным телом!

Аборты избавляют от раннего материнства несовершеннолетних безответственных девчонок!

Аборты исключают появление нежелательных, то есть — заведомо одиноких детей!

Аборты спасают бедняков от еще худшей нищеты!

Аборт есть проявление свободы личности, на чем и зиждется традиционная демократия!

Нелегальные аборты приносят громадный вред!..

И тому подобное.

Как вы убедились, здесь преобладают доводы материалистического свойства...

Идет борьба. Не затихают дискуссии. В них участвует правительство, самые крупные чиновники государства.

На обложках газет и журналов — кричащие, сенсационные заголовки. Польша, Афганистан, терроризм... И рядом, представьте себе — злополучные, малосущественные аборт.

Рабочие Гданьска отстаивают свои права. Афганские партизаны все еще сопротивляются захватчикам. Американские женщины борются за право распоряжаться собственным телом...

Благословенно государство, воплотившее идеалы свободного мира. Трижды благословенно государство, не забывающее о своих внутренних проблемах. Стоит забыть — и вся наша цивилизация полетит к дьяволу. Потому что опорой свободного мира является свободная личность. Живой, конкретный и свободный человек.

Ему одному нужна свобода. И других задач у цивилизации — нет. Кроме того, чтобы эту свободу ему предоставить. В Москве, в Лиссабоне, на Кубе. Такие дела...

А теперь — по существу затронутых вопросов. Нечто вроде беглого отрывистого комментария. Что называется — пунктиром.

Потому что главное, в общем-то, сказано.

Мне кажется, существует эпицентр вышеупомянутых житейских, морально-философских, духовных и прагматических разногласий. Некая точка, где перекрещиваются все силовые линии этой затянувшейся, болезненной дискуссии.

Можно ли рассматривать зародыш как живое существо. Воспринимать его как живую суверенную личность? Если да, то аборт есть предумышленное убийство. Если нет, то рядовая клиническая операция.

Видимо, на этот счет есть разные мнения.

Я не биолог, не химик, не врач. Однако мне кажется, что речь идет не о живом существе, и тем более — не о живой личности. Я думаю, речь идет о живой материи.

Напомню, что уничтожение биологически живой материи про-

исходит ежесекундно и в грандиозных масштабах. Не вызывая и тени протеста. И вообще, чем отличается месячный зародыш от содержимого куриного яйца?!

Я думаю, глупо считать началом жизни момент зачатия. (Почему тогда не момент знакомства?) Мне кажется, начало жизни — есть проблеск самосознания. Иначе говоря, первый крик новорожденного.

Единственное, что я хотел бы добавить, сам не знаю почему:

Аборт следует делать как можно раньше. И чем раньше, тем лучше. Вернее, чем позже, тем хуже. Подкрепить это соображение научно — затрудняюсь.

А теперь — еще более коротко и отрывисто:

Разрешить аборты — вовсе не значит поощрять аборты. Аборт всегда исключительная мера. Всегда — житейская драма. Это знают почти все женщины средних лет...

Аборты неоспоримы в исключительных случаях. То есть для несовершеннолетних. Для жертв изнасилования. Для пребывающих в крайней бедности. И для тех, чьему здоровью роды могут повредить...

Не аборты разрушают традиционные семейные ценности. Традиционные семейные ценности естественно устаревают. На смену одним ценностям приходят другие. Хорошо это или плохо — не тема сегодняшнего разговора...

Нелегальные аборты, разумеется, — страшное зло. Хотя бы потому, что совершаются в непотребных условиях. Однако как довод я принимаю это соображение неохотно. Сам факт легализации — зла не устраняет. Достаточно вспомнить легальный марксизм...

Аборты есть вызов природе не более чем сама медицина. Не более, чем любая гигиеническая процедура. Так уж вышло, ибо природа создала нас без запасных частей...

Менее всего я разделяю концепцию феминисток:

«Нет большего выражения тирании, чем запрет распоряжаться собственной плотью!»

Мне кажется, это просто-напросто женская блажь. В отношении собственной жизни (как и в отношении чужой) необходимо придерживаться законов.

Вот мы и коснулись главного. Два полюса цивилизации — свобода и закон. Как же, спрашивается, нам достигнуть их одновременно?!

Человек, разрешивший такую проблему, обессмертит свое имя навеки.

А сейчас дискуссия продолжается. И раз она продолжается, то, значит, гражданской войны не будет. И вообще катаклизмов не будет. Потому что катаклизмы начинаются в тишине.

«Новый американец», № 102, 26 января — 1 февраля 1982 г.

КР ИНТЕЛЛИГЕНТАМИ СЕБЯ НАЗЫВАЮТ ВСЕ...

Интеллигентами себя называют все. Человек порой готов сознаться в тягчайших грехах. Он готов признать себя неаккуратным, злым, ленивым, черствым и жестоким. Он даже готов признать себя неумным.

Но где вы слышали, чтобы кто-то заявил:

— Я человек — неинтеллигентный!

В лагере особого режима карманник Чалый повторял:

— Я — интеллигентный вор. Мокрыми делами не занимаюсь...

В Канавине, где я снимал жилье на лето, хозяин дома уважительно твердил:

— Серега у нас — интеллигент. Политурсы и одеколону не употребляю. А только — белое, красное и пиво...

Следователь эстонского КГБ товарищ Зверев говорил мне:

— Вы должны нам помочь. Вы же интеллигентный человек. Вот карандаш и бумага...

Короче, все интеллигенты. И царит в этом деле невероятная путаница.

Интеллигентность путают с культурой. С эрудицией. С высшим образованием или хорошими манерами. Даже с еврейским происхождением:

— Скажите, вы — еврей?

— Нет, просто у меня интеллигентное лицо...

В эмиграции дело запутывается еще больше.

Интеллигенты вынуждены менять свои профессии. Музыковеды становятся бухгалтерами. Кинорежиссеры — агентами по недвижимости. Художники — лифтерами и охранниками.

Многие интеллигенты работают в такси. Некоторые занимаются физическим трудом.

Интеллигентные люди открывают магазины, рестораны, прачечные.
Так кто же интеллигент?

Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего партнера?

Интеллигентен лабух, называющий себя звездой международной эстрады?

Интеллигентен Перельцвайг, оскорбивший Григория Рыскина за то, что Рыскин был учителем в детской колонии?

Интеллигентен редактор, поместивший эту низость в газете?

Вот и разберись! Если человек сел за руль, то продолжает ли он быть интеллигентом? Не абсурдно ли такое выражение — бывший интеллигент? Не звучит ли оно так же глупо, как бывший еврей? Бывший отец? Или — бывший автор «Капитанской дочки»?

Интеллигент за баранкой остается интеллигентом.

Хам остается хамом.

Но все-таки кто же — интеллигент?

Спорное, но выразительное определение интеллигентности дал Борис Меттер:

— Интеллигент — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

«Новый американец», № 74, 12—18 июля 1981 г.

КР ТАК КТО ЖЕ МЫ НАКОНЕЦ...

Так кто же мы наконец? Евреи или не евреи?

В Союзе нам жилось легко и просто. Еврейство было чем-то нехорошим, второсортным. В лучшем случае — простительным. Так бессознательно рассуждали даже приличные люди.

Мой школьный учитель, добродушный, тихий человек, говорил про озорного еврейского юношу:

— Еврей, а хулиганит...

Усматривая здесь двойное преступление...

В лагере я спросил оперуполномоченного:

— Почему среди евреев нет осведомителей?

Тот ответил:

— Сам посуди. Еврей, и к тому же — стукач! Это слишком...

Знакомый деревенский паренек рассказывал:

— К нам в МТС прислали одного. Все говорили — еврей, еврей... А оказался пьющим человеком...

Еврей — знай свое место! В школе добивайся золотой медали. В институте будь первым. На службе довольствуйся второстепенной ролью.

А не еврей — докажи! Предъяви документы. Объясни, почему ты брю-

нет? Почему нос горбатый? Почему «эр» не выговариваешь? Почему ты Наумович? Или даже Борисович? Про Абрамовичей я уж и не говорю...

Бывало, что люди утаивали свое еврейство. Можно ли их осуждать? По моему — нет.

Нормальные люди действовали разумно. Не орали без повода — я еврей! Хоть и не скрывали этого.

И вот мы приехали. Евреи, русские, грузины, украинцы... Русские дамы с еврейскими мужьями. Еврейские мужчины с грузинскими женами. Дети-полукровки...

И выяснилось, что евреем быть не каждому дано. Что еврей — это как бы почетное звание.

И вновь мы слышим — докажи! Предъяви документы. Объясни, почему ты блондин? Почему без затруднения выговариваешь «эр»? Почему ты Иванович? Или даже Борисович?..

Между прочим, это и есть расизм. Ненавидеть человека за его происхождение — расизм. И любить человека за его происхождение — расизм.

Как это у Шекспира:

Она меня за гены полюбила, а я ее за состраданье к ним.

Будь евреем. Будь русским. Будь грузином. Будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь же и еще чем-то, помимо этого...

Например, порядочным, добрым, работающим человеком. Любой национальности...

Спорное, но выразительное определение еврейства дал Борис Меттер:

— Еврей — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

«Новый американец», № 75, 19—25 июля 1981 г.

КР ИНОГДА МЫ ПОДОЛГУ СПОРИМ В РЕДАКЦИИ...

Иногда мы подолгу спорим в редакции — кто же наши читатели? Эти споры не утихают полтора года... Одни говорят:

— Нас читает и поддерживает Брайтон. Там живут энергичные, предприимчивые люди. Их не волнуют отвлеченные, литературно-философские проблемы. Им нужны практические сведения, реклама, хроника, бизнес. Ну и конечно — спорт. И больше ничего... А мы им предлагаем какие-то дискуссии...

Другие утверждают:

— Нас любит рафинированная интеллигенция. То есть сравнительно небольшой процент эмигрантов. Те, кого волнуют проблемы искусства, философии, религии... А всяческие кроссворды и бейсболы им не требуются...

Третьи подчеркивают:

— Нас читают евреи. И газета наша — еврейская. Поэтому надо увеличить количество еврейских материалов. Больше писать о еврейской истории. Подробнее рассказывать о жизни в Израиле. А мы зачем-то печатаем христианина Солженицына. Боремся за чистоту русского языка...

Четвертые просят слова:

— Наши подписчики — бывшие советские граждане. Им хочется знать, что происходит на родине. Как обстоят дела с экономикой? Что нового в правозащитном движении? Возможны ли какие-то демократические перемены? А мы им подсовываем эмигрантскую тематику...

Пятые высказываются следующим образом:

— Что значит — «Новый американец»? Кто придумал такое узкое наименование? У нас сотни подписчиков вне Америки. Кроме того, нас читают американские слависты. Нас читают старые американцы русского происхождения. И уж конечно, представители трех эмигрантских волн...

Разобраться в этих спорах очень трудно.

Допустим, нас читают «простые люди». Тогда почему интеллектуальная дискуссия о еврействе вызвала столь бурную читательскую реакцию?

Предположим, нас читает только рафинированная интеллигенция. Чем же тогда объясняется шумный успех спортивных материалов?

Оказывается, все не так просто.

Оказывается, евреи любят русские стихи. Православных волнует судьба Израиля. Бывшие советские граждане живо интересуются западным кинематографом. А у трех эмигрантских волн — масса общих проблем. И сходства между ними больше, чем различий...

И все-таки, кого считать новым американцем? Может быть, необходим кандидатский стаж — год, два, три? Или соответствующая прописка? Непонятно...

И опять — спорная, но выразительная формулировка принадлежит Борису Меттеру:

— Новый американец — это тот, кто выписывает газету «Новый американец»!

«Новый американец», № 76, 26 июля — 1 августа 1981 г.

КОЛЕСО

Американцы чрезвычайно бережно относятся к своей истории. Видимо, это происходит оттого, что история у них — короткая. Бурная, но короткая — всего двести лет.

В ней отсутствуют фараоны и пирамиды, мифические реликвии и древние археологические святыни.

Есть обозримая история новейшего времени. И каждый штрих в ней — абсолютно достоверен.

Любовь американцев к своему прошлому напоминает трогательные отношения индусов с водой. Или японцев — с жизненным пространством. Оно и понятно. Если чего-то мало, люди начинают этим дорожить.

Американцы берегут памятники своей истории. Создают для каждого исторического булыжника необходимый убедительный фон.

Ярчайшая иллюстрация тому — Плимут-Рок возле Бостона. Считается, что именно здесь высадились первые европейцы. У начала — изящная шхуна, действующая копия знаменитого судна — «Мэйфлауэр». Рядом — продуманный до нюансов музейный комплекс. Доброжелательные работники одеты по моде семнадцатого века.

В своей любви к истории американцы бывают прямо-таки неудержимы. Издавна местные богачи вывозили ценнейшие редкости с отдаленных концов земного шара.

Есть в Америке импортные готические храмы. Попадаются египетские мумии. Деревянные тибетские идолы. Российские курные избы.

Верхнюю оконечность Манхэттена украшает старинный французский замок Клойстер. Замок был куплен в Европе, демонтирован, переправлен сюда и установлен в районе Вашингтон-Хайтс. (Населенном, кстати, среди прочих жителей и русскими эмигрантами.) В Европе же была куплена древняя ограда с воротами и несколько служебных построек. Теперь в этом замке расположен музей средневекового искусства.

Приобрел замок и доставил его в Америку мультимиллионер — господин Рокфеллер. Спасибо акуле капитализма от многочисленных посетителей...

В Америке любят музеи и понимают толк в музейном деле. Что ж, любовь к старине — похвальное чувство. Оно помогает разобратся в настоящем и угадать туманные контуры будущего...

Я хотел бы рассказать о прекрасном музее старинных экипажей. Находится он в северной части Лонг-Айленда. Возник на базе частной коллекции.

Музей не является учреждением государственным. Содержит его местная община. То есть в нем я здесь увидел — плод бесконечного энтузиазма.

К зданию музея примыкает каретный сарай. Рядом находится мастерская.

В музее — около трехсот конных экипажей. Среди них — почтовые дилижансы и аристократические «выезды». Пожарные кареты и расписные сани. Фургоны покорителей Дикого Запада и элегантные светские ландо. Линейные пассажирские экипажи и русские коляски. Так называемые мускулодвигатели (прообраз инвалидной коляски) и старинные трейлеры (прообраз автофургона, годного для жилья)...

Меня заинтересовали сани. Есть среди них расписные, парадные, увешанные бубенчиками. Есть скромные, хозяйственного назначения повозки. Попадают и двойники наших отечественных розвальней. Что вызывает грустные, ностальгические ощущения.

Между прочим, эстетика санного выезда не чужда американским традициям. В музее старинных экипажей я увидел фотографию двадцатых годов. Там было изображено многолюдное санное гуляние в Центральном парке Нью-Йорка. Рядом виден заполненный народом каток. Публика шегольски разодета. Сани украшены лентами и флажками. Старинная фотография доносит ощущение молодечества, удали и задора.

Фото было сделано около здания «Дакота». Около того самого здания, где впоследствии убьют несравненного Джона Леннона.

Разглядывая экспонаты музея, я узнавал самые неожиданные вещи. Выяснилось, что автомобили немногим изменили картину городского транспорта. Скорость его в черте города практически не изменилась. Перед 1912 годом она составляла 13—15 километров в час. (Разумеется, в среднем и, разумеется, в центральной части

Нью-Йорка.) На сегодняшний день мы имеем такие же показатели. А в часы пик ситуация еще курьезнее. Целеустремленный пешеход легко обгоняет вереницу автомобилей...

Несколько удивили меня сведения относительно почтовой доставки. Казалось бы, создание и развитие двигателя могло форменным образом преобразить этот вид коммуникаций. Лошадь и автомобиль — какое может быть сравнение!

И все же этого не произошло. Достаточно сравнить некоторые показатели. В 1901 году письмо из Нью-Йорка в Чикаго шло три дня. Элементарная лошадь доставляла его за трое суток. Сейчас для этого требуется неделя. В лучшем случае — пять дней.

Письмо из Нью-Йорка во Францию следовало шесть дней. Нужно было только хорошо знать расписание пароходов. И доставлять письмо непосредственно к отплытию.

Теперешняя авиапочта из Штатов в Европу приходит на девятые сутки.

Мне кажется, что тут есть над чем задуматься. Задуматься, а может быть, и усомниться в красотах технического прогресса...

Я долго разглядывал фургоны американских пионеров. Касался тяжелых брусьев, связанных ремнями из воловьих жил. Заглядывал в мрачноватые квадратные амбразуры.

Каким суровым и мужественным был образ жизни этих людей. И как поверхностно иногда рисуют освоение Дикого Запада бесчисленные коммерческие фильмы — «вестерны»...

В музее экспонируются два типа старинных пожарных карет. На одних выезжали тушить пожары. Другие участвовали в разнообразных парадах и шествиях. Первые выглядели скромно и утилитарно. Вторые сияли медными бляхами и красным лаком.

Пожарный выезд считался ярким и увлекательным зрелищем. Нечто подобное сохранилось и до наших времен. Недаром состязание пожарных — одно из любимых американских увлечений.

Из музея я ехал домой в грохочущем вагоне надземки. И думал о тех временах, когда люди передвигались медленно. А внутренняя жизнь их протекала динамично, стремительно, благородно...

КР ДРУГ СКАЗАЛ МНЕ...

Друг сказал мне в Лос-Анджелесе:

— Единственное, что может вас погубить, — это доставка. Доставляется газета отвратительно. Сначала я получал ее регулярно. Потом начались какие-то сюрпризы. То приходят два одинаковых экземпляра, то газета задерживается дней на восемь. Три номера вообще исчезли... Это безобразия! Самое обидное, что газета всем нравится. Ее читают, ждут... А вот доставка — отвратительная.

Я начал объяснять:

— Когда-то у нас было шестьсот подписчиков. Мы рассылали тираж вручную. Клеили марки, надписывали адреса. Это происходило каждый вторник и занимало целый день...

Сейчас у нас четыре тысячи подписчиков. Тысяча — в одном Нью-Йорке. Вручную с этим делом не управиться. Мы приобрели компьютер. Наняли специального человека. Теперь все делается автоматически. Но жалоб все равно хватает...

— В чем же дело? — спросил мой друг.

— Компьютер работает безукоризненно. Обслуживает его вполне добросовестный человек. А вот здешняя почта — ниже критики. Как и большинство федеральных учреждений. У НРС тоже были разногласия с американской почтой. Андрей Седых даже обращался к главному почтмейстеру. Однако результаты пока неудовлетворительные.

— Что же делается на почте?

— Трудно сказать. Контролировать их работу невозможно. Как-то раз мы обнаружили на почте два мешка с газетами. Абсолютно случайно. Служащие просто забыли их отправить. Обыкновенная небрежность. Как же уследить за их работой на всех этапах?..

— Что же вы предпринимаете?

— Меттер был на почте. Провел там несколько дней. Просил, убеждал, даже скандалил. Недели три дела шли лучше. Потом опять началось. В офисе то и дело раздаются звонки: -

«Я не получил газету... Я получил газету с опозданием... Мне зачем-то пришли два одинаковых экземпляра...»

Каждый раз я спрашиваю:

— Газета вам нравится?

— Еще как! Потому-то и обидно...

Значит, Меттер снова отправится на почту. Снова проверит действия машины, которая наклеивает адреса. Снова будет просить, убеждать и ругаться.

Мы создаем товар, который нравится потребителю. (Простите за рыночную терминологию, впрочем, совершенно уместную.) И мы добьемся

устранения всех препятствий. Уже сейчас доставка организована лучше, чем месяц назад. А месяц назад она была лучше, чем зимой. Когда-нибудь все желающие получат газету своевременно. Надеюсь — скоро!

«Новый американец», № 77, 1—8 августа 1981 г.

КР КОГДА-ТО НАМ ВНУШАЛИ...

Когда-то нам внушали:

— Советское — значит отличное! И все у нас замечательно! А вот у них — кошмар и дикость! С голоду дохнут, негров линчуют, морально разлагаются... И прочее, и прочее...

Приехали, осмотрелись. Не голодаем. Мораль на прежнем уровне. И негры целы (даже слишком)...

Короче, обманывала нас советская пропаганда. Мы ей больше не верим. Мы теперь рассуждаем по-другому:

— Запад — это прекрасно! И все у нас замечательно! А вот у них — действительно — кошмар! С голоду дохнут, евреев линчуют... И так далее... И тому подобное...

Я не спорю. Советское государство — не лучшее место на земле. И много там было ужасного. Однако было и такое, чего мы вовек не забудем.

Режьте меня, четвертуйте, но спички были лучше здешних. Это мелочь, для начала.

Продолжим. Милиция в Ленинграде действовала оперативней.

Я не говорю про диссидентов. Про зловещие акции КГБ. Я говорю о рядовых нормальных милиционерах. И о рядовых нормальных хулиганах...

Если крикнуть на московской улице: «Помогите!» — толпа сбежится. А тут — проходят мимо.

Там в автобусе места старикам уступали. А здесь — никогда. Ни при каких обстоятельствах. И, надо сказать, мы к этому быстро привыкли. Сидим, прикрываемся «Новой газетой». Читаем Наврозова...

В общем, много было хорошего. Помогали друг другу как-то охотнее. И в драку лезли, не боясь последствий. И с последней десяткой расставались без мучительных колебаний.

Не мне ругать Америку. Я и уцелел-то лишь благодаря эмиграции. И все больше люблю эту страну. Что не мешает, я думаю, любить покинутую родину...

Спички — мелочь. Важнее другое. Есть такое понятие — общественное мнение. В Москве оно было реальной силой. Человек стыдился лгать. Стыдился заискивать перед властями. Стыдился быть корыстным, хитрым, злым.

Перед ним захлопывались двери. Он становился посмешищем, изгоем. И это было страшнее тюрьмы.

А здесь? Перелистайте русские газеты и журналы. Сколько ненависти и злобы! Сколько зависти, гонора, убожества и притворства!..

Молчим. Привыкли...

Глупо делить людей на советских и антисоветских. Глупо и пошло.

Люди делятся на умных и глупых. Добрых и злых. Талантливых и бездарных.

Так было в Союзе. И так будет в Америке. Так было раньше. И так, я уверен, будет всегда.

Вот пишу, а завтра «Новая газета» сообщит:

— Довлатов — коммунист. Советские порядки хвалит...

Что ж, я там лакеем не был. И здесь не буду холуем...

Всю жизнь я мечтал быть учеником собственных идей. Чего и вам желаю!

«Новый американец», № 78, 9—15 августа 1981 г.

КР К СОЖАЛЕНИЮ, Я НЕ ЗНАЮ...

К сожалению, я не знаю их фамилий. Лишь немногих знаю по именам. Но здороваюсь почти со всеми. И почти все они здороваются со мной.

Они — это наши старики из Форест-Хиллс.

Вспомните раздражительных советских пенсионеров. Вспомните их усталые, хмурые лица. Их дешевые папиросы. Их черные пальто и бесформенные скороходовские туфли. Их возбужденные, недовольные голоса:

— Я, мамаша, Перекоп брал! А ты мне чекушку без очереди не даешь...

А теперь пожалуйста к нам в Форест-Хиллс.

Вы только посмотрите, как одеты наши старики! Как они моложавы и элегантны! Как доброжелательны и любезны!

Среди молодежи еще попадаются наглецы и грубияны. Старики же неизменно вежливы и корректны.

Люди нашего возраста порой ругают Америку. Пожилые люди оценивают ситуацию гораздо трезвее. Хотя перестройка им стоит куда больших усилий. Язык дается с большим трудом. И пережитое напоминает о себе более властно...

Старики веселее, оптимистичнее нас. Среди молодежи больше распространено уныние. Которое лишь издалека напоминает величие духа.

Пожилые люди знают:

Уныние страшнее горя. Ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта. Уныние же — сон души...

Старики не меркантильны. Они звонят мне в редакцию:
 — Материально я вполне обеспечен. У меня есть все и даже больше.
 Но знаете, хочется чего-то еще... Вот и написал о том, что пережил...

Так попала к нам глава из повести ребе Лейзера...

От пожилого человека не услышишь:

— А что я с этого буду иметь?..

Старикам важнее давать, а не брать.

И еще одно соображение. Именно старики — наиболее требовательные, дотошные и взыскательные читатели газеты. Именно старики нам пишут чаще других. Чаще других звонят в редакцию.

Старики поддержали нас в трудные месяцы. Старики нас ругают за промахи и ошибки...

Вчера я спешил на работу. Спустился в метро. Заметил отходящий поезд. И поленился ускорить шаги.

«Ну вот, — подумал я, — старею...»

Подумал и обрадовался.

Куплю себе розовые брюки. Куплю рубашку с попугаями. Выпишу газету «Новый американец». Буду умным, веселым, добродушным стариком из Форест-Хиллс.

«Новый американец», № 80, 23—29 августа 1981 г.

КАК Я СТАЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ

С детских лет мы живем в ожидании чуда. И чем зауряднее жизнь, тем мучительнее наши ожидания. Любая мелочь воспринимается как таинственный знак, сулящий чудесные и, разумеется, благотворные перемены.

С годами представления о чуде меняются. Так же, как и наши мечты.

В детстве я мечтал иметь щенка. Мои родители категорически возражали. Предполагалось, что собака будет отнимать массу времени. Что я начну скверно учиться и пренебрегать домашними обязанностями.

Учился я все равно довольно скверно. Домашними обязанностями все равно пренебрегал. А щенка приобрел через двадцать лет...

Юношей я мечтал о замшевой куртке. Я понимаю, что эта мечта лишена духовности. Что она легкомысленна и сугубо материалистична. Для переходного возраста это — нормально.

Затем я последовательно мечтал о самых разных вещах. Причем, самого разного масштаба и уровня. Я мечтал о литературной славе и японской зажигалке. О путешествии в Африку и о замене фановой трубы. Я мечтал бросить курить и посмотреть «Амаркорд» Феллини. Прочитать до конца «Волшебную гору» Томаса Манна и научиться расставлять запятые. Поколотить районного хулигана Мурашку и съесть в одиночку шоколадный торт.

Свои мечты я, как водится, откладывал до Нового года. Конец декабря был периодом напряженного ожидания. Разумеется, Новый год — самое подходящее время для чуда.

Шестилетним мальчишкой я ждал сюрпризов от Деда Мороза. Я засыпал, исполненный радужных надежд. Я просыпался от нетерпения.

Дед Мороз оказался не слишком щедрым. Из года в год наша расплывшаяся семья ощутимо бедствовала. Питались мы скудно. Мать годами ходила в старом пальто.

Шли годы. Я все недоверчивее относился к Деду Морозу. И все больше рассчитывал на себя и друзей.

Мои рассказы не печатали. Перспективы отсутствовали. Но жизнь продолжалась. Жизнь — с огромным количеством проблем. Которые Дед Мороз совершенно игнорировал. В результате, его целиком и полностью заменили друзья. Так же, как они заменили мне государство.

Друзья в СССР издавна заменяют государство. То, что обязано проделывать государство, берут на себя ваши друзья.

Если нужен юрист — вы звоните друзьям. Понадобился детский врач — разыскиваете бывшего одноклассника. На дачу решили переехать — тревожите знакомого-автовладельца. Политические новости вам сообщают друзья. Книгами снабжают друзья. Законы разъясняют друзья. И обманывать государство тоже помогают друзья.

Они заменяют добрых волшебников, которых, я полагаю, не существует. Они заменяют всемогущего Деда Мороза с его чудесами, которых я уже не жду...

Когда я решил бежать из СССР, мне помогли друзья. На каждом этапе я пользовался их бесчисленными одолжениями. С их помощью раздобыл нужные документы. Занял у них требуемую для отъезда сумму. Их усилиями были переправлены на Запад мои драгоценные рукописи.

Добрые волшебники остались безучастны к моей судьбе. Дед Мороз не позвонил, не объявился! Все сделали друзья...

Приближается мой третий Новый год в эмиграции. Чудеса здесь происходят на каждом шагу. Мы говорим и пишем то, что думаем. Читаем любые книги. Смотрим любые фильмы. Выбираем себе религию и место жительства...

Теперь Деда Мороза зовут Санта-Клаус. Хотя боюсь, что он здесь ни при чем...

Когда приближается Новый год, моя дочка уверенно заявляет:

— Передай Санта-Клаусу, что мне нужен хороший фен для волос...

Она может не волноваться. Ее желание будет исполнено. Пока я жив, Санта-Клаус ей не откажет...

Приближается Новый год. Особых причин для ликования я не вижу. В Польше творится бог знает что. В Афганистане гибнет огураченная советская молодежь. Террористы из «Красных бригад» просто воруют американских генералов.

Мир полон напряжения и тревоги. Вряд ли тут поможет легкомысленный Санта-Клаус. Или престарелый Дед Мороз в консервативном тулупе...

Накануне праздника я вспоминаю моих друзей, которые остались там. Мне известно, с каким трудом они раздобывают продукты для новогоднего застолья. Как мобилизуют связи и знакомства, как стоят в очередях.

Мне известно, что филологи, художники, актеры — гонят самогон. Что охота за сигаретами превратилась в детектив.

Мои друзья будут чокаться за новогодним столом. И будут желать друг другу счастливого Нового года. Так уж повелось. Хотя вряд ли Новый год принесет облегчение и радость. И все-таки, мечтать об этом — не запрещено...

Я хотел бы неожиданно заменить им Деда Мороза. Вот и отправил месяц назад четыре посылки с джинсами, кофтами, башмаками. И

прочим мелкобуржуазным ширпотребом. Чтобы на фоне общей печали доставить им маленькую радость.

Так я стал Дедом Морозом. Или, выражаясь по-западному, — Санта-Клаусом...

Все это довольно грустно. Все — кроме нашей преданности друзьям. Все — кроме нашего глубокого убеждения:

— Тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин ее...

«Новый американец», № 99, 1—7 января 1981 г.

КР ИГОРЬ БИРМАН НАПИСАЛ...

Игорь Бирман написал взволнованное обращение. Он призывает русские газеты к взаимопониманию, миру и дружбе. Что само по себе благородно, разумно и правильно.

Обращение Бирмана преследует замечательные, хоть и несколько абстрактные цели. Поэтому оно напоминает мне знаменитое Стокгольмское воззвание.

Стокгольмское воззвание тоже призывало к миру и дружбе. Его подписали миллионы людей всех государств и континентов. Но холодная война продолжалась. (И не только холодная.) Повсеместно творились ужасающие бесчинства. Бесперебойно работали сталинские душегубки. Полыхали Вьетнам и Корея.

Такова мрачноватая историческая параллель.

Нашу газету шельмуют всевозможными тайными способами. Обрабатывают наших рекламодателей. Запрещают авторам печататься у нас. Распускают о нас чудовищные слухи.

Мы являемся одновременно: сионистами, юдофобами, недорезанными власовцами и, разумеется, пособниками КГБ.

Мы же пытаемся действовать открыто. Высказываемся исключительно на принципиальные темы. Мы пишем о языке. О проблемах эмигрантской жизни. Об издержках свободы. О преимуществах демократии.

Да, мы критикуем Андрея Седых за его несправедливую оценку третьей эмиграции. Но мы отдаем должное Андрею Седых, видному писателю и журналисту.

Мы критикуем нигилистическую прозу Лимонова. Но отдаем должное его художественному таланту.

Мы критикуем взгляды Солженицына, но отдаем должное его беспрецедентной исторической роли.

Игорю Бирману следует внимательнее читать нашу газету. Иначе получается как в старом анекдоте: «То ли он украл, то ли у него галоши сперли...»

В заключение я предлагаю читателям маленький ребус. Вот что написал обо мне Евгений Рубин («Новая газета», № 67, стр. 5):

«Мы вполне допускаем мысль, что среди читателей этих заметок могут найтись некие скептики, утверждающие, что в процессе осуществления собственной идеи нашего автора, который мечтает быть ее учеником, есть небольшие отклонения от идеалов чистой морали, чьим поборником он является, но что поделаешь, если жизнь диктует нам свои суровые законы».

Что бы это значило? Как это перевести на русский язык?

Читателей, разгадавших головоломку, просим обратиться в «НА». Выигравшего ожидает награда — годовая подписка.

За дело, любознательные!

«Новый американец», № 81, 30 августа — 5 сентября 1981 г.

КР БЫВАЮТ СИТУАЦИИ...

Бывают ситуации, при которых отвлеченные и даже абстрактные понятия, такие, например, как «ХОД ИСТОРИИ» или «БЕССМЕРТИЕ», обретают материальное выражение...

Двадцать лет назад, в июле 1960 года, меня впервые в жизни арестовала милиция за то, что я разговорился на Площади искусств в Ленинграде с американским студентом из Йеля — Эдвардом Ду.

Самое удивительное, что обвинения, выдвинутые милицией, оказались мне тогда вполне резонными, и лишь грубая форма, в которую они были облечены, несколько смутила меня.

Десять лет спустя начальство ленинградской партийной газеты ругало меня за то, что мои сатирические зарисовки могут, якобы, быть использованы буржуазной пропагандой в своих разрушительных целях. На этот раз претензии уже не казались мне справедливыми, но положение официального журналиста заставляло меня с ними считаться.

Еще через пять лет, живя в Ленинграде, я опубликовал свой первый рассказ в журнале «Континент», который издается на русском языке в Париже. На этот раз уже никто не выражал мне своих претензий, и меня лишь уволили с работы, да и то не сразу, а через несколько месяцев.

В 1978 году мы с матерью эмигрировали из СССР, с некоторой грустью покидая страну, которую я, подобно всем пишущим людям, рассматривал не иначе, как огромную читательскую аудиторию. Я прощался с многомиллионной аудиторией, так и не узнавшей о моем су-

ществовании, готовясь к встрече с новыми читателями в количестве 50 или 70 тысяч беженцев из Союза.

Еще через три года я стал редактором газеты «Новый американец» и автором трех, к сожалению, очень тонких книг, читатели которых живут не только в Нью-Йорке и Париже, но и в Москве, Ленинграде, Пскове, Таллине, Киеве, то есть везде, куда попадают экземпляры наших книжек и наших газет и где их передают из рук в руки, пока они не превращаются в пыль. Если бы книги обладали душой и речью, мы бы узнали, что каждая из них мечтает о такой судьбе.

В пыль превратилась также идея советских властей — навязать ху-дожественной литературе чуждую ей, неблагоприятную политическую роль.

В связи с этим единственным ответом на произвол советских властей в области литературы является само существование русской литературы и ее развитие в привычных гуманистических традициях.

В этом живом процессе я как журналист, литератор, и больше никто, усматриваю смысл понятия «ХОД ИСТОРИИ», и в этой же перспективе для меня как для человека, увы, не религиозного, заключено понятие «БЕС-СМЕРТИЯ»...

Все вышеизложенное — и есть мое Заявление для прессы в связи с Московской книжной ярмаркой, состоявшейся в Нью-Йорке.

Что называется — дожили!..

«Новый американец», № 85, 27 сентября — 2 октября 1981 г.

КР НЕДАВНО МОЙ ДРУГ...

Недавно мой друг Соломон Шапиро побывал в Испании. Видел чертову корриду. Объездил средневековые испанские города.

В конце, говорит, домой потянуло.

Домой — это значит в Нью-Йорк. Точнее — в Форест-Хиллс. Где по утрам неумолимый Моня раскладывает свой товар. Где на площадке у «Вальдбаумса» до самой темноты хлопочут автолюбители. А в магазине «Брукс» торгует девушка необычайной красоты...

Как быстро это случилось! Как быстро мы привыкли считать фантастическую Америку — домом...

Я давно уже замечаю в себе крикливые черты патриотизма. Злюсь, когда ругают Нью-Йорк. Начинаю спорить. Я говорю, что преступность здесь не так уж велика. Что газеты умышленно раздувают эту тему. Что шанс быть ограбленным — ничтожен.

Я лгу, что каждый день бываю в Гарлеме, и тем не менее — жив...

Допустим, кто-то утверждает, что в Нью-Йорке грязно.

— Грязь?! — кричу я.— Что значит — грязь! Это вовсе не грязь! Это — неорганизованная материя...

За этой нелепой формулировкой скрывается простое ощущение. Мне грустно, что Нью-Йорк захламлен и посторонние это видят...

Помню, Некрасов интересовался:

— Сколько вы платите за квартиру?

И я почему-то сказал — двести восемьдесят. Хотя мы платим значительно больше. Просто мне хотелось, чтобы Нью-Йорк выглядел как-то доступнее...

В разговоре с приезжими я тороплюсь изложить главное:

— Здесь ты не ощущаешь себя чужим. Здесь половина населения говорит с чудовищным акцентом...

Таковы явные симптомы патриотизма. Нью-Йорк ужасен, и все же это — мой город. И люди здесь живут в основном симпатичные. Хоть и с легкими чертами безумия. От последнего Наврозова до мэра Коча...

В Ленинграде я жутко гордился Эрмитажем. Хотя не был там лет двадцать пять. А здесь горжусь Музеем современного искусства. Даже издали его не видел, а горжусь!

Видимо, это и есть патриотизм — гордиться неизвестно чем...

И меня глубоко волнует сознание того, что русские живут по всей Америке. Что Ефимов не собирается покидать Мичиган. Что Лосеву нравится Ганновер. А Роме Левину — отсутствующий на карте Холиок...

Рано утром я выхожу за газетой. С кем-то здороваюсь. Покупаю горячие булочки к завтраку.

Начинается день. И я к нему готов. А потом неожиданно вспоминаю:

«В Пушкинских Горах закончился сезон. В Ленинграде дожди... Или заморозки?..»

«Новый американец», № 86, 3—9 октября 1981 г.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ!

Нынешняя российская действительность буквально соткана из тысячи проблем. Куда ни взглянешь — одни проблемы. И чуть ли не самая болезненная из них — антисемитизм.

Но антисемитизм, как и всякое живое явление, многолик и разнообразен. То и дело меняет окраску. Переходит из одного состояния в другое.

Есть, например, антисемитизм государственный. Есть бытовой. Есть философский аспект юдофобии. Традиционное, историческое неприятие еврейства...

Государственный антисемитизм заметно усилился в связи с третьим эмигрантским потоком.

Известно, что выезжают не только евреи. Уехали десятки моих приятелей — русских. Мой друг, православный священник Лев Книн, уехал по израильским документам. (Да и я — весьма сомнительный еврей...)

Короче, русских выпускают. Однако есть два неперенных условия.

Первое. Необходим израильский вызов.

Второе. Ты должен выдумать еврейского дядю или бабушку.

Эта покойная мифическая бабушка — недоказуема. Равно как и непроверяема. Будь ты Иванов до седьмого колена, все равно — подавай еврейскую бабушку.

Спрашивается, кому нужен этот унижительный балаган? И зачем?

Все очень просто. Власти преследуют две хитроумных цели.

Первое. Создать видимость, что уезжают лишь изгои, отщепенцы. Как принято говорить в Союзе — лица еврейской национальности.

Второе. Спровоцировать волну народного гнева. Стимулировать затухающий бытовой антисемитизм.

А он — действительно затухает. Более того, происходит любопытное смещение понятий. Когда-то еврея не любили за то, что он еврей. Сейчас еврея предполагают в том, кого не любят.

Десятки людей утверждают, что Сталин был грузинским евреем.

Брежнев считают евреем чуть ли не половина уголовников в лагерях.

Даже невинного Хрущева подозревали в еврействе.

Слово «еврей» превратилось в ругательство. Утратив конкретное значение. Тысячу раз я слышал:

— Этот Колька Сидоров такой еврей, с аванса мне не поставил...

Помню разговор в электричке. Пожилой мужчина рассказывал соседу:

— К нам в управление прислали одного. Все говорили — еврей, еврей, а оказался пьющим человеком...

Более того, появился новый мотив. У пивного ларька как-то довелось наблюдать такую сцену. Молодой парень утверждал:

— У меня отец наполовину еврей!

Собутыльники в ответ кричали:

— Да какой ты еврей?! Да ты такой же фоняк, как и мы...

Интеллигентом, мол, себя воображает...

В хорошем рассказе Аксенова «Победа» беседуют двое шахматистов-любителей:

«— Почему все шахматисты — евреи?

— Так уж и все? Я, скажем, не еврей. Да и вы не еврей.

— Куда уж мне...»

Но вернемся к эмиграции. Помню наш отъезд. Взяли такси до аэропорта. Шофер по разговорам догадался, что мы уезжаем. Молчал, молчал, а потом говорит:

— От нас водитель уехал. У него собственное такси в Америке. На себя работает.

Я сказал:

— Вы тоже можете уехать.

Шофер усмехнулся:

— С моей-то рожей?..

Затем пожелал нам счастливой дороги. И чаевые взять отказался.

— Я же, — говорит, — не из-за этого. Я от души. Вспоминайте нас...

И я вспоминаю. И навсегда запомню эту добрую курносую славянскую рожу. И служебную карточку помню. Имя помню. Фамилию помню. А произнести не смею.

Потому что, хоть ты и не еврей, а раздавят тебя — в минуту!

«Новый американец», № 4, 7—13 марта 1980 г.

КР ЭТО ПИСЬМО ДОШЛО ЧУДОМ...

Это письмо дошло чудом. Его вывезла из Союза одна поразительная француженка. Дай ей Бог удачи!..

Из Союза француженка нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по двадцать, тридцать штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана...

А мы еще ругаем западную интеллигенцию...

Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше:

«...Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично — живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно, — юмор и так далее. В общем, много есть хорошего.

Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает.

Ей не хватает твоего прошлого. Я говорю твоего, потому что не знаю остальных ребят. Впрочем, Орлова, кажется, знаю. Познакомились на дне рождения у Виньковецкого. Или у Марамзина. Лохматый такой...

Итак, не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности...

Твоя эмиграция — не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно — где, в Америке, в Японии, в Ростове.

Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко и несущественно. Все остальное лишь унижает достоинство писателя! Хотя растут, возможно, шансы на успех.

Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем. Ты ехал — рассказать. Так помни же о нас...

Говорят, вы стали американцами. Говорят, решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина.

Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так, игра, притворство. Да какие вы американцы?! Кто? Бродский, о котором мы только и говорим? И которого декламируют развитые школьники — можешь его поздравить. Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Старо-Невского до Штаба? Смешнее этого трудно что-нибудь придумать...

Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы... Тебя окружает прошлое. То есть — мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зеки.

Еще раз говорю — помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи.

В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как — это наше дело!..»

«Новый американец», № 87, 10—16 октября 1981 г.

КР ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ...

Человек умирает не в постели, не в больнице. Не в огне сражений и не под гранатами террористов.

Человек умирает в истории.

Пусть ему дана всего лишь минута. Порой этой минутой завершается час. А этим часом — год. А годом — столетие, эпоха.

Такая минута соединяет века.

Господин Садат — убит и похоронен в истории.

Он был сильным, разумным и миролюбивым человеком. Мир на Востоке — его личное достижение.

Мы говорим о роли личности в истории. Полагаем, что историю делают народные массы. То есть — все и никто. Я думаю, это говорится, чтобы избежать ответственности.

«Илиаду» написал Гомер. Паровую машину изобрел Джеймс Уатт. Крылья дали человечеству — братья Райт. А Ватерлоо проиграл Наполеон.

Русскую литературу создал Пушкин. Выволакивают ее из провинциальной трясины Бродский с Набоковым. А роман «Я шел на связь...» — произведение господина Любина. И массы тут ни при чем...

Часто пишут: «Музыка и слова народные». Затем выясняется, что народные слова принадлежат Алешковскому. Да и музыка — ему же...

Впервые евреи оплакивают смерть араба. Это не случайно.

Президент Садат добился консолидации власти. Остановил напор фанатиков ислама. Слегка приструнил Каддафи. Выдворил советских шпионов, да еще отобрал у них любимую Асуанскую плотину.

Вспоминается такая песня:

Жар пустыни мне очи щипет (?!),

И глаза застилает пот...

Напиши мне, мама, в Египет,

Как там Волга моя течет.

Эта песня — вершина экспансионистского нахальства. (Где уж там Киплингу с его африканскими маршами!) Садату она не понравилась...

У него было много врагов. Как у всякого миролюбивого человека. Поэтому что мир требует жесткой и целенаправленной воли.

Садат добился мира на Востоке. Мира, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей. И который может рухнуть с гибелью одного-единственного человека.

Потому что мир — неустойчив. Люди злы. И нет конца человеческому безумию.

Садат творил добро неумолимо и жестко. Очевидно, не знал, не увидел другого пути.

Сердце такого человека открыто пулям.

ДЗЭН-БУДДИСТ С ЛОПАТОЙ

У меня есть друг в Ленинграде. Молодой живописец. (Назовем его Толя.) Очень сложный человек. Работает в манере трансцендентального концептуализма. (Или чего-то в этом роде.) И ближайшее окружение его примерно такое же.

Как-то раз он мне говорит:

— Я, понимаешь, страшно утомился. Надоели бесконечные споры. Надоели высокие материи. Я решил отдохнуть. Пожить естественной жизнью. Среди простых людей. Наймусь в котельную. Поработаю обыкновенной лопатой. Окрепну. А главное — отдохну...

Мой друг исчез. Через неделю появляется, рассказывает:

«Поступил, — говорит, — на работу. Напарники, вроде бы, симпатичные. Алик, Шурик и Вадик. Простые такие ребята... Выдали нам лопаты. Пошли мы шуровать...

Поработали до обеда. Сели. Помолчали. Вдруг Алик поворачивается ко мне и спрашивает: «Извините, что вы думаете о политических наложениях у Бриттена и Шенберга?..»

Я, понимаешь, даже бутерброд выронил... Оказывается. Алик — музыковед-авангардист. Шурик — йог, последователь системы Дзэн. А Вадик — поэт метафизического направления...

Я не выдержал, — закончил мой друг, — сбежал...»

Деклассированные интеллигенты. Чрезвычайно любопытное явление советской жизни. Стоит о нем поговорить...

Казалось бы, такое явление существовало всегда. И везде. Например, в царской России.

Что приводило интеллигента на дно жизни? Всякие бывали причины. Например, пьянство засосало. Карты разорили... Дамы... Или другие слабости поставили его вне общества. Короче, пороки губили человека. Пороки толкали на дно.

Теперь перенесемся в счастливое бесклассовое общество. Что привело на дно его — Алика, Шурика и Вадика? С их познаниями, утонченностью, кругозором?..

Ведь их тысячи, десятки тысяч!

Возьмите среднюю котельную. Непременно обнаружите в коллективе либо юриста, либо писателя, либо ученого. И с кандидатским званием найдутся, и с докторским...

Что привело их сюда? Какие обстоятельства?

Я насчитал три главных причины. Вылепил три условных и, конечно же, грубых модели.

Первую я бы назвал духовно-эстетической.

Вторую — этико-моральной.

Третью — политической.

Человек занимается живописью. Пишет стихи. Открыто исповедует религию. Оригинально мыслит. Если у него имеется проблеск дарования, если он искренен в своих религиозных чувствах, последовательно глубок в своих идеях, — тогда рано или поздно его ожидает котельная.

Заниматься любимым делом ему не дадут. А жить надо. И что-то зарабатывать надо...

Поэт Бродский работал конюхом в Архангельской области. Художник Шемякин — десять лет — грузчиком...

Один мой знакомый филолог работал УБОРЩИЦЕЙ. Так и было записано в трудовой книжке...

Теперь представим другую ситуацию. Человек работает на производстве. В НИИ... Да где угодно... Все идет нормально. Собрания, политзанятия, митинги... В какой-то момент терпение лопается. Надоедает лгать и потворствовать лжи. Участвовать во всем этом идиотском балагане... И человек уходит в котельную. Здесь спокойнее. Здесь мягче контроль над твоей совестью. Здесь меньше лжи. Здесь можно быть относительно честным. Здесь еще можно себя уважать...

И в первой, и во второй модели человек действует самостоятельно. Хоть и не добровольно. Хоть и под давлением обстоятельств. Третья модель гораздо страшнее.

Человек открыто и активно выступил за правое дело. Честно осудил тотальное зло. Занял действенную позицию.

Что его ожидает? В конечном счете — эмиграция или тюрьма. А между этими роковыми точками — бесчисленная цепь котельных. Через это прошли едва ли не все советские диссиденты. Цвет нации, гордость страны...

Обобщим. В царской России человека на дно уводили пороки. В Советской России — достоинства...

Вот откуда берутся философы с отбойными молотками. Дзэн-буддисты с лопатами. Художники с метлами...

Моя судьба в этом плане относительно благополучна. Почти всю жизнь я работал в небольших газетах. Но побывал и в сторожах. И таллинскую котельную хорошо помню. И ленинградскую баржу, которую я нерадиво охранял...

Еще вспоминается такой эпизод. Было это в гастрономе. Зашел покупатель в телогрейке и сапогах. Типичный разнорабочий. Что-то спросил у продавца... То ли насчет сыра, то ли насчет масла... Продавец реагировал с обычной грубостью:

— Читать умеешь?!

Разнорабочий помолчал. Затем ответил спокойно:

— Умею.

И добавил:

— На семи языках...

«Новый американец», № 8, 3—10 апреля 1980 г.



СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ

Так называемая деревенская проза завладела сердцами отечественных читателей в шестидесятые годы. Имена Белова, Астафьева, Лихоносова, Распутина, Шукшина стали заслуженно популярны. С горечью и болью отображали эти писатели нынешний уклад российской деревни.

При всем том, деревенская жизнь не лишена была экзотического обаяния. Чудаки и фантазеры у Шукшина, мощные характеры у Распутина, живой и яркий говор у Астафьева — все это как бы заставило примириться с тягостной действительностью. Несколько заглушало мучительное чувство горечи.

До какого-то времени я, городской житель, считал эту литературу абсолютно правдивой. Как считал и считаю правдивыми романы Александра Дюма.

Францию 18-го столетия я так и не посетил. А вот Псковщину объездил. Жил подолгу в нескольких деревнях. Хорошо знаю бывший Святогорский район.

Живая действительность оказалась плачевнее художественной литературы.

Мне хочется рассказать о ярком и типичном представителе современной деревни. О бобыле Михал Иваныче, у которого я снимал жилье три года подряд.

Вначале — о самом жилье. Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля.

Комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа.

Когда приехала моя жена, она спросила:

— Ты уверен, что это жилое помещение? Нельзя ли подыскать что-то другое?

Я объяснил ей, что так живет большинство крестьян этого района...

Пил Михал Иваныч беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом...

Трезвым я его видел дважды. В эти парадоксальные дни Михал Иваныч запускал одновременно радио и телевизор. Ложился в брюках, доставал картонку из-под торта «Сказка». И начинал читать открытки, полученные за всю жизнь. Читал и комментировал:

— «Здравствуй, папа крестный!»... Ну, здравствуй, здравствуй, выблядок овечий... «Остаюсь вечно твой Радик»... Вечно твой, вечно твой... Да на хрена ты мне сдался...

Наутро он снова был пьян. Соседи его не осуждали. Поскольку так живет большинство крестьян этого района...

Речь Михал Иваныча была организована примечательно. Вряд ли она напоминала колоритные обороты героев Шукшина. Членораздельно и ответственно Миша выговаривал лишь существительные и глаголы. (Главным образом — в непристойных сочетаниях.) Второстепенные же члены употреблял совершенно произвольно. Какие подвернутся. Я уже не говорю о предлогах, частицах и междометиях. Их он создавал прямо на ходу.

Допустим, я говорил:

— Миша, пора тебе с алкоголем завязывать, хотя бы на время.

В ответ раздавалось:

— Эт сидор-пидор бозна где... Пятерку утром хва и знато бысть в гадюшник. Аванс мой тыка што на дипоненте. Кого же еньть завязывать? Без пользы тыка... И душа не взойде...

Болтливых женщин он называл таратайками. Неверных жен — шаландами. Пиво и водку — балдой, отравой и керосином. Молодое поколение — описью. Он восклицал:

— На турбазе опись гаешная бозна халабудит!

В смысле — молодежь, несовершеннолетняя шпана, озорничает и творит Бог знает что...

Окружающие его понимали. Ведь так говорит большинство крестьян этого района...

Что Миша за личность, я так и не понял. С виду — нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине. Петли смастерил из рыболовной лески.

— Расплодились, — говорит, — шумовки, сопсюду лузгают...

Был он нелепым и в доброте своей, и в злобе. Начальство материл в лицо последними словами. А проходя мимо изображения Фридри-

ха Энгельса, стаскивал кепку. Без конца проклинал родезийского лидера Иена Смита. Зато любил и уважал буфетчицу в шалмане, которая его неизменно обсчитывала.

— Без этого нельзя, — говорил он, — порядок есть порядок...

В пьяном состоянии Миша был абсолютно невменяем. Все порывался кого-то убить, резать. Дважды я отнимал у него ружье. Прятал ножи и слесарные инструменты.

— Капиталистам служишь, гад! — орал Михал Иваныч, — все равно от буржуев спасибо не дождешься...

Окружающие ему сочувствовали. Ведь так живет большинство крестьян этого района...

Коров тут почти не заводят. Я спрашивал почему?

— Нечем, — говорят, — кормить. Траву косить — негде. Сено возить — не на чем...

Огороды у здешних крестьян жалкие, лук да картошка. Михал Иваныч говорил:

— Я и не отличу, где жито, где просо...

Помню, дед Тимоха из деревни Шаробыки жаловался мне:

— Случись лошадь запрячь — так некому. На всю деревню я один...

Я спросил его:

— Если бы государство вернуло землю крестьянам, что тогда?

— Кому это надо? — ответил Тимоха. — На бутылку и так любой заработает. Землю пахать разучились... Беда...

Вернемся к деревенской прозе. Белов, Лихоносов, Астафьев, Распутин — талантливые, яркие писатели. Тем не менее в основе их творчества — уклончивый вялый мотив. «Где ты, Русь? Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосольство, удаль и размах? Где самовары, иконы, подвижники, юродивые? Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра? Где обыкновенные лошади, черт поberi?! Где целомудренная стыдливость чувств?»

Писатели голову ломают: «Где ты, Русь? Куда девалась? Кто тебя загубил?»...

Кто, кто... Да любой семиклассник знает — кто!

Однако эта трагическая истина не для советских писателей. Пусть даже и весьма талантливых...

ТАК ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?!

Отечественное пьянство достигло, как известно, раблезианских масштабов. Всегда пили много. Но сейчас как-то остервенело. С каким-то отчаянным размахом.

Я вспоминаю Ленинград. Обычное утро. Томительные часы до открытия винных магазинов. Легионы опухших, подвижных, непохмелившихся алкашей.

Помню, шел я от Разъезжей к Невскому. Шестеро абсолютно незнакомых мужчин взволнованно поделились:

— Але! Мужик! На Коломенской дают ОПЕРАТИВ!

(Кстати, замечательный пример народного словотворчества. Вместо изысканного и непонятного «аперитив» — конкретное и содержательное — «оператив», то есть оперативное, радикальное средство...)

Короче, пьют. Повсюду и непрерывно. Пьют любую гадость. Пьют лосьоны и шампуни. Пьют в общественных туалетах и на садовых скамейках...

Как-то раз мои друзья повстречали жуткого забулдыгу. Угостили его шампанским. Забудыга выпил и говорит:

— Третий раз в жизни ИХ пью!..

Он был с шампанским на «вы».

Можно лишь с ужасом догадываться о том, что он пил в обычных случаях...

Будем справедливы. Государство встревожено таким размахом. Появляются бесчисленные статьи о вреде алкоголя. Лекторы и публицисты не жалеют доводов и аргументов. Органы милиции грозно бряцают своими уложениями.

А размах народного пьянства все ширится.

Лет восемь назад по указанию свыше были реорганизованы заводские многотиражки. В них были учреждены специальные отделы. Я заведовал таким отделом в газете ЛОМО (оптико-механическое объединение). Назывался отдел туманно — «Право и мораль». Конкретно же речь шла только о пьянстве.

Четыре года я исследовал этот вопрос. Написал около двухсот корреспонденций. Пытался теоретизировать. Участвовал в горкомовских семинарах на эту тему (сам едва не спился окончательно).

В результате осознал неразрешимый глобальный парадокс. В чем его суть?

Государство безусловно заинтересовано в том, чтобы люди являлись на работу абсолютно трезвыми. Ведь убытки, связанные с пьянством, неисчислимы. Простаивает оборудование. Упорно растет травматизм. Снижается качество продукции. Короче, государство закликает — НЕ ПЕЙ! Не случайно винные лавки торгуют с одиннадцати. А влиятельный Панфилов (генеральный директор ЛОМО) вообще добился закрытия ближайших магазинов. (Труженники ЛОМО ходят за водкой на Лесной проспект, через мост. Это так и называется — «пойти за мост»...)

— Не пей! — уговаривает тебя государство и шепотом добавляет. — С утра...

А вечером — пожалуйста. Сколько влезет...

Что угодно может пропасть из советских магазинов — лук, яйца, колбаса, туалетная бумага... Только спиртное не переводится, в столичном городе и в деревне, в тундре и в пустыне...

Все знают, алкоголь — колоссальная статья государственного дохода. Однако не это главное. Куда важнее другое обстоятельство:

Алкоголь — безотказное средство тотального наркоза.

И действительно. Алкоголик почти всегда социально инертен.

Алкоголик полностью сосредоточен на единственной бредовой идее.

Алкоголик легко управляем из-за постоянно терзающего его чувства вины.

Алкоголик крайне неприхотлив во всем, за исключением основной страсти.

И так далее.

Массовое народное протрезвление обрело бы грозный фигуральный смысл. Последствия могли бы стать катастрофическими для властей.

Трезвый рабочий начинает задумываться о жизни. Сопоставлять и анализировать факты. При убогих возможностях советского досу-

га он неизбежно берется за книгу. То, что предлагает ему заводская библиотека, — непереносимо. Поэтому следующий этап — иностранное радио, нелегальная литература...

А дальше что? Подумать страшно...

Вот и получается дикость. Государство широко распахивает двери винных магазинов:

— Пей! Гуляй! После работы — сколько угодно!

А утром — плодотворный, созидательный труд, активное строительство светлого будущего...

Миллионы активных строителей просыпаются с дикой головной болью. И на горизонте их светлого будущего маячит стакан...

Помню, спросил я утром на ЛОМО знакомого фрезеровщика:

— Ну как, Леша, поправился?

— Поправился, — говорит. — Словно на каменку в бане плеснул, аж зашипело!..

«Новый американец», № 6, 21—27 марта 1980 г.

КР

НА СВОБОДЕ ЖИТЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО...

На свободе жить очень трудно. Потому что свобода одинаково благоклонна и к дурному, и к хорошему. К щедрому небу демократии энергично тянутся самые разнообразные цветы.

Хорошее в человеке раскрывается легко и полно. Хамство и низость беззастенчиво заявляют о себе.

Больше года мы терпели двух симпатичных проходимцев. Больше года прощали им так называемые — маленькие слабости. Больше года выдумывали для их пороков снисходительные наименования. Так жалкие финансовые махинации наших боссов дружелюбно именовались — «волевой арифметикой».

Наконец терпение истощилось. Произошел неминуемый разрыв. Мы просто забрали свои бумаги и ушли...

— Ясно, — заметит скептически настроенный читатель, — еще одна газета! Еще один нахальный гриб, выросший после дождя...

Что ж, раздражение законное и почти справедливое. Печатные органы размножаются с невероятной быстротой. Говорят, скоро будет на каждого читателя по еженедельнику.

В идеале так и должно быть. Что же тут поделаешь — свобода!

И все-таки — присмотритесь. Мы не скороспелый фрукт в этой благодатной и плодоносящей оранжерее. Год и восемь месяцев шелестит наше корявое деревце своими бумажными листьями. Год и восемь месяцев терпеливо скрипят наши бывалые перья.

Есть сложившаяся группа малоимущих профессионалов. Есть нелегкое бремя совершенных ошибок. Есть драгоценный архив безусловных творческих завоеваний. Есть не очень громкое и все-таки — доброе имя.

Есть тысячи друзей. Есть (и это тоже правильно) необходимое количество врагов. Короче — перед вами разноголосый, но дружный хор единомышленников. Отзвучала торжественная увертюра. Начинается действие.

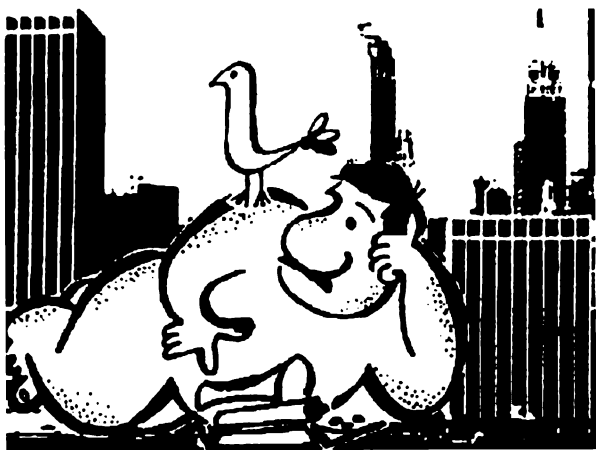
Мы не заметили, как приобрели известность. К нам проявила интерес влиятельная американская торговая фирма, завоевывающая этнический рынок. Мы получили значительную денежную субсидию и лишь теперь начинаем работать всерьез. То есть — по-капиталистически.

Подписав контракт на три года, мы с облегчением вздохнули. Это дает нам чувство уверенности, позволяет трудиться без судорог и конвульсий.

Мы увидели новый свет. Вышли на прямую и ясную дорогу. И все-таки, все-таки мне хочется спросить:

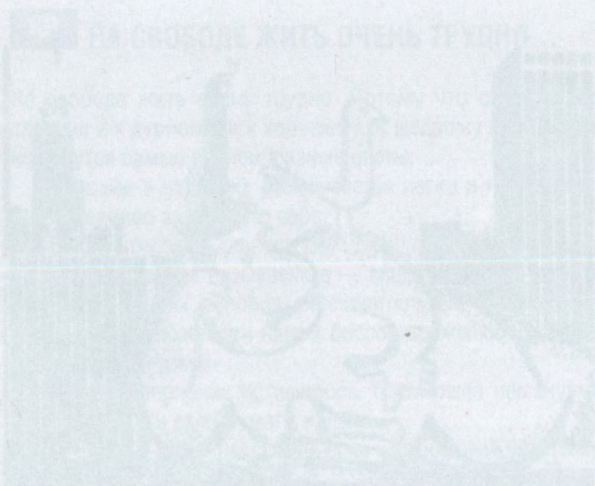
— А что же там, за поворотом?..

«Новый свет», № 1 (89), 24—30 октября 1981 г.



Автопортрет на фоне Нью-Йорка

Верхом на улитке





ВЕРХОМ НА УЛИТКЕ

...А все, что друг мой сотворил, —
От Бога, не от беса,
Он крупного помола был,
Крутого был замеса!..

*В. Высоцкий,
«Посвящается Шемякину»*

Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина на Западе как персональное оскорбление. Его успех оглушителен до зависти, мести и полного твоего неверия в себя.

Молодой, знаменитый, богатый, талантливый, умный, красивый и честный... Можно такое пережить без конвульсий? Не думаю...

Я не специалист и не буду оценивать живопись Шемякина. (Тем более что ее уже оценили. Небольшая картина продана за 90 000 долларов.) Меня, откровенно говоря, волнует не живопись Шемякина, а его судьба.

Вот — пунктиром — несколько штрихов биографии.

Отец — полковник кавалерии. Мать — актриса. Отец, ревнивый кавказец, берет жену на фронт. Хрупкая служительница Мельпомены участвует в конных атаках и рубится шашкой.

Где-то над обломками Кенигсберга восходит звезда Михаила Шемякина.

Затем (отец военный) — немецкая школа в здании бывшего гестапо.

С 57 года — Ленинград. Отвратительная коммуналка. (Отец и мать, по-видимому, развелись.)

Средняя художественная школа. Увлечение старыми мастерами. Пренебрежение соцреализмом.

Группу подростков выгоняют из СХШ. Они работают и учатся самостоятельно.

Примерно в эти годы Шемякин изобретает злополучный «метафизический синтетизм» (стоивший ему двух психбольниц и принесший мировую славу).

Термин, конечно, мудреный. Скажем так:

Основы жизни и основы культуры — совпадают. Художник движется к основам, не выявляя, а преодолевая свою неповторимую индивидуальность (Шемякину хорошо. Сначала выявил, да еще как, а затем уж и преодолеть не жалко). Личное (Я) — временно и тщетно. Вечно — общее (жизнь, природа, культура). И, разумеется, — Бог как выражение самого общего начала...

С облегчением вздохнем и продолжим.

Шемякин работает грузчиком. Оформляет книги. Якшается с подозрительными иностранцами. (А какой иностранец не подозрителен?!) Дерзит КГБ.

Короче, привычный советский детектив, без выстрелов, но с жертвами. Затем эмиграция, слава, назойливые корреспонденты...

В Ленинграде я Шемякина знал мало. А теперь знаю еще меньше. Хотя вспоминается и наше знакомство, и какие-то разговоры...

Сейчас мне хочется думать, что было какое-то особое впечатление. Было ли? Шемякин тогда не очень выделялся. В Ленинграде тысячи претенциозных молодых художников. И кудри неаполитанские у многих, и брюки с заплатами из отцовских портфелей.

Вспоминается Шемякин дерзким и самоуверенным.

— Скоро уеду, — говорит он.

— Вы же не еврей? (Тогда это было сложно.)

— У меня друзья на Западе.

— Влиятельные?

— Помпон обещал содействие.

— Кто это — Помпон?

— Помпиду.

Действительно, тогдашний президент Франции, эстет и сноб, любил художества Шемякина.

Так он и уехал. Рисовал картины, богател, меценатствовал, пил, достиг величия...

Я часто думаю, откуда такие берутся?! Эти голодные недоучившиеся российские мальчики?! С невероятными философскими реформами?! С гениальными картинами?! С романами, вроде «Москва—Петушки»?!

Кто их создает?

Я знаю — кто. Советская власть!

Проклинаем ее, и не зря. А ведь создает же!

Как это происходит? На голове у каждого художника лежит металлическая плита соцреализма. И давит многоотонной тяжестью. Художник тоже напрягается, мужает. Кто-то, сломленный, падает. Кто-то превращается в атланта.

Вот так. На голове у западного человека — сомбреро. А у нашего — плита...

Бродского давили, давили, и что вышло?

С Шемякиным такая же история...

Вы спросите, а при чем тут улитка? Улитка при том:

Можно всю жизнь, подобно Илье Глазунову, копировать русские иконы. И всю жизнь провалиться в материалистической луже. А можно — по-другому. Оседлать, как Шемякин, метафизическую улитку и в безумном, ошеломляющем рывке пробить небесный купол...

И что тогда? А тогда — разговор с Небожителем.

И тут мы, непосвященные, умолкаем...

«Новый американец», № 6, 21—27 марта 1980 г.

КР «НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ» ДРАМАТИЧЕСКИ ВОЗВЕСТИЛ...

«Новый американец» драматически возвестил о кошмарных событиях. Новоамериканская версия этих событий такова. Зазнавшегося главного редактора понизили в должности. Маэстро обиделся и предпринял разбойничий налет. Похитил очередной номер газеты и, естественно, материальные ценности.

Далее идет насчет полиции. Затем — призывы к солидарности. И, разумеется, жалобы на бедность. Я прочитал это воззвание трижды и совершенно запутался. Ну хорошо, Довлатова понизили. Довлатов надулся и похитил газету. А заодно и хапнул редакционный сейф.

Ну хорошо — Довлатов монстр с безмерными амбициями. Куда же девались все прочие сотрудники «НА»? Где умудренный жизнью Поповский? Где блистательный Вайль? Где умница Генис? Где прячется компетентный Батчан? Где неутомимая Шарымова? Где одухотворенный Рыскин? Куда исчез рассудительный, добропорядочный Гальперин?

Почему все эти люди бежали из «Нового американца»? Чего ради они поддержали негодяя Довлатова?

Кстати, за что же его понизили в должности?

Я могу ответить на этот вопрос. Я давно считал наших корпорантов обаятельными мазуриками. И продолжаю считать таковыми. Точнее, один жуликоват, другой — как бы это помягче выразиться — наивен. Я пытался вынудить их действовать честно. И меня поддержали коллеги. Это все.

Мы действительно забрали из редакции статьи очередного номера. Это — наша собственность, наш труд и наше достояние.

Мы ушли и делаем газету сами. В контакте с честными людьми.

Да, как же насчет материальных ценностей? Они действительно похищены. А именно:

1. Линейка металлическая (одна), принадлежащая Генису.
2. Фотоизображение Довлатова в обнимку с Юзом Алешковским — собственность Довлатова.
3. Резинка стирательная (одна), приобретенная лично Вайлем.
4. Вентилятор напольный, принадлежащий Е. Довлатовой, жене, а значит, и сообщнице Довлатова.
5. Полиэтиленовый мешок, бывший в употреблении. Собственность Любви Федоровой. С извинениями возвращен...

Вчера мне позвонил детектив, расспросил о случившемся. Затем он смущенно произнес:

— Я думаю, это — kidding, joke, шутка. Извините меня.

И трубку повесил...

«Новый свет», № 2 (90), 31 октября — 6 ноября 1981 г.

КР ЭТО ПИСЬМО Я ОТПРАВЛЯЮ В ЛЕНИНГРАД...

Это письмо я отправляю в Ленинград. Повезет его все та же благословенная француженка.

Дорогие мои!

Извините, что пишу так коротко и сумбурно. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Беллетристику давно забросил, что, возможно, и к лучшему...

На свободе жить очень трудно. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Разделить же дурное и хорошее не удастся без помощи хакири. В каждом из нас хватает того и другого. И все перемешано...

Об Америке писать невозможно. Все, что напишешь, покажется тусклым и убогим. Мы живем здесь почти три года и все еще удивляемся.

Можно долго перечислять ее замечательные и ужасающие черты. Затем написать — «и так далее». То есть главное все равно останется за чертой. Америка всегда — и так далее. Ее не перечислить.

Кубизм зародился во Франции, и это — неправильно. Место ему — на Бродвее. Чувствуешь себя здесь как в магазине детских игрушек. Многие из которых неожиданно стреляют...

Я рад, что вам нравится газета. Жаль, что получаете лишь разрозненные номера. Если читать пунктиром, впечатление искажается.

Передайте Севостьянову, Чирскову, Губину, Лурье — мы нуждаемся в рукописях. Поговорите с Шефом и Ридом Грачевым, если это возможно. Попробуйте что-то объяснить Горбовскому. Дайте знать Валерию Попову.

За каждый хороший рассказ полагаются джинсы.

Я уже писал, что работать нам трудно. Рынок узкий, публика инертная. Колбаса идет лучше Набокова.

Да и подонков хватает. В процентном отношении их здесь не меньше, чем дома. Только одеты получше. И то не всегда...

Стоит ли говорить, что я вас не забыл и постоянно думаю о Ленинграде. Хотите, перечислю вывески от «Баррикады» до «Титана»? Хотите, выведу проходными дворами от Разъезжей к Марата?

Я знаю, кто мы и откуда. Я знаю — откуда, но туманно представляю себе — куда. И вы, я думаю, не представляете. А может быть, представить себе этого и не дано... И слава Богу!

Мы живы, и одно это уже — показатель качественный.

И помните, не каждый соотечественник — друг. И далеко не каждый говорящий на русском языке понятен. Иногда, как писал Марамзин, говорит человек, а слушать нечего...

Зовут меня все так же. Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы.

«Новый свет», № 3 (91), 7—13 ноября 1981 г.

КР ЗИМА К НЬЮ-ЙОРКУ ПОДСТУПАЕТ...

Зима к Нью-Йорку подступает осторожно. Еще вчера было душно на останковке сабвея. Позавчера я спускался за газетами в шлепанцах. Три дня назад оставил в ресторане свитер...

А сегодня утром задаю вопрос ближайшим родственникам:

— Где моя вязаная шапка?..

Дома было все иначе. Сначала — дожди. Потом неделя сухих холодных ветров. И вдруг рано утром — пелена белого снега. И снежные шапки на тумбах ограды. И белый узор на чугунных воротах. И улица, напоминающая черно-белый фотоснимок...

Нелегко было шагнуть с крыльца в первый зимний день. Я хорошо запомнил ощущение решимости, которое требовалось, чтобы ступить на это белое полотно...

А помните, друзья, кальсоны? Трикотажные импортные кальсоны румынской фирмы «Партизан»? И ощущение неловкости при ходьбе. И стиснутые манжетами щиколотки. И загадочные белые пуговицы, которые внезапно таяли от стирки...

Куда это все подевалось?

Того и гляди, заговорю как охваченный ностальгией патриот:

— А на Тамбовщине сейчас, поди, июнь... Малиновки поют... Выйдишь, бывало, на дальний плес...

Нет Тамбовщины. Нет дальнего плеса. Нет малиновок. Июня тоже нет. И не было...

Зима в Нью-Йорке лишена сенсационности. Она — не фокус и не бремя. Она — естественное продолжение сыроватого, теплого бабьего лета. Те же куртки и джинсы. Те же фрукты под открытым небом...

Так чего же мне не хватает? Сырости? Горечи? Опилка на кафельном полу Соловьевского гастронома? Нелепых скороходовских башмаков? Телогреек и ватников?

Как это сказано у Блока:

...Но и такой, моя Россия,
ты всех сторон дороже мне...

Тяжело заканчивать разговор этой печальной нотой. Правильно написал Григорий Рыскин:

«У нас была судьба. Не биография, а судьба. И мы не сдались...»

Конечно, Рыскин — не Блок. Так ведь и мы — не прекрасные дамы...

«Новый свет», № 5 (93), 21—27 ноября 1981 г.

...ПОЭТОМУ БУДЕТ ВОЙНА

Беседа с Куртом Воннегутом

Курт Воннегут — один из наиболее значительных прозаиков современной Америки. Лучшие его книги давно переводятся на русский язык. Наряду с Хемингуэем и Стейнбеком Воннегут исключительно популярен у русского читателя.

Основное настроение романов Воннегута — крайний социальный пессимизм. Центральная его тема — обреченность человека в современном мире. Художественные приемы восходят к традиции фантастического реализма Свифта и Гоголя.

Советское литературоведение хитроумно истолковывает книги Воннегута. Его пессимистическое неприятие действительности, апокалиптичность мышления — выдается за отрицание конкретного буржуазного строя. Глобальный язвительный фарс его романов трактуется как антибуржуазная сатира.

Литературоведы, разумеется, молчат о том, что Курт Воннегут неизменно поддерживает советских диссидентов. Что им подписаны десятки обращений к советским властям. Что Воннегут — участник бесчисленных демонстраций перед зданием советской миссии в ООН...

Сегодня мы гости Курта Воннегута. Перед нами сидит кудрявый долговязый человек в бесформенном свитере и мягких замшевых туфлях. Так двадцать лет назад одевались все американские студенты.

У Воннегута красивая жена и маленькая лохматая собачка. Я думаю, это все, что нужно талантливому писателю.

Мы задаем ему вопросы.

— Как повлияла на вас русская литература?

— Влияние Толстого и Достоевского столь огромно... Оно превосходит даже влияние Марка Твена. Хотя Марк Твен — это лучшее, что есть в американской прозе. Он создал американский литературный язык. До него пользовались английским. Негры в «Хижине дядя Тома» разговаривают, как шекспировские герои...

Из русских писателей мне ближе всех Гоголь. Говорят, в нас есть что-то родственное...

Чехов – воплощение порядочности, гения и покоя.

– *Что вы думаете о современной русской литературе?*

– В основном я читаю книги моих знакомых. Кроме того, слежу за немецкой, французской, итальянской литературой. Времени явно недостаточно. Но я читал Солженицына. Он заслужил Нобелевскую премию. «Иван Денисович» – это настоящий шедевр... Миллионы людей живут и работают в невыносимо тяжелых условиях. Будь то работа на шахте или в литературе. Полагаю, что у нас есть свои Иваны Денисовичи. Боюсь, что Солженицын этого не знает...

Итак – Солженицын, Зиновьев... Повесть Георгия Владимова о собаке. Да, именно «Верный Руслан»... И еще – Шукшин. Я забыл название. Такое красное дерево...

– *Калина... Сноуболл берри.*

– Да, именно, «Сноуболл берри». Меня заинтересовали преступники у Шукшина. Советские газеты мало пишут на криминальные темы. Значит, Шукшин талантливо угадал эти патологические характеры. Я видел фильм по книге Шукшина. Там очень смешные преступники. У них пиджаки эпохи буги-вуги. И еще – солнечные очки в дождливую погоду. Чтобы полиции лучше было их узнать. Я думаю, это немного фальшиво...

Я был на четырех встречах русских и американских писателей. Мы обсуждали наши проблемы. Говорили о том, что надо издавать больше русских книг. Но американский рынок довольно пассивен. Нужна очень сильная книга, чтобы его расшевелить.

– *Что могло бы представлять интерес для американцев? Какого типа литература имеет шанс на успех?*

– Я думаю, хороший роман о войне мог бы заинтересовать издателей. Хороший, правдивый роман в классической толстовской манере...

Разумеется, книги о лагерях производят сильное впечатление. Но и обычная жизнь порой бывает сложна.

– *Каковым вам представляется будущее американской литературы?*

– Джон Стейнбек был последним выразителем романтической надежды. Она умерла вместе с ним. Стейнбеку казалось, что миро-

вая гармония достижима. После депрессии и войны люди ожидали мира, благоденствия, справедливости. Сейчас эти надежды рухнули. Романтической мечты не существует. Теперешняя литература пытается выяснить, куда она исчезла. Мы пытаемся разобраться в себе и в мире. Чтобы принести в мир новую идею благоденствия...

Самая масштабная идея нашей эпохи — идея коммунизма — явно провалилась. Ужасно, что на Западе поверили было в русский эксперимент. При этом говорили — у них есть справедливость и равноправие женщин. Затем мы посмотрели поближе, что там делается. И пришли в ужас.

Страшно не то, что в России пострадали интеллектуалы. Интеллектуалам везде одинаково плохо. Страшно то, что простые люди бедствуют и мучаются. Такие, как Иван Денисович.

Идеи, противостоящей коммунизму, — нет. Мир достиг края пропасти в ожидании новой идеи.

Американцы не любят задумываться о трагизме человеческой жизни. Нужен великий писатель, чтобы заставить их думать об этом. Чтобы заставить их взглянуть на мир серьезно.

— *Что вы думаете о своих коллегах?*

— Я их люблю, хотя мы редко видимся. У меня достойные товарищи. Филипп Рот, Апдайк, Норманн Мейлер... Мы не создали великой литературы. Не создали вещей, равных мировой классике. Сейчас нет великих писателей. Но есть писатели второго ранга. Такие, как я и Норман Мейлер. Которые сделали много для простого американского читателя. Я обрадовался, когда Солу Беллоу дали Нобелевскую премию. Это было признанием наших заслуг. Признание автора второго ранга...

— *Слышали бы это мои друзья! То, как Воннегут называет себя урядным писателем. Писателем второго ранга...*

— А кто ваши друзья?

— *Мои друзья — гении. Все, как один. Даже если пишут с грамматическими ошибками... Скажите лучше, что вы думаете о будущем. Каков завтрашний день нашей планеты.*

— Я думаю, что будет война. Я долго размышлял, почему она неизбежна. Большинство людей устало от жизни, которая слишком продолжительна и тяжела. Они хотят положить всему этому ко-

нец... Я затрудняюсь ответить на вопрос — почему? Я не знаю — почему. Люди не предпринимаят усилий, чтобы выжить. Значит, они хотят, чтобы все это кончилось...

— *А как же инстинкт самосохранения? Если он свойственен человеку, то свойственен и человечеству?*

— Вообще нет. Инстинкт самосохранения персонален. Это свойство индивидуума, а не массы. Масса безрассудна. Инстинкт самосохранения поглощается массовым безрассудством. Поэтому будет война...

Мировоззрение Воннегута носит крайне пессимистический характер. И человечество дает немало поводов к такому ходу мыслей. И все-таки положение не кажется безнадежным. На фоне зловещих прогнозов есть множество свидетельств величия человеческого духа. Примером тому — благородная деятельность академика Сахарова. Борьба советских диссидентов, в защиту которых так решительно выступали американские писатели. И не в последнюю очередь — творчество самого Воннегута... Ибо настоящая литература есть крайнее выражение человеческой порядочности. Одно из достижений человечества, удерживающих его на краю пропасти.

СВОЙ АМЕРИКАНЕЦ

Нелегко полюбить Америку. Нелегко привыкнуть к ошеломляющим стандартам ее разнообразия. К ее величию и убожеству. Агрессивности и благодушию. Беспечности и прагматизму.

Мне в этом смысле повезло. Я полюбил Америку раньше, чем ее увидел. Вернее, не Америку — отдельные ее черты.

С детства я любил американскую прозу. За демократизм и отсутствие сословных барьеров. За великую силу недосказанного. За юмор. За сочувствие ходу жизни в целом. За внятные и достижимые нравственные ориентиры...

Еще раньше я полюбил трофейные американские фильмы. За ощущение тождества усилий и результата. За идею превосходящего

меньшинства. За гениальное однообразие четко вылепленных моделей...

Затем я полюбил джаз. Я полюбил его в шестидесятые годы интеллектуального расцвета. За оптимизм и непосредственность. За возрождение соборных чувств. За прозорливость к шансам гадкого утенка...

У меня появились знакомые американцы. (Джейн Галахер — откликнись!)

Я любил независимость их поведения. Элегантную небрежность манер. Презрение к условным нормам. Отсутствие музейного трепета. Мне нравились даже их узковатые пиджаки и одинаковые замшевые туфли...

Но вот я приехал. И всего этого оказалось мало. Америка выглядела чужой и недостижимой.

Я поселился в русском квартале. Общался только с русскими. Я вторил пошлым сентенциям:

«Литератор должен избегать чужого языка!»

Я поддакивал, когда говорили:

«Все американцы так примитивны!..»

Короче, я неудержимо превращался в марс-лянина...

Месяца четыре назад все изменилось. Все изменилось самым неожиданным образом. Произошло чудо. Я встретил американца, похожего на себя.

Еще раньше меня познакомили с девушкой. Ее рекомендовали как переводчицу. (Вернее, меня рекомендовали. Как подающего надежды автора.) Мне сказали:

— Во-первых, она красавица. Типичная героиня Боттичелли...

Живопись я знаю плохо. Точнее говоря, совсем не знаю. Фамилию, конечно, слышал...

Наконец мы познакомились. И я ее сразу же узнал. То есть я узнал героиню этого самого Боттичелли. Такие огромные глаза, ясный взгляд, сочетание чувствительности и целомудрия...

— Меня зовут Анн, — сказала девушка.

— Меня тоже, — говорю.

— Тоже — Анн? — поразилась девушка.

— Тоже — Сергей, — говорю.

Мы шли по улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Сделал какой-то размашистый выкрик. То ли — «К цыганам!», то ли — «В пампасы!» Я изображал неистового русского медведя. Я был помещью Ильи Муромца с Джоном Вейном. Я сказал бармену:

— Водки, пожалуйста! Шесть двойных!

— Вы кого-то ждете? — поинтересовался бармен.

— Да, — ответила моя знакомая, — скоро явится вся баскетбольная команда.

Я поблагодарил ее и сразу опрокинул шесть двойных.

И тут же заказал еще четыре.

Вы спросите, а что же было дальше? И я без колебаний вам отвечу. Дальнейший ход событий был ужасен — меня неудержимо понесло. Мир изменился к лучшему. Спадали оковы тяжелых комплексов. А дальше? Вы спросите, так что же было дальше? А дальше начал я бесстыдно лгать! Сначала я уверенно коснулся проблем литературного величия. Легко подмял Толстого с Достоевским. (А Чехова небрежно пошадил.) Затем коснулся дружбы с Евтушенко. (Что мало соответствовало правде.) И дал понять, что написал три книги, укрывшись псевдонимом — Искандер. В конце я сообщил непринужденно, что «Реквием» Ахматовой великой, написанный в трагические годы, Довлатову интимно посвящен...

Девушка молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась:

— Закусывай! А то уже хорош!

(Кстати, в баре и закусывать-то нечем...)

Молчит и улыбается.

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего-чего, а одиночества — хватает! Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество — никогда...

А девушка все молчала. Пока я не спросил ее о чем-то. Пока я не сказал чего-то лишнего... Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваешься. Лишний миллиметр — и центр тяжести уже где-то впереди. Еще секунда, и окунешься в пустоту... Тут важно немедленно остановиться. И я остановился. Но еще раньше впервые прозвучало имя — Стивен Диксон.

Стивен Диксон...

Еще через неделю мы познакомились. Стивен оказался рослым мужчиной несколько декадентского вида. Без той чуточку раздражающей спортивности, которой гордятся университетские американцы. Мне одинаково трудно представить его себе как в галстук, так и в шортах...

Притом — открытое лицо, ясный взгляд (как это они друг друга находят?!) и совершенно детская улыбка...

Я спросил его:

— Что ты думаешь о русской литературе?

— Я ценю ее выше, чем американскую. Сначала прочитал Тургенева. Называется «Отцы и дети». Я предполагал, что это семейная история в манере Диккенса. Меня поразила глубина этого романа, его универсальная значимость. Я прочитал всего Тургенева, затем увлекся Достоевским. Лучший роман, который я знаю, — «Идиот». По степени духовности — это непревзойденный шедевр. Самая законченная книга Достоевского — «Преступление и наказание». В ней больше соразмерности, логики и мажорства...

— Что ты думаешь о Солженицыне?

— Это — великий прозаик. Именно — прозаик. Хотя его политическая роль — огромна. Но меня интересует проза. Многие у нас рассматривают Солженицына исключительно как публициста. Игнорируя драматургию его романов, его эллиптический синтаксис... Если уж Норман Мейлер с его «Исповедью палача» выступает как беллетрист!.. И даже удостоивается литературных премий... То Солженицын заслуживает этого вдвойне...

Очень хорош Набоков. Его надо оценивать по шкале, им самим утвержденной. То есть по шкале чести и эстетизма. Не стоит ждать от него бытописания или принципиальной духовности. Его литература духовна, насколько духовна жизнь природы. Нельзя обвинять в аморализме засуху или тропический ливень...

...«Мастер» Булгакова — замечательная книга, точно сконструированная и при этом — лирическая. Сочетание лирики и математического расчета...

...Пастернак мне кажется несколько декоративным...

...Иногда русская литература присваивает функции церкви. Лично мне это импонирует. Хотя в Америке церковь и культура разделены более четко...

...Из современных русских? Ерофеев, Войнович...

Мне было приятно все это слушать. Давно уже чужие суждения не подкупали меня так решительно.

С Вайлем и Генисом — уж как дружны! По телефону друг другу читаем страницы из Гоголя. А вот насчет Зиновьева — разошлись. И с «Эхом» какие-то неясности... Не говоря о Мамлееве...

Тогда я позвонил домохозяйке Радмиле Керн, которая хорошо знает английский язык. Я спросил:

— Ты читала рассказы Стивена Диксона? На кого он похож?

— На тебя, — сказала Рада, — на тебя и похож... Городские истории. Банальность, гротеск... Два плана, экстатический и будничный...

Я обращаюсь к Стивену:

— Ты выпустил четыре книги. Две из них — в «Харпер энд Роу». Опубликовал 125 рассказов... А как насчет денег. Был ли коммерческий успех?

Стивен ответил коротко и четко:

— Нет.

— Тебя это не смущает?

— Нет.

— Ты этим гордишься?

— Нет.

— Гордится, гордится, — сказала Анн Фридман.

Стивен перебил ее:

— Одна книга могла стать бестселлером. Если бы издательство потратило хорошие деньги на рекламу...

— А мог бы ты написать коммерческий роман? Поставить себе такую задачу?

— Думаю, что мог бы. Опыта у меня достаточно. Но это значило бы убить в себе писателя. Нельзя после «Гамлета» браться за телесерию. Пути обратно — нет. Это хорошо понимал Томас Вулф...

— До чего напоминает Охупкина! — сказала моя жена. (Дав-

но уже пора вывести ее на сцену.) — До чего напоминает Охапкина!..

...Охапкин двадцать лет писал стихи. Его нищета граничила с безумием. Питался он булкой и злаками с газона.

У него был кот. Звали кота — Барометр. Кот выполнял ответственную функцию.

Дело в том, что поэт боялся умереть от истощения. Человек попусторонний, он рисковал не заметить собственной кончины.

И он приобрел кота. Кот служил показателем жизни. Если кот терял сознание от голода, поэт шел к друзьям. Занимал три рубля. Покупал макароны себе и коту. И вновь принимался за стихи.

Кот заменял ему пульс...

— До чего напоминает Охапкина! — сказала моя жена...

Недавно Анн и Стивен уехали в Мэйн. Анн в свободные часы переводит мой очередной рассказ. Задаёт в письмах интересные вопросы. Например, «Что такое — вобла?» И жалуется, что Диксон очень громко стучит на машинке.

Скоро они вернуться. Я зайду в магазин «Красное яблоко». Куплю у добродушного Мони связку воблы. Угощу моих американских друзей.

А сейчас я пишу на огромном листе бумаги толстым зеленым фломастером:

«Диар Анн энд Стивен! Вобла из э драй фиш. Итс вери тэсти. Белив ми. Ай эм вэйтинг фор ю!..»

Что в строгом переводе означает:

«АНН И СТИВЕН, ВЫ — ТА ЕДИНСТВЕННАЯ АМЕРИКА, КОТОРУЮ Я ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ!»

«Новый американец», № 31, 9—14 сентября 1980 г.

КР К НИЩИМ Я ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ С ПОЧТЕНИЕМ...

К нищим я всегда относился с почтением. Или, как минимум, с любопытством. Еще бы, ведь эти люди совершенно не такие, как мы. Они игнорируют всяческие приличия. Ходят в рубище. Не служат. На общественное мнение — плюют.

Раньше я не всегда подавал им милостыню. Иной раз быстро проходил мимо. Одно дело — старый человек, инвалид. Однако чаще попадают здоровые, нахальные и без малейших следов увечья. Говорят, они тайно строят дачи. И вообще неплохо зарабатывают своим ремеслом.

Раньше я не всегда им подавал. А теперь подаю. Всем без исключения.

На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой:

«Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился расстегивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут... С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости...»

Я не случайно вспомнил эту историю. Сегодня иду по Манхэттену. Навстречу оборванец. На плечах женская кофта. На голове — абажур. Подходит и говорит:

— Дай мне квотер!

Не то чтобы он потребовал квотер. Хотя и не скажу, что попросил. Он сдержанно предложил мне дать ему квотер.

Я дал. Я дал, но морально осудил этого человека. После чего хотел было идти своей дорогой.

Но тут произошло чудо. Босяк отбежал в сторону. Он стал как будто выше ростом. Затем вдруг изобразил мою походку. Надо сказать — очень похоже и талантливо.

Значит, он был артистом. И я решил не осуждать его. У меня своя дорога, у него — своя.

И я в хорошем настроении пошел своей дорогой... А он — своей...

Говорят, экономическая политика Рейгана затрагивает интересы беднейших слоев населения. Дай Бог, чтобы она пощадила моего нового знакомого...

«Новый свет», № 6 (94), 28 ноября — 4 декабря 1981 г.

КР ПРИНЯТО ДУМАТЬ...

Принято думать, что советская армия могущественна и непобедима. И потому весь цивилизованный мир дрожит от страха.

По-моему — зря. Я три года был советским военнослужащим. Более того, пассивным участником некоторых военных действий. В ходе которых меня постигло разочарование относительно боевой готовности советской армии. С тех пор лично я не дрожу.

Дело было так. Наша рота лагерной охраны стояла под Иоссером. В роте было девять отделений. Четвертым отделением командовал ефрейтор Головня.

Внезапно Головня помешался. В роте был смотр, и его отделение заняло пятое место. Головня рассвирепел, залез на чердак и открыл стрельбу. Ему хотелось перестрелять конкурентов. И он действительно ранил из автомата троих военнослужащих.

Нас было сто человек. Когда началась стрельба, все разбежались. Некоторые бежали до самого винного магазина. Очень разумно действовала повариха Шура. Услышав стрельбу, Шура залезла в борщевой котел.

Начальство объявило тревогу. За казармой собралось человек двадцать. Командир роты спросил:

— Есть добровольцы? Выходи!

Добровольцев не оказалось. Кому охота рисковать жизнью в мирные дни?

Тогда начальство вызвало подкрепление. Мы ожидали его больше суток. Наконец прибыли два бронетранспортера и отряд сверхсрочников. Один бронетранспортер сломался возле переезда. Другой потерял управление и мягко съехал в карьер. Буксуя, он страшно рычал и не двигался. Сверхсрочники занялись починкой.

Два часа спустя они захотели есть. Продуктов им не доставили. В результате они съели наше довольствие. А нам командование выдало по рублю. Чтобы мы шли в поселок за булкой. Часть наших солдат еще раньше ушла за «Агдамом». Теперь ушли все остальные.

Головня, воспользовавшись замешательством, покинул чердак. Он сильно толкнул в грудь капитана Прищепу и убежал на лесобиржу. Там он напился этилового спирта, заснул и был арестован милицией.

Когда его допрашивал замполит Бертельсон, Головня напевал:

— Я люблю тебя, жид, что само по себе и не ново...

Боюсь, что Головню расстреляли. Или посадили в сумасшедший дом. Мы же продолжали службу в нашей доблестной армии...

КР ЖИЗНЬ АКАДЕМИКА САХАРОВА...

Жизнь академика Сахарова — в опасности. Это значит, в опасности — сама идея цивилизации. Значит, советские власти готовы перешагнуть рубеж нравственного одичания.

Репутация Сахарова — уникальна. Он внушает любовь даже своим идейным противникам. Более того, своим заклятым врагам.

В эмиграции много замечательных людей. Огромным уважением пользуются Солженицын и Григоренко, Максимов и Буковский, Чалидзе и Турчин, Зиновьев и Копелев. Между ними глубокие, сложные, иногда довольно неприязненные отношения.

Но Сахарова любят все. Мрачноватые русские патриоты и запальчивые сионисты. Убежденные демократы и приверженцы сильной власти. Глашатаи плюрализма и сторонники авторитарных форм...

Говорят, академика Сахарова уважает даже Павел Леонидов.

Уважение к Сахарову — может быть, единственное, что объединяет всех русских эмигрантов...

В Ленинграде есть такой журнал — «Аврора». В шестьдесят седьмом году его редактировала Нина Косырева. Косырева была обыкновенной партийной чиновницей. И делала все, что положено делать номенклатурному советскому редактору. Отклоняла талантливые рукописи, печатала всякую халтуру, горячо и лицемерно выступала на юбилейных собраниях.

Неожиданно в «Авроре» появился материал, где упоминали крамольного Сахарова. Упоминали как ученого, в положительном смысле.

Это был страшный, недопустимый идейный промах.

Косыреву потащили в обком. Начали прорабатывать. Нина Сергеевна упрямо твердила:

— Не знаю, не знаю, я смотрела в энциклопедии...

Что-то с ней произошло. Видимо, на Сахарове кончилось ее терпение.

Косыреву сняли...

Мне кажется, главное в академике Сахарове — доброта. Его отношение к миру поражает снисходительностью и беззлобием. Надо же было так изощриться властям, чтобы принудить Сахарова объявить голодовку. Толкнуть его на эту крайнюю меру, на этот последний шаг.

Мне кажется, его должны спасти. Иначе просто быть не может. Иначе жить на этой планете будет совершенно отвратительно.

Если убьют Сахарова, то не пощадят и вас!

* * *

Когда номер был готов, пришло известие, что требование академика Сахарова — удовлетворено.

ВОСПОМИНАНИЕ С ЛЕГКИМ АКЦЕНТОМ

В жизни я перенес немало горьких разочарований. Расскажу о самом мучительном.

Зимой 78 года я узнал, что в Ленинграде находится Карл Проффер. Знаменитый Карл Проффер. Глава крупнейшего издательства русской литературы на Западе.

Выяснилось, что я могу его повидать.

Я не просто волновался. Я вибрировал. Я перестал есть. И более того — пить... Я ждал.

Ведь это был мой первый издатель. После шестнадцати лет ожидания.

Я готовился. Я репетировал. Я прямо-таки слышал его низкий до-брожелательный голос:

— Ах, вот вы какой! Ну прямо вылитый Хемингуэй!..

Встреча состоялась. Он ждал меня. И я вошел...

На диване сидел вялый мужчина в «приличном» костюме. Он дремал.

— Здравствуйте, — сказал я.

Мужчина с заметным усилием приподнял веки. Затем опустил их.

— Вы издаете мою книгу? — спросил я.

Проффер кивнул. Точнее, слегка качнулся в мою сторону. И снова замер, обессилев полностью.

— Когда она выйдет? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он.

— От чего это зависит?

Ответ прозвучал туманно, но компетентно:

— В России так много неопубликованных книг.

Наступила тягостная пауза. Внезапно Проффер чуть напрягся и спросил:

— Вы — Фазиль Искандер?

— К сожалению — нет, — ответил я.

— А кто? — слегка удивился Проффер.

Я назвал себя. Я сказал:

— Моя фамилия — Довлатов. Я узнал, что вы хотите издать мою книгу. Меня интересуют сроки.

Тогда он наклонился и еле слышно произнес:

— Я очень много пью. В России меня без конца заставляют пить. Где я ни окажусь, все кричат: «Пей!» Я пил ужасное вино. Оно называется: «Семь, семь, семь». Я не могу больше говорить. Еще три фразы, и я упаду на пол...

«Боже мой! — твердил я уходя. — Это мой единственный издатель! Этот вялый тип — мой первый и единственный издатель!..»

Прошел год. И я узнал, кто такой Проффер. И вам хочу сообщить:

Блестящий профессор русского языка и литературы. Автор двух книг и бесчисленных научных статей.

Издатель-энтузиаст, спасший от гибели сотни произведений многострадальной русской литературы.

Процветающий книготорговец, наделенный вкусом, отлично знающий рынок и способный им управлять.

Американец, избравший делом жизни — русскую литературу.

Муж красавицы Эллендеи и отец троих детишек. (А казался таким вялым.)

Ну что тут скажешь? Бывают люди...

Книжка моя все-таки появилась в «Ардисе». По-русски и по-английски. Может, единственное, что останется после меня на свете.

Не считая бесчисленных дочек...

«Новый американец», № 3, 29 февраля — 6 марта 1980 г.

КР МЫ ЖИВЕМ СРЕДИ ЦИФР...

Мы живем среди цифр. Память хранит их в необозримом количестве. В цифрах можно изобразить любую, самую причудливую биографию. От фиолетовых каракулей на бирке родильного дома. До скупой информации на могильной плите.

Можно написать роман в цифрах. И эта штука будет посильней, чем «Фауст» Гёте.

Все даты жизни одного моего партийного родственника — 1917—1938. По-моему, это законченный трагический роман...

Мы любимся первым снегом... Обретаем второе дыхание... Называемся третьей волной... Подлежим четвертому измерению... Тяготимся

пятой графой... Испытываем шестое чувство... Оказываемся на седьмом небе...

Мы помним номера телефонов и даты рождений. Размеры наших брюк и шапок. Бесчисленные адреса и цены на товары широкого потребления.

Мы переводим доллары в рубли. Меняем Цельсия на Фаренгейта.

Мы любим подсчитывать чужие доходы. Мы хорошо считаем, когда надо...

Перед вами сотый номер газеты. Сто недель пролетело. А ведь еще вчера мы совещались у «Натана». (Угол 53-й и Бродвея.)

За эти сто недель мы двадцать раз горели. Пятнадцать раз закрывали лавочку. Четырежды умирали и возрождались. Мы, как Польша, выдержали три раздела.

Когда-то мы были великолепной семеркой.. Затем приходили все новые и новые люди. (Не превратиться бы в черную сотню!)

И все-таки каждая неделя завершается праздником. Выходит «Новый американец». А ведь это — двести машинописных страниц. Объем «Капитанской дочки». Пятьдесят две «Капитанских дочки» в год!..

Я не хочу сказать, что мы всегда работали замечательно. Всякое бывало. Но мы работали честно. И если делали глупости, то не со зла. А потому, что не хватало опыта. Потому что не боги горшки обжигают. Боги только советы дают и критику наводят.

И еще потому, что лишь серость застрахована от неудач...

Рано утром позвонил Вайль:

— Ты помнишь, что мы выпускаем сотый номер?

Конечно, помню. Я только обиды забываю. Я думаю, это профессиональное качество.

Да ради такого звонка я готов помириться с шестьюдесятью Наврозовыми. Я забыл больше, чем вы когда-нибудь сможете узнать...

Сотый номер почти готов. Читайте, критикуйте — это ваша газета.

Вроде бы мы затеяли нужное дело. Увидите. Поговорим через сто лет.

«Новый американец», № 100, 8—14 января 1982 г.

КР НАЦИОНАЛЬНУЮ ГОРДОСТЬ ПРОБУДИЛА ВО МНЕ...

Национальную гордость пробудила во мне эмиграция. Раньше я этого чувства не испытывал.

Ну, полетел Гагарин в космос. Ну, поднял Власов тяжеленную штангу. Ну, построили атомный ледокол. А что толку?..

Меня удручала сталинская система приоритетов. Радио изобрел Попов. Электричество — Яблочков. Паровоз — братья Черепановы.

Крузенштерн был назначен русским путешественником. Ландау — русским ученым. Барклай де Толли — русским полководцем. Один Дантес был французом. В силу низких моральных качеств.

Теперь все изменилось. Нахамкин дом купил. И Никсон дом купил. К Никсону я равнодушен. За Нахамкина — рад.

Бродскому дали «премию гениев». К Солженицыну прислушивается весь мир.

Портреты Барышникова я обнаруживаю в самых неожиданных местах. Например, в здании суда. О Ростроповиче и говорить нечего...

В Нью-Йорке обосновались три бывших московских саксофониста. Сермакашев, Пономарев и Герасимов. Нелепо брать в Тулу — самовар. А в Нью-Йорк — саксофон. Однако Сермакашев играл у Мела Льюиса. Пономарев — у Арта Блейки. Герасимов записал пластинку с Эллингтоном.

Мы гордимся Зворыкиным и Сикорским. Аплодируем Годунову и Макаровой. Мы узнаем поразительные вещи. Оказывается, Керк Дуглас — наш. Юл Бриннер — наш. Приятель Фолкнера, кинорежиссер Миллстоун оказывается Мильштейном с Украины.

Говорят, Радзиевский стал миллионером. Чем мы хуже господина Рокфеллера!

Недавно я беседовал с фотографом Львом Поляковым. Его работами заинтересовался крупнейший в мире аукцион — «Сотби Парк Бернет». Давно пора. Я ими восхищаюсь двадцать лет.

Честно говоря, я даже за Наврозова обрадовался. Шутка сказать, первый американский журналист из наших...

Происходит что-то неожиданное в сознании. Допустим, я не восхищаюсь прозой Аркадия Львова. Вдруг показывают мне его французскую книгу. Громадный том страниц на восемьсот. И рецензии, говорят, превосходные. Поневоле обрадуешься...

Лимонова проклинаям с утра до ночи. А между тем в ФРГ по Лимонову кино снимают. И зарабатывает ужасный Лимонов большие деньги. Чем у буду искренне рад.

Потому что это — наши. Хорошие или плохие — разберемся. А пока — удачи вам, родные, любимые, ненавистные, замечательные соотечественники. Вы — моя национальная гордость!

«Новый американец», № 101, 15—21 января 1982 г.

ЛИТЕРАТУРОЙ ПОКОРЕН

Глава издательства «Серебряный век» родился абсолютным бессребренником. В этом заключается несомненный парадокс и железная логика. Что в свою очередь — парадоксально.

Известны различные формы благородного, неопасного сумасшествия. Есть музыкальные фанатики. Хоккейные маньяки. Люди, одержимые филателией.

Григорий Поляк относится к числу литературных безумцев.

С юности все деньги он тратил на книги. Друзья-инженеры благоустраивали кооперативные жилища. Григорий Поляк умножал свою библиотеку.

Как инженер-строитель он призван был возводить многоквартирные дома. А возводил, главным образом, — стеллажи.

Книги он любил — физически. Восхищался фактурой старинных тисненых обложек. Шершавой плотностью сатинированной бумаги. Каллиграфией мейеровских шрифтов.

В стране тотального дефицита быть книголюбом — затруднительно.

Читать запрещено. Писать запрещено. И думать — не рекомендуется...

Григорий Поляк водился с чернокнижниками. Прятал у себя нелегальную литературу. Выискивал и находил доступ к множительным устройствам.

— Хорошую книгу в Москве раздобыть нелегко. Мандельштам котуруется на уровне джинсов. Булгаков — между растворимым кофе и пыжиковой шапкой. «Архипелаг» приближается к замшевым изделиям.



Гр. Поляк

рис. С. Довлатов

Григорий Поляк собрал великолепную библиотеку (что стоило ему фантастических усилий). И не заметил, как оказался в тупике.

Денег не хватало. Абсурд советского производства изматывал нервы. Повсеместное обыденное хамство наводило тоску. Собственное бессилие порождало стыд и горечь. Самые мирные занятия библиофила грозили всяческими неприятностями.

Григорий Поляк эмигрировал. Побывал в Израиле. Затем — в Германии. Обосновался в Нью-Йорке. Работает по ночам. Днем издает книги.

— *Как называется ваше издательство?*

— «Серебряный век».

— *Почему вы назвали его именно так?*

— «Золотым веком» русской словесности называют пушкинскую эпоху. Но и «Серебряный век» — распространенный литературоведческий термин. Охватывает двадцатые годы нынешнего столетия. Видные представители — Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Ходасевич, Бабель, Замятин...

Мне хочется думать, что серебряный век продолжается. Подлинное исследование его только началось. Недаром Замятин говорит: «Будущее русской литературы — это ее прошлое...»

— *Что вы скажете о здешнем книжном рынке?*

— Американская книжная индустрия необозрима. Но меня интересуют русские книги. В Европе около десятка значительных издательств. В Израиле — три. В Америке — одно. Это — «Ардис» в Мичигане.

— *Существует в этой области какой-то дефицит?*

— Как ни поразительно — да. Многие шедевры двадцатых годов еще не переизданы. Десятки книг репрессированных авторов по-прежнему замалчиваются. В частных архивах находится множество замечательных рукописей. Более того, книги, изданные на Западе, порою становятся дефицитными. Например, «Тропик рака» Генри Миллера. Его когда-то выпустило по-русски местное издательство. Это — прекрасная книга, глубокая и трагическая. В какой-то степени традиции Миллера продолжает Лимонов. Однако Генри Миллер несравнимо выше. Его книга порождает страх за человека и за цивилизацию. А роман Лимонова вызывает чувство стыда. И не в последней степени — за автора...

— *Говорят, в Америке падает интерес к чтению? То есть сужаются перспективы издательской деятельности?*

— В какой-то мере это справедливо. На родине мы знали два уровня свободы — чтение и пьянство. В сущности, это были единственные легальные формы частного предпринимательства. В количественном отношении дома читают больше. Но вспомните, какую дрянь поглощает рядовой обыватель!

Здесь мы сами определяем круг излюбленного чтения. Причем сознательно его ограничиваем. Поскольку в Америке множество других гуманитарных соблазнов. А также религиозная, благотворительная деятельность...

Но истинные читатели есть повсюду. Спрос на книги велик. Надо только разумно действовать. Скажем, издательство «Ардис» расширяется и процветает...

— *А вы?*

— Что — я?

— *Как обстоят ваши финансовые дела? Как насчет процветания?*

— О процветании говорить рановато. Хотя мои долги несколько уменьшились.

— *Значит, вы действовали неразумно? Извините за прямоту...*

— Я считаю, что издал прекрасные книги.

— *С чего вы начали?*

— С «Козлиной песни» Вагинова. Это замечательный аллегорический роман. Хроника упадка и осквернения российской культуры. Один ленинградец недавно писал мне:

«...В основе произведений Вагинова — традиционный конфликт мечты с действительностью. Мечты о былом — и не времени даже — о былом пространстве. В котором гармония, чувствительность, интеллект — считались нормой...»

Кроме того, роман ироничный, острый, с узнаваемыми прототипами...

— *Хорошо ли он продается?*

— Разошлось около шестисот экземпляров. И тем не менее я убежден, Вагинов еще дождется своего читателя. А также — своего пристрастного исследователя. Триумфальное возрождение этой литературной репутации уже началось.

- С вашим участием?
- В общем, да.
- Что еще издано вами?

— «Кукха» Алексея Ремизова. Это его переписка с Василием Розановым. Своеобразная, изящная книга. Вообще, у Ремизова поразительная судьба. Ремизов — мэтр. Но мэтр — полузабытый. А прозаик был — своеобразнейший. Искатель словесных приключений. Немного авантюрист. Алхимик... Интерес к его творчеству вновь нарастает.

— Хорошо ли продается его книга?

— Хорошо. Но медленно...

— Тогда еще один вопрос. На родине свирепствовала идеологическая конъюнктура. В Америке — конъюнктура рынка, спроса. Согласитесь, что рентабельное произведение не всегда талантливо. А талантливое не всегда рентабельно. Не оказались ли вы между Сциллой и Харибдой?

— Думаю, что нет. Рынок довольно пассивен. Рынок можно формировать, даже навязывать ему определенные ценности. Рано или поздно талантливая книга окупается. И приносит доход.

— Значит, вы преследуете и финансовые цели?

— Разумеется. Я хотел бы зарабатывать огромные деньги. Чтобы издавать новые и новые книги. Кроме того, я выпускаю альманах «Часть речи». Практически готов второй номер. Обсуждаются — третий и четвертый. Я хотел бы сделать это издание — периодическим. А то в Париже — четыре хороших русских журнала. В Израиле — три. А у нас — один. Да и тот...

— Как расходуется альманах?

— Лучше, чем другие мои издания. Этому способствовала хорошая пресса. Было уже несколько рецензий. И еще несколько должно появиться. В частном порядке слышу массу доброжелательных отзывов. Даже Соловьев кое-что похвалил. Даже Рафальский, говоря, не очень сердился...

— Я помню, были упреки в аполитичности.

— Мы делаем литературный альманах. Политика — очень важное и серьезное дело. Просто у нас другие задачи. Можно ли упрекать Барышникову за то, что он не поет. По-моему, его надо благодарить за это...

— *Вы сказали — другие задачи. Какие же?*

— Русский литературный процесс был искусственно заторможен. Мы пытаемся воссоздать его как органическое целое. Мы не делим русскую литературу на советскую и зарубежную. На советскую и антисоветскую. На легальную и подпольную. Мы делим ее на талантливую и бездарную. В этом, собственно, и заключается Нобелевский принцип.

— *Что самое неприятное в издательской деятельности?*

— Обсуждение бездарной рукописи.

— *А самое приятное?*

— Знакомство с талантливой рукописью.

— *Случалось ли вам заблуждаться?*

— Конечно. Поначалу я недооценил Зиновьева. Все еще испытываю предубеждение к Юрию Мамлееву.

— *Кто, с вашей точки зрения, наиболее перспективный русский литератор?*

— Наверное, Аксенов. Он — писатель меняющийся, а значит, — твердый. Один музыкальный теоретик говорил: «В неустойчивости — движение...» Сейчас выходит большой роман Аксенова. Еще один имеется в рукописи. Я многого жду от этих публикаций.

— *В смысле денег?*

— При чем тут деньги? Романы появятся в «Ардисе». Я издаю небольшие повести Аксенова — «Рандеву», «Затоваренная бочкотара». Смешные и несколько эксцентрические. Написанные с большой фантазией. Очень характерные для молодого Аксенова. И затерявшиеся в журнальной периодике.

— *То есть воссоздаете процесс?*

— Вот именно.

— *Что еще планируется «Серебряным веком»?*

— Воспоминания Ходасевича. Это мой кумир, если хотите. Изысканный поэт. Глубокий и таинственный прозаик. Трезвый, внятный и сдержанный публицист...

Затем появится утопия Чаянова, рассказы Леонида Добычина... И, надеюсь, многое другое...

— *Вы не мечтали стать писателем?*

— Мечтал когда-то. Во-первых, не оказалось таланта. Остальные причины не так уж важны.

— *А кто, с вашей точки зрения, наименее перспективный русский литератор?*

— Леонид Ильич Брежнев.

«Новый американец», № 39, 5—11 ноября 1980 г.

КР В НАШЕМ ДОМЕ ПРОТЕКАЕТ КРЫША...

В нашем доме протекает крыша. С потолка каплет. На стенах мерзкие разводы.

Помимо этого — не топят. Вернее, топят, но редко. Короче, температура низкая. Градусов шестнадцать по Цельсию.

И еще — всякие мелочи. Выключатель не действует. Рамы прогнили и так далее.

Все хорошо. Район хороший. Квартира большая. Но довольно паршивая.

Наш супер Габриэль живет и работает по-коммунистически. Вид у него бодрый. Глаза поблескивают. Работать не хочет. Крышу чинить не хочет. Топить как следует не хочет. Но здороваётся — вежливо. Это у него, видимо, пережиток капитализма.

Прямо не знаем, что делать.

В Ленинграде я годами боролся с домоуправлением. Чего-то добивался, просил, скандалил, угрожал.

Как-то раз пришел сантехник. Пришел и все испортил. Отвинтил краны. Перекрыл газ. Вывел из строя уборную. Затем попросил шесть рублей и ушел, естественно, запил. А мы остались без воды и без удобств.

Я терпел четыре дня. Затем разыскал пьяного водопроводчика. Втащил его на пятый этаж. Достал охотничье ружье. Сел на табуретку и говорю:

— Шаг в сторону — побег! Стреляю без предупреждения!

Два часа трудился водопроводчик. Кран починил. Газ починил. Потом говорит:

— Пусти в уборную, начальник!

— Починишь — сходишь.

Так он все и починил. И только в самом конце задумчиво произнес:

— Надо было тебя сразу же монтировкой перетянуть!

— Верно, — говорю, — но поздно...

Так было в Союзе. Один раз добился справедливости. С оружием в руках. А что делать здесь? Видимо, существуют какие-то нормы. Какие-то легендарные методы борьбы.

Говорят, есть специальная комиссия по отоплению. Еще, говорят, можно депонировать квартплату. И так далее. В общем, есть пути.

Может, кто-то из читателей поделится опытом? Расскажет, как действовал? Чего добился? Мы бы постоянную рубрику открыли для таких советов...

Ведь Габриэль не один. Ударников коммунистического труда везде хватает. Так что пишите.

Ждем!

«Новый американец», № 102, 26 января — 1 февраля 1982 г.

КР ШЕФА ПОЛИЦИИ ОХВАТИЛО...

Шефа лос-анджелесской полиции охватило неожиданное служебное рвение. Он заявил, что русский Брайтон — это филиал КГБ. Что с Брайто-на тянутся нити заговора против Олимпийских игр. Что Москва под видом беженцев засылает сюда шпионов и террористов.

Калифорнийский шерлок холмс перестарался. Его безответственное заявление говорит о профессиональной некомпетентности. О явном непонимании природы третьей эмиграции. Об элементарном незнании людей.

Именно такие заявления вызывают расовую отчужденность. А в сумасшедшем Нью-Йорке они чреватые и более тяжелыми последствиями.

Тем обиднее сознавать хотя бы едва уловимую долю правоты в измышлениях калифорнийского шефа. Тем досаднее сознавать, хотя бы частично, справедливость выдвинутых им обвинений.

Филиал КГБ — это слишком. Мафия — это слишком. Но мошенники среди нас попадают. Спекулянты попадают. Есть и примитивное ворье...

Канает местная дама в провинциальный супермаркет. Туда заходит в бросовом пальто. А появляется — в дубленке. Чистая Золушка!..

Есть хулиганы. Есть вымогатели. Есть фиктивные холостяки и липовые вдовы. Все у нас есть.

Я не говорю о случаях банального мордобоя. О неутраченной карточной игре. Об импортном советском пьянстве...

Есть, говорят, на Брайтоне тайный публичный дом. По мне, так уж лучше — явный. Меньше риска, больше гигиены. Здесь это разрешается. Правда, лицензия дорогая...

Партнеров обманываем. Документы подделываем. Контрабандными сигаретами торгуем.

Одному рижанину на Брайтоне машину продали. Машина замечательная — фары, например. Запасная покрышка. Насос. Тормоза...

Правда, ездит медленно. И только лишь под гору. А в гору без кардана — никак...

Я знаю, что основное население Брайтона — предприимчивые, толковые и весьма достойные люди. Честные труженики, законопослушные граждане, отцы семейств. Есть здесь и своя интеллигенция. Есть инженеры, рабочие, программисты. Есть в том числе и сотрудники «Нового американца». Но и поганы хватает. Она-то и бросается в глаза.

Жалуюсь тут одному брайтонцу на калифорнийского шефа полиции. А он и говорит:

— Пусть заглянет в наш ресторан. Мы его живо переубедим. Мы ему, гаду, рожу начистим...

Что ж, милый способ понравиться должностному лицу...

«Новый американец», № 103, 2—8 февраля 1982 г.

КР

МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ...

Мы и не заметили, как превратились в старых американцев. Мы уже не замираем около витрин. Не разрешаем себе покупать четырехдолларовые ботинки. Не уступаем женщинам места в сабвее...

Привыкли, осмотрелись, чувствуем себя как дома. Даже лучше.

Мы беседуем с вновь прибывшими. Снисходительно выслушиваем их наивные темпераментные монологи:

— Продавцы такие вежливые! Полицейские такие обаятельные. Квартиры такие просторные...

Мы-то убедились — всякое бывает. И продавцы, бывает, обсчитывают. И полицейские грубят. И в просторной квартире неисправностей хватает...

В учреждениях бюрократии полно. Среди чиновников взяточники попадаются. Бывает, что и в очереди постоишь... Как дома...

Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа.

Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Издательств сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно.

Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь. И денег авторам не платят.

Да еще — преступность. Да еще — инфляция. Да еще эти нескончаемые биллы, инвойсы, счета, платежи...

А потом все стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей. Есть в ней смешное и грустное, хорошее и плохое.

А продавцы (что совершенно естественно) бывают разные. И преступники есть, как везде. И на одного, допустим, Бродского придется сорок графоманов. Что тоже совершенно естественно...

И главные катаклизмы, что естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везет. И счастья по-прежнему не купишь за деньги.

Окружающий мир — нормален. Не к этому ли мы стремились?

«Новый американец», № 105, 16—22 февраля 1982 г.

КР ПРОТИВ МОЕГО ДОМА...

Против моего дома есть небольшой супермаркет. Вы заходите, накладываете продукты. Затем рассчитываетесь у прилавка.

Миловидная девица укладывает содержимое тележки в коричневый бумажный пакет. Вы слышите приветливое:

— Thank you! Have a nice day!

Там же имеются в продаже целлофановые мешки. Стоят — десять центов.

Вы покупаете этот мешок. Платите десять центов. Однако в целлофановый мешок девица содержимое тележки не укладывает. Протягивает этот самый мешок, и все. А положить в мешок товар не удосуживается. И уже не говорит вам приятных слов.

Потому что это — лишняя работа. Лишнее движение. Не предусмотренное стандартами здешнего обслуживания.

Меня это, честно говоря, поразило. Казалось бы, так естественно оказывать пустяковую дополнительную услугу. Так — нет.

В бумажный мешок — пожалуйста! А в целлофановый — ни за что!

Ну что ты скажешь?! Может, действительно — хваленая американская вежливость формальна. И дружелюбие — формально. И благородство. И любовь к свободе...

Еду в метро, охваченный грустными размышлениями. Обращаюсь к приличному одетому господину. Спрашиваю нужную остановку.

— А куда вы направляетесь? — интересуется господин.

Я объяснил.

Так он, представьте себе, вылез из метро раньше, чем ему было нужно. Отправился меня провожать. Всю дорогу звал мое семейство пожить у него. Прощаясь, сунул мне визитную карточку.

— Я, — говорит, — адвокат. Понадобится консультация — звоните...

Ну что ты будешь делать с этой Америкой?! Любить ее или ненавидеть?!

«Новый американец», № 107, 2—8 марта 1982 г.



Раздел освещает черты литературного безобразия. Это наша скромная домашняя кунсткамера.

Сегодня мы лишь цитируем некоторых писателей русского зарубежья. Не оглашая имен. Не указывая произведений. Лишь цитируем и качаем головами...

Но. Фамилии авторов и названия произведений тщательно зафиксированы. Отосланы знаменитому профессору Джону Боулту.

Эти данные будут храниться там — вечно!

Чем объясняется наша суровость?

Здесь, в эмиграции, мы особенно дорожим русским языком. Мы призваны защищать его интересы. В своих действиях мы руководствуемся статьей № 1 литературно-процессуального кодекса. Она гласит:

ГРАФОМАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (наборная машина и печатный станок) КАРАЕТСЯ УЛЫБКОЙ!

Расследование ведет С. Довлатов

«...Был издан приказ об аресте четырех адвокатов, которые отчасти находятся вне пределов страны».

Какова судьба оставшихся частей? Например, затылков?

«...Эрнст Неизвестный имеет большой успех в Европе и даже студию в Милане...»

В Европе — бузина, в Милане — дядька?

«...Все доходы идут на покрытие расходов...»

Далеко пойдешь, бизнесмен!

«...Катюша поделилась своим спором с мужем...»

А муж с Катюшей оплеухой?

«...Вошла женщина с экземой на приятном лице...»

Долой косметику! Пользуйтесь экземой!

«...У нее была походка, как у кавалерии...»

А взгляд, как у баллистической ракеты?

«...Во многих странах Западной Европы большим авторитетом пользуется шампунь...»

А мы думали — Вальдхайм.

«...Отец постоянно драл меня, не зная куда...»

Мало драл.

«...Николай снял обувь и головной убор...»

Затем отведал кисломолочных продуктов, достал канцелярскую принадлежность и написал всю эту ерунду?

«...Из дома выскочил черный пуэрториканец и громко закричал...»

Наверное, закричал, что он не пуэрториканец, а негр.

«Новый американец», № 4, 7—13 марта 1980 г.

«...Марк увидел в зеркале стоявшую за ним Нэнси, ее тревожное лицо выглядывало из-под рукава зеленого халата...»

Какой у нее разряд по акробатике? .

«...Если любят конфеты, то их едят... Понимаешь ли ты, о чем я говорю?»

Не понимаю. Ибо мысль твоя чересчур глубока.

«...И потом до самого утра мучительное — кап, кап, кап... Кому открыться? У кого искать сочувствия?..»

У квалифицированного венеролога.

«Наперекор чужому мраку,
Наедине с моей тоской,
Шатаюсь, пьяный, по Домраку,
Как в прежней жизни — по Тверской».

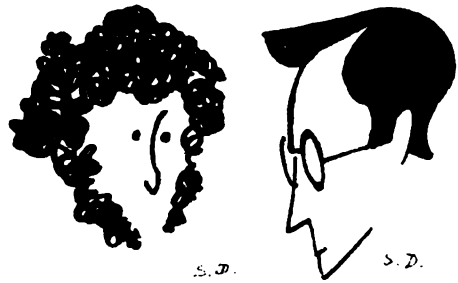
Главное — оставаться самим собой. Как в большом, так и в малом.

«...Я решился позвонить. Мы говорили час с лишним. С каждой минутой ощущение беды надвигалось...»

В следующий раз звони по коллекту!

«Новый американец», № 33, 21—26 сентября 1980 г.

«...Уважаемая редакция! В шестом номере вашей газеты на стр. 19 допущена грубая ошибка. Интересной статье Л. Кафановой «Дети. Иметь?.. Не иметь?..» предпослан эпиграф: «Иметь детей — кому ума не доставало?» И подпись — А.С. Пушкин. Хотя всем известно, что эти строки принадлежат А. С. Грибоедову, автору бессмертной комедии «Горе от ума». Подобные вещи недопустимы. Пора с этим кончать...



А. Моралевич, кандидат филологических наук

Уважаемый господин Моралевич!

Мы приносим Вам и всем нашим читателям свои извинения. Действительно, такие грубые ошибки — недопустимы. Действительно, пора такие вещи искоренять. В подтверждение сошлемся на классика:

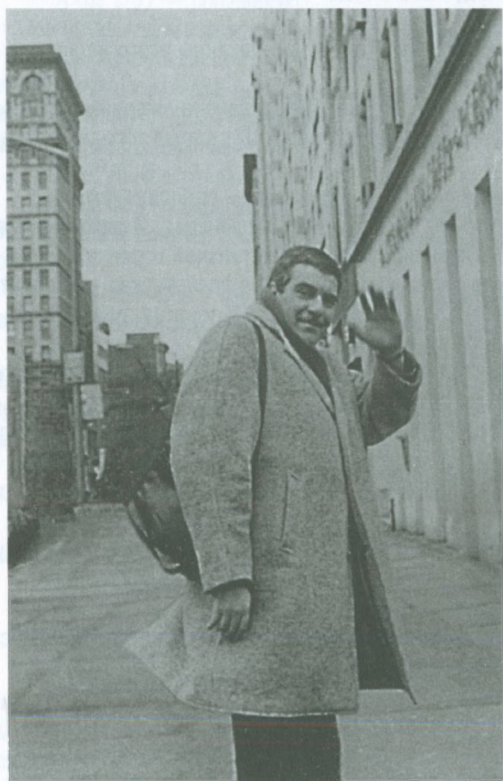
«Пора, мой друг, пора!..»

(А. С. Грибоедов)

Редакция полагает, что справедливость восстановлена. Литература продолжается...

«Новый американец», № 10, 11—17 апреля 1980 г.

А также...



КР МЕСЯЦА ТРИ НАЗАД...

Месяца три назад я посещал ювелирные курсы. Там же занимался и английским языком. Преподавательница Кэтрин любила задавать неожиданные вопросы. Помню, она спросила:

— Как ты думаешь, будет война?

Я ответил:

— Война уже идет. Только американцы этого не знают.

— То есть как?

— Очень просто. В Тегеране захвачено американское посольство. А это — юридически — территория США. Кроме того, имеются 50 военнопленных.

— Что же нам остается делать? — спросила Кэтрин...

Я не дипломат, не политик и не генерал. И даже не американец. Я пытаюсь взглянуть на это дело с житейской точки зрения.

Поведение человека и поведение государства — сопоставимы. Самозащита и обороноспособность — понятия идентичные, разница в масштабах, а не в качестве.

Мои представления о самозащите формировались в лагерях. Там я понял раз и навсегда:

Готовность к драке означает способность ее начать. Если к этому вынуждают обстоятельства.

Можно и воздержаться. Уйти с побитой физиономией. То есть — капитулировать...

Увы, поражение в драке не означает ее конца. Тебя будут избивать систематически. И наконец уничтожат в тебе человека.

То же происходит и с государством.

Готовность к войне означает способность ее начать. Если к этому вынуждают обстоятельства.

Тито говорил:

— Мы будем сражаться до последнего!

Его не тронули. Прожил жизнь уважаемым человеком.

Нечто подобное выкрикнул и Чаушеску. Или намекнул. Его не трогают...

Я слышу разумные трезвые доводы:

— А если — война?! Это значит — конец?! Что может быть ужасней смерти?!

Ужасней смерти — трусость, малодушие и неминуемое вслед за этим — рабство.

Да и не рано ли говорить о смерти? Вон евреи освободили своих заложников, и ничего. Живы-здоровы. Едят мацу, танцуют фрейлахс.

Уметь надо...

КР КАК-ТО ШЛИ МЫ...

Как-то шли мы по улице с Женей Рубиным. Было это месяца четыре назад. Вдруг Женя говорит:

— Поздравь меня. Я еду корреспондентом на зимнюю олимпиаду.

— А где это? — спрашиваю.

Женя меня долго разглядывал с изумлением.

Увы, к спорту я абсолютно равнодушен. Припоминается единственное в моей жизни спортивное достижение. Случилось это на чемпионате вузов по боксу. Минуту сорок пролежал я тогда в глубоком обмороке. И долго еще меня преследовал запах нашатырного спирта...

Короче, не мое это дело.

А вот начала Московской олимпиады — ждал. И следил за ходом подготовки. Оно и понятно. Все прогрессивное человечество обсуждало идею бойкота.

В результате кто-то едет, кто-то не едет. Не будет японских гимнастов. Не будет американских метателей. Не будет кого-то из ФРГ...

Вот так прогрессивное человечество реагировало на захват Афганистана. Плюс — частичное зерновое эмбарго. Да еще какой-то научный симпозиум отменили. Или перенесли. Какой-то шведский джаз (саксофон, рояль, ударные) в Москву не едет...

Короче, дали отповедь захватчикам. Рубанули сплеча. Ответили ударом на удар. Прихлопнули бандитов моральным остракизмом...

У писателя Зощенко есть такая сцена. Идет по улице милиционер с цветком. Навстречу ему преступник.

— Сейчас я тебя накажу, — говорит милиционер, — не дам цветка!..

Вот так и мы сидим, гадаем, как они там без нашего цветка?..

Да советские вожди плевать хотели на моральный остракизм!

Советские вожди догадываются, что их называют бандитами. Они привыкли. Они даже чуточку этим гордятся. Им кажется, лучше быть сильным, чем добрым. Сильного уважают и боятся. А добрый — кому он нужен, спрашивается?

Тем более что слабость издали неотличима от доброты...

Советские начальники знали, во что им обойдется Афганистан. Уверен, что заранее подсчитали цену этой акции. И знают теперь, во что им обойдется следующая. Их устраивает такая цена.

Хапнут завтра Советы какую-нибудь Полинезию. А мы в припадке благородного негодования отменим симпозиум. Какой-нибудь биологический форум по изучению ящериц. Да что там — экспорт устриц приостановим. В общем, не дадим цветка! Пусть мучаются...

С унынием гляжу я на прогрессивное человечество. Паршивую олимпиаду бойкотировать — и то не могли как следует договориться. А если война?

КР Я ЗНАЮ, ЧТО ВСЕ НАРОДЫ РАВНЫ...

Я знаю, что все народы равны. Знаю, что все они достойны счастья и благоденствия. Да и вообще, какие тут могут быть сомнения?..

Разумом все понимаю. А в сердце живут какие-то необъяснимые пристрастия. И что гораздо хуже — неприятные мне самому антипатии.

Мне трудно избавиться от предубеждения к немцам. Может быть, фашизм тому виной? Но ведь, строго говоря, фашизм итальянское блюдо. А предубеждения к итальянцам — нет. Вот и разберись...

Видимо, есть такое понятие — лицо народа, облик народа. А лица бывают разные. Бывают обаятельные лица, бывают — так себе.

Что же такое — обаяние? Откуда эта способность — без всяких усилий привлекать человеческие души?..

Поляки мне нравились с детства. Даже не знаю — почему. Возможно, благодаря Мицкевичу, Галчинскому, Тувиму...

Что еще вспомнить? Мазурки Шопена? Фильмы с Цыбульским? Смешные карикатуры в журналах? Не знаю. Очевидно — все разом. Обаяние нации...

Рассказывали мне такую историю. Приехал в Лодзь советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу. Пригласили видную местную интеллигенцию. В том числе знаменитого писателя Ежи Ружевица.

Шел грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподданнические здравицы и тосты. Громыко выпил польской сливовицы. Раскраснелся. Наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевицу и говорит:

— Где бы тут, извиняюсь, по-маленькому?

— Вам? — переспросил Ружевиц.

Затем он поднялся, раскинул ладони и громогласно воскликнул:

— Вам?! Везде!..

Есть у поэта Бориса Слуцкого такая метафора:

Для тех, кто на сравненья лаком,
Я истины не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,
Поэзию родную — с Польшей!

Так до поры не отзвенело,
Не отшумело наше дело,
Оно, как Польшка, не сгинело,
Хоть выдержала три раздела...

Действительно, есть что-то общее в этих трагических судьбах. Уж как душили русскую поэзию! Как только ее не увечили! Дузли, войны,

лагеря, цензура... Казалось бы, уже и нет ее. И вдруг рождается Бродский!

Так и с Польшей. Делили ее, калечили, топтали. Казалось, сломлен польский дух. Все безнадежно, серо и мертво.

И вдруг такое дело...

«Новый американец», № 30, 3—8 сентября 1980 г.

КР ИТАК...

Итак, президентом стал мистер Рейган. Заметьте, наша газета еще в июле предсказывала это событие.

Цитирую:

«...Я уверен, что президентом будет Рейган. Мне кажется, именно тако- го президента требует время...» (*«НА», «Колонка редактора», № 24, 1980*).

Накануне выборов я спрашивал знакомых американцев:

— За кого будете голосовать?

Как правило, мне отвечали:

— Разумеется, за Картера!

Доводы в пользу Картера были однообразны:

«Картер благоразумен и уступчив. Картер обеспечит нам мир...»

Рейган же — безрассудная личность. Он слишком воинственно на- строен. И потому может начать войну...»

Но война уже идет. Просто американцы этого не знают. Вернее, не хо- тят этого знать. Не заложников держат иранские фанатики, а военноплен- ных. Военнопленных, захваченных на юридической территории США.

Их только называют заложниками. Для красоты...

Захват Эстонии называли «добровольным присоединением». Захват Афганистана называют «братской помощью». Какая разница?..

Какая разница — «лицо еврейской национальности» или «жидовская морда»?! Суть-то одна...

Советская экспансия расширяется. Демократия «миролюбиво» усту- пает свои позиции.

Увы, слабость и миролюбие — понятия вовсе не идентичные. Уступ- чивость жертвы лишь поощряет насильника.

И только мужество заставляет его сдерживаться. Только готовность к сопротивлению может его остановить.

Недаром сила — единственный аргумент, который признают больше- вики...

Мои американские друзья — типичные интеллигенты, благородные, начитанные, созерцательные. Им не знакома простая лагерная мудрость:

«Готовность к драке означает способность ее начать. Если к этому вынуждают обстоятельства...»

То же самое происходит и в государственных масштабах. Если иметь дело с рожденным агрессором, надо выбирать между силой и капитуляцией.

А капитуляция страшнее любой войны...

Мои американские друзья ошиблись. Американский народ исправил ошибку. Спасибо ему за это!..

Мы, русские эмигранты, самые богатые люди Америки. Наше достоинство — опыт.

Мы приобрели драматический и неповторимый опыт тоталитаризма. Изучили его хищные повадки. Знаем его уязвимые места.

Вот почему нам импонирует Рейган.

Дай ему Бог силы, твердости и удачи!

«Новый американец», № 40, 12—18 ноября 1980 г.

КР О ЧЕМ ТОЛЬКО НЕ ГОВОРЯТ...

О чем только не говорят в эмиграции! О налогах и воспитании детей. О новых книгах и старых автомобилях. О росте преступности и летающих тарелках...

Но есть в эмиграции и постоянные темы для разговора. Неизменно актуальные. Острые и злободневные — всегда.

Одна из них — как там в Союзе?! Будут выпускать или нет?

Семьдесят девятый год был весьма обнадеживающим. Из Союза выехали более пятидесяти тысяч человек. Затем наступил угрожающий спад. И, наконец, стали поступать радостные вести. Возобновился массовый отъезд. Значит, скоро приедут наши родственники и друзья. Многолетние отказники поднимутся на борт самолета. Тысячи безымянных инкомыслящих обретут свободу.

Редакция «Нового американца» присоединяется к общему ликующему хору. Ведь это наши читатели едут! Ведь это наши будущие подписчики заполняют сейчас мрачные коридоры ОВИРа!

Скептики обеспокоенно твердят:

— Надолго ли?! А если вновь затормозят оформление документов?! А если вновь потребуют соблюдения бессмысленных формальностей?! А если вновь пойдут сплошные отказы?!..

Я позволю себе высказать личное мнение. Массовая эмиграция из Союза — необратимый процесс. Хотя, как всякое советское мероприятие, он беспорядочен и плохо организован.

Массовая эмиграция продолжится. И отнюдь не потому, что советские власти гуманны. Совсем наоборот. Именно жесткостью режима объясняется массовый характер третьей эмигрантской волны.

Выпуская евреев, советское руководство преследует две главные цели. Первая – добиться от благодарного Запада уступок в торговых соглашениях. Вторая – уничтожить «пятую колонну» в государстве.

Посудите сами. В Союзе несколько миллионов потенциальных беженцев. Вряд ли эти люди будут активно строить коммунизм. Вряд ли зашагают они дружными рядами к светлому будущему человечества.

Эти люди – опасный фермент, источник брожения, неутомимые возмутители общественного спокойствия.

Что с ними делать? Вернуться к массовым репрессиям сталинского образца? К счастью, это невозможно. Откровенное варварство противоречит нынешним тенденциям Советов. Полностью компрометировать себя большевики не решаются. Мировое коммунистическое движение и так утратило стабильность.

Изменить существующие порядки? Да никогда в жизни! О самоубийстве большевики и не помышляют.

Единственный выход – отворить проржавевшие шлюзы. Торгуясь и бесчинствуя напоследок, выпустить самых активных. Ослабить таким образом внутреннее напряжение. Получив вдобавок зерно и компьютеры...

Конечно, нас радуют вести из Союза. Но мы помним и о другом. За железным кордоном все еще остаются наши братья – русские, украинцы, грузины, татары... Миллионы узников тоталитаризма. Мы верим – их час придет!

«Новый американец», № 54, 17—23 февраля 1981 г.

КР НЕДАВНО Я БЕСЕДОВАЛ...

Недавно я беседовал с одним владельцем русского магазина. Расположен магазин в Бруклине. Зовут хозяина — Дима. (Фамилию просил не указывать. Родственники в Союзе и так далее.)

Этот человек рассуждал умно и нестандартно. (Орудия попутно грандиозным кухонным тесаком.)

В частности, речь зашла об эмиграции. О том, будут ли выпускать евреев.

«Будут! — уверенно заявил мой собеседник. — Куда они денутся?! Чуть ли не каждый еврей в Союзе — инакомыслящий. И вокруг каждого — десятки сочувствующих. Десятки внимательных слушателей. Так возникает брожение, недовольство...

Можно называть это как угодно. Раковой опухолью советской власти. Бельмом на глазу победившего социализма. Вечно зудящей сыпью на теле пролетарской диктатуры...

Что делать, спрашивается? Как избавиться от этого ужасного народа?!

Загнать в лагеря три миллиона человек — невозможно. Не те времена. Кроме того, голоса из неволи еще слышнее. Вокруг каждого мученика соответствующий ореол. Круг сочувствующих расширяется...

В общем, нет спасения от евреев. Нет управы. И выход один — через Брест. Или самолетом на Вену.

Еще спасибо, что уезжают. А то как заупрямятся и ни с места. Придется агитировать...

Конечно, советская власть еще поторгуетя. Попробует за каждого еврея что-нибудь урвать. Зерна или там, что дадут...

А не дадут — и так отпустят. Без контрибуции.

Поскольку выхода другого нет.

Самое опасное у еврея — голова. А головы рубить — страшно. Не все же как бараны...

Большевики ребята шустрые. Китая не боятся. Америки — тем более. А вот собственного народа боятся. И правильно делают...

Вон она Польша — рядом. Забастовали поляки, и ничего. Пришлось идти на уступки. И танками давить поляков Брежнев не решается. Потому что война начнется. А на войне, говорят, стреляют. И могут угодить в тебя...

В Чехословакии была совсем другая картина. Там все происходило наверху. В правительстве. Под руководством товарища Дубчека. А народ был сравнительно пассивен. То есть поддерживал, конечно, разумные начинания. Но без особого энтузиазма. Не проявляя собственной инициативы. Как говорится, в силу привычки.

Польша — совсем иное дело. Там именно народное движение. Направленное против руководства...

Что будет дальше — не знаю. Что предпримут власти? Как будут выходить из положения?..

А пока евреев выпускают. Иначе получится война на три фронта. С Востоком, Западом и собственным народом...»

Дима взмахнул тесаком, и мне стало жутко!

«Новый американец», № 58, 17—23 марта 1981 г.

КР СИТУАЦИЯ В ПОЛЬШЕ

Ситуация в Польше накаляется. Правительство отказывается выполнять требования народа. Народ отказывается работать.

Стране угрожает голод.

Развязка последует в течение ближайших недель.

В основе событий — рабочее движение за экономические права. Параллельно действуют крестьяне и студенчество. Интеллигенция сочувствует рабочим и крестьянам.

Все это совершается под эгидой католической церкви.

Формально «Солидарность» выдвигает экономические требования. В сущности же кризис носит политический характер.

Идея подлинного народовластия влечет за собой демократизацию общества. А значит — структурные преобразования режима.

То есть — советскому господству приходит конец...

Что будет дальше? Почему так долго бездействуют советские власти?

Советские власти, попросту говоря, не знают, что им делать. Советские власти колеблются.

В случае интервенции разразится огромный скандал. И дело не в сопротивлении поляков. Активного сопротивления не будет. Польские рабочие не вооружены. Армия в лучшем случае разоидется по домам. Все ограничится незначительными диверсионными актами.

Советские власти — если они решатся на это — захватят Польшу мгновенно. Причем без особого кровопролития.

И тут начнется самое ужасное.

Когда-то Валенса произнес очень серьезную фразу:

— Можно захватить Польшу. Нельзя заставить поляков работать...

Это правда. А значит, в Польше увязнет огромный советский корпус. А значит, нужно будет кормить тридцать шесть миллионов поляков.

Такого советская экономика не выдержит. Начнется агония...

Советские власти колеблются. Теоретически у них есть два пути:

1. Дать Польше независимость. Оставить ее в покое. Предоставить ей возможность жить самостоятельно.

Этого не будет. Этого советская власть не допустит. Если это произойдет, можно собирать чемоданы и отправляться домой...

2. Оккупировать Польшу. Перессориться со всем миром. Окончательно разрушить советскую экономику. И с горя начать мировую войну...

Разумеется, существуют полумеры, компромиссы. Можно тянуть время. Дождаться благоприятного момента.

Разумеется, захват Польши будет инспирирован. Разумеется, этому будет предшествовать (и уже предшествует) оглушительная демагогическая кампания.

Но это все — косметика. Физиономия тоталитарного режима остается прежней.

Пока что власти колеблются. Но опыт показывает — из двух зол советский режим выбирает большее.

Ждать осталось недолго...

Каждый народ имеет свое лицо. Лицо многострадальной Польши хранит выражение обреченности.

Я буду счастлив, если мои прогнозы окажутся несостоятельными...

КР БОЖЕ, В КАКОЙ УЖАСНОЙ СТРАНЕ МЫ ЖИВЕМ!

Боже, в какой ужасной стране мы живем!

Можно охватить сознанием акт политического террора. Признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты. С пониманием обсудить мотивы убийства из ревности. Взвесить любой человеческий импульс...

В основе политического террора лежит значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения. Идея социального равенства. Идея всеобщего благоденствия.

Сами идеи — достойны, подчас — благородны. Вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей.

В политическом террористе мы готовы увидеть человека. Фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам... Но — человека.

Мы готовы критиковать его программу. Оспаривать его идеи. Пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу.

Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы...

То, что происходит в Америке, находится за объяснимой гранью добра и зла.

Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли?

Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги.

Нам известно заключение психиатрической экспертизы. Джон Хинкли оказался вменяемым, то есть — нормальным человеком.

Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание незнакомой женщины! Беда угрожает стране, где такое становится нормой.

Кроме всего прочего, Рейган старый человек. Кроме всего прочего, отец большого семейства. Кроме всего прочего, случившееся — акт хладнокровной, небывалой, а главное — бессмысленной жестокости.

Что-то главное нарушено в американской жизни...

Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем. Знаменитым спортсменом или видным ученым. Крупным бизнесменом или политическим деятелем. Все это требует ума, способностей, долготерпения.

А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок.

И все! Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. О тебе будет говорить весь мир. Правда, недолго. До следующего кровавого злодеяния.

И я, человек неверующий, повторяю:

Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести разум, минуя наш кошмарный опыт. Дай ей обрести мудрость, не пережив трагедии социализма! Внуши ей инстинкт самосохранения! Заставь покончить с губительной беспечностью!

Не дай разувериться, отчаяться, забыть — в какой прекрасной стра-
не мы живем!

«Новый американец», № 61, 8—14 апреля 1981 г.

КР ПИСАТЬ О КОСМОСЕ ТРУДНО...

Писать о космосе трудно. Вообразить его себе — невозможно. Поскольку космос есть — отсутствие, ничто...

Я хорошо помню день гагаринского триумфа.

Мы, студенты Ленинградского университета, шагаем по Невскому. Размахиваем самодельными транспарантами. Что-то возбужденно кричим.

И только мой друг, знаменитый фарцовщик Белуга, язвительно вторяет:

— Ликуйте, жлобы! Динамо в космосе!..

«Динамо» по-блатному означает — жульническая махинация. При чем с оттенком дешевого шика.

Видимо, Белуга раньше других ощутил наступление грандиозной пропагандистской кампании. Увидел первые гримасы советского космического блефа...

У Гагарина было на редкость симпатичное лицо. Его наградили, увенчали и возвеличили. Превратили в одушевленный символ. В улыбающуюся политическую идею.

Временами Гагарин становился человеком. И тогда он сильно запы-
вал. Видно, ему не хотелось быть идеей. И он пил все больше.

Сначала разбился в машине. На лице его, которое продолжало быть общественным достоянием, возник глубокий шрам.

Затем Гагарин угнал самолет и разбился окончательно...

Космическая эра продолжалась. Летающих идей становилось все больше. Для их бесчисленных портретов уже не хватало Кремлевской стены.

Число космонавтов росло и росло. У них возникла своя футбольная команда.

Затем произошла трагедия. Несколько космонавтов погибло. (Не помню — трое или четверо.) Это был печальный, траурный день. Моя дочка спросила:

— Отчего ты не плачешь?

Я ответил:

— Плачут те, кто их знал. Для меня они были летающими идеями. Я не могу рыдать о погибших идеях.

Прошло много лет. В космос по очереди слетали народные демократы. Вьетнамец, болгарин, поляк...

Честно говоря, я перестал интересоваться этими делами. Я давно уже не интересуюсь пропагандой. Давно уже пытаюсь руководствоваться не чужими, а собственными идеями...

И вот мы узнали про космический челнок. (Можно назвать его космическим автобусом. Космическим маршрутным такси.)

Машина вернулась на Землю. Вернулись затраченные миллионы. Вернулись потрясающие механизмы. Вернулись люди.

Читая газетные сообщения, мы думаем не об идеях, летающих в космосе. Мы думаем о космических заводах. О космическом туризме. То есть — о космической перспективе.

Мы убеждаемся — человечеству есть куда идти, куда лететь, куда стремиться. Более того:

Если Запад полностью уступит Советам, будет куда эмигрировать дальше...

«Новый американец», № 63, 26 апреля — 2 мая 1981 г.

КР

Я ДУМАЮ, РЕЙГАН...

Я думаю, Рейган очень популярен среди новых эмигрантов. Я не имею специальных данных, просто мне так кажется.

Мы знаем, что на коммунистических лидеров оказывает воздействие только сила. Что любые мирные переговоры они используют в корыстных и неблагоприятных целях. Что любое соглашение может быть нарушено в удобной для большевиков позиции.

Кремлевские правители уважают только силу. Рейган производит впечатление сильного человека. Недаром ему так хорошо удавались роли ковбоев.

Рейган тверд и практичен. Он последовательно внедряет свои идеи. Уверенно навязывает свою волю конгрессу. На международном уровне высказывается твердо и жестко.

И вдруг — неожиданная отмена зернового эмбарго. Признаюсь, меня несколько озадачило это решение.

Рейган мотивирует его следующим образом:

«Эмбарго затрагивает интересы американских фермеров. Желая наказать большевиков, мы наказываем себя. И наконец, коммунисты покупают зерно в других странах. То есть эмбарго не достигает своей цели».

Мне кажется, в этом случае здравомыслие Рейгана граничит с цинизмом.

Да, американские фермеры заинтересованы в том, чтобы продавать излишки своего хлеба. Эмбарго действительно причиняет им некоторый материальный ущерб.

Но ведь существует и этическая сторона дела. Существует понятие гражданского и нравственного долга.

Американское зерно в данном случае — понятие условное. Это все не блины и пампушки для советских людей.

Обеспечив себя зерном, большевики увеличат военные расходы. Высвободят средства для осуществления новых милитаристских планов.

Зачем же укреплять позиции врага, не скрывающего своих глобальных экспансионистских целей.

Возможно, Рейган считает эмбарго не принципиальной мерой. Рассматривает его как побочный и несколько женственный дипломатический ход в манере господина Картера. Собирается противопоставить ему какие-то более жесткие и недвусмысленные методы давления. Компенсировать отмену зернового эмбарго более действенными политическими акциями.

Возможно, это так. Будем надеяться, что это так.

И все-таки остается чувство досады. Этика и мораль начинаются с готовности жертвовать личными интересами ради достойной цели. А государственные принципы требуют определенных и неизменных критериев.

Не всякое дело может быть предметом компромисса.

«Новый американец», № 65, 10—16 мая 1981 г.

КР БУРЛИТ АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Бурлит Ассоциация ветеранов. Уже два месяца ее ряды сотрясают невероятные катаклизмы.

Статья Марка Поповского вызвала бурю. Обвинения его против Романа Котляра достаточно серьезны. Они затрагивают как финансовые, так и этические стороны деятельности президента. Рисуют довольно неприятную картину многочисленных злоупотреблений.

На статью Поповского откликнулись десятки людей. Подавляющее большинство требует объективного расследования. Читатели рекомендуют практические меры для выхода из затянувшегося кризиса.

Были письма и в защиту Котляра. Правда, их совсем немного. Но они есть. И, следовательно, заслуживают внимания.

Мы ждали, что кто-то захочет опровергнуть доводы Поповского. Ответить по существу на заданные им вопросы. Внести какую-то ясность.

Ожидания не подтвердились. Вместо этого началось обсуждение личности Поповского.

Поповский оказался склочником и демагогом. Лицемером и сребролюбцем. Циником и невеждой. Любимым учеником Эйхмана и Синеи Бороды.

Вместо серьезного разговора авторы корреспонденций навязывали газете дискуссию о злодейском характере Марка Поповского.

Вероятно, у Поповского есть недостатки. Как у любого из нас. Черты его характера живо обсуждаются в кругу друзей и сослуживцев.

Спрашивается, зачем все это тысячам наших читателей?!

Читателей волнует существо проблемы. Читатели ждут конкретной реакции на конкретные обвинения. Касающиеся не личной жизни, а общественной деятельности президента.

И все-таки мы опубликовали часть этих писем.

Так произошло недоразумение с письмом Аркадия Рутмана. Мы напечатали его, значительно сократив. Хотя заметьте — наиболее резкие формулировки мы сохранили. Сокращения коснулись более или менее нейтральных разделов.

Рутман обиделся. Это естественно. Пришлось извиняться. К сожалению, такое бывает. И вообще, что это за газета без обиженных самолюбивых авторов?!..

Посмотрим, как развернутся дальнейшие события. Наконец создается объективная заинтересованная комиссия. Президент Котляр будет вынужден дать ей исчерпывающий отчет. Будем надеяться, что заключение комиссии поможет отыскать достойный выход из создавшегося тупика.

«Новый американец», № 79, 16—22 августа 1981 г.

КР УГРОЖАЕТ ЛИ НАМ ТЕРМОЯДЕРНАЯ ВОЙНА...

Угрожает ли нам термоядерная война? Эта тема живо интересует любого психически вменяемого человека. .

В «Новом русском слове» опубликована (29 августа) заметка Юрия Мейера. Она называется «Люди, способные вызвать апокалипсис».

Мейер исследует документы советской прессы. В частности, статью маршала Огаркова. (Июньский номер журнала «Коммунист».)

Статья Огаркова действительно производит жуткое впечатление. Маршал говорит, что большевики способны нанести Америке превентивный термоядерный удар.

По его мнению, такая война не означает гибели человечества. Огарков думает, что в этой войне можно победить.

Далее Мейер успокаивает читателя. Говорит, что Огарков не все-

лен. Что у него есть влиятельный оппонент. А именно — министр обороны Устинов. На заявление Огаркова министр реагировал в «Правде». Написал, что термоядерная война повлечет за собой колоссальные жертвы. Что контролировать ее ход — невозможно. Что победителей не будет...

Короче, выказал некоторую долю здравого смысла.

Сопоставляя эти документы, Мейер делает выводы о кремлевском разброде. О разногласиях между коммунистическими лидерами.

Выводы эти смешны и наивны.

Юрий Мейер, как говорится, попался на удочку. Устинов и Огарков разыграли совершенно банальный трюк. Использовали прием, давно разработанный госбезопасностью.

Допустим, вы находитесь у следователя КГБ. Следователь кричит и топает ногами. Называет вас агентом ФБР. Угрожает вам тюрьмой и мордобоем.

Вдруг отворяется дверь. В помещение заходит еще один работник КГБ. Как правило, более высокого ранга. Заходит и тихо говорит первому следователю:

— Нехорошо, товарищ Сидоров! Времена Ежова прошли. Зачем же вы топаете ногами?! Товарищ Довлатов уже готов чистосердечно все рассказать...

По идее, слушая это, вы должны рассуждать так:

— Первый следователь — негодяй. А второй — либерал. Надо держаться поближе ко второму. А то ведь и по физиономии схлопотать не долго...

На эту удочку попадают только дураки. Оба работника КГБ действуют согласованно. В расчете на твою пугливость, глупость, доверчивость.

Советские лидеры единодушны, как волки, преследующие жертву. Их мнимые разногласия — дешевый спектакль. «Коммунист» и «Правда» топчутся возле одной лохани. Получают указания в одном и том же месте. Ловко жонглируют для виду кнутами и пряниками...

Нам бы, гражданам свободного мира, хоть каплю этого единодушия!

«Новый американец», № 82, 6—12 сентября 1981 г.

КР ОСЕНЬЮ СОСТОЯТСЯ ПЕРЕВЫБОРЫ...

Осенью состоится перевыборы нашего мэра. Разумеется, Коч выставит и свою кандидатуру.

Полюбить мэра Коча стоит уже за то, что он доступен. С ним можно без затруднений встретиться и поговорить. Так оно и было, когда нам потребовался дельный совет.

Мэр Коч производит сильное впечатление. У него ярко выраженный орлиный (то есть — семитский) профиль. Он кажется вспльчивым и грубоватым человеком. Находчиво и удачно шутит. Однако не улыбается собственным шуткам, как это делает подчас господин Рейган.

Мэр не пытается выглядеть рафинированным интеллигентом. Он не денди. Я обратил внимание на его стандартные коричневые брюки и поношенные туфли. Мой друг Соломон Шапиро одевается гораздо лучше.

Мэр демократичен без притворства. Его проще застать в китайском ресторане, чем в опере или на ученом симпозиуме. Китайские рестораны он любит не зря. Как все мы знаем, это дешево, уютно и практично.

Нью-Йорк — особый город. Человека с манерами Жискара д'Эстена здесь не поймут. Был, например, такой прискорбный случай:

Какой-то голодранец хамски оскорбил мэра. Коч, не задумываясь, съездил ему по физиономии.

Голодранец, очухавшись, мрачно спросил:

— Чем это вы меня саданули?

И мэр любезно показал ему свой тяжелый кулак...

В Нью-Йорке и сейчас огромное количество проблем. До Коча положение было значительно хуже. Город изнемогал от дефицита. Жители покидали его, бросая дома и квартиры. Целые районы приходили в опасное запустение.

Коч сделал много хорошего и намерен сделать еще больше.

При нем город избавился от долгов.

Полицейский корпус увеличился на 1300 человек.

Резко повысилось качество школьного обучения.

Затормозился рост квартирной платы.

Мэр хочет нормализовать систему продажи оружия. Обдумывает новые методы борьбы с преступностью. Разрабатывает более совершенные программы медицинского обслуживания детей.

В 1982 году на улучшение работы метро будет ассигнована колоссальная сумма — 437 000 000 долларов. Такого в истории города еще не было.

Мэр — выходец из семьи бедных польских евреев. Ему доступны наши проблемы. Он поможет нам их разрешить.

Если мэра не переизберут, он легко найдет себе другую работу. А вот мы едва ли найдем себе другого такого мэра.

«Новый американец», № 83, 13—19 сентября 1981 г.

КР БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА...

Бывают ситуации, когда все правы. И те, кто за. И те, кто против.

Израиль решил не оказывать помощи тем эмигрантам, которые едут в Америку. Решение это продиктовано отнюдь не жестокостью израильских властей.

Израиль — маленькое воюющее государство. Ему необходимы военные и профессиональные кадры. Ему дорога идея объединения, монолитности своего народа. Значит, Сохнут будет помогать лишь тем, кто намерен жить в Израиле.

Решение, конечно, волевое, но психологически объяснимое. Сохнут руководствуется государственными интересами.

Хотя вряд ли это решение достигнет цели. Много ли проку от беженцев, которых заполучили насильственно?.. Нелегко будет превратить этих людей в героев даже капиталистического труда. И тем более — в доблестных солдат...

Однако решение принято. Американский госдепартамент высказался на эту тему критически. ХИАС заявил, что будет и дальше оказывать помощь тем, кто намерен ехать в Америку. Затем поползли тревожные слухи. Якобы господин Шапиро взял свое заявление обратно. Видимо, не без давления Сохнута...

Все это довольно грустно. Грустно потому, что компрометирует саму идею демократии.

Безграничного уважения достоин тот, кто едет созидать молодое израильское государство. Но лишь в том случае, если он проделывает это — добровольно.

История на этот счет богата разнообразными примерами. Остановимся на самых крайних.

Русского человека Солдатова посадили как борца за независимую Эстонию. Причем оккупированную его соотечественниками. А продал его на суде эстонец Варату. Националистам тут есть о чем задуматься...

Лорд Байрон погиб, сражаясь за независимость Греции. А Фаддей Булгарин сражался в частях Наполеона против русских. Байрон — замечательный человек. Булгарин — негодяй. Но оба были свободными людьми, и это важно.

Свобода, как известно, неделима. Она нужна хорошим и плохим. И уж тем более — нормальным людям. Вроде нас...

Нельзя предоставить свободу одним лишь героям. Как нельзя предоставить возможность жениться одному Барту Рейнольдсу...

Куда ехать?.. Для меня такой проблемы не существовало. Мой выбор был предрешен семейными и творческими обстоятельствами. И я осуществил его. И такое же право для каждого — неоспоримо!

Хочется верить, что Соединенные Штаты найдут возможность помогать беженцам и дальше. Потому что Америка — страна классической демократии.

Не зря мы приехали именно сюда...

«Новый американец», № 84, 20—26 сентября 1981 г.

КР ВООБЩЕ ЭТО НЕПРАВИЛЬНО...

Вообще это неправильно, что я болею за Корчного. Болеть положено за того, кто лучше играет.

Либо положено болеть за своих. За команду своего родного города. Своего государства. Своего пионерского или концентрационного лагеря. За борца или штангиста, который живет в соседнем доме. И так далее.

Но я болею по-другому. И всегда болел неправильно. В детстве мне очень нравилась команда «Зенит». Не потому, что это была ленинградская команда. А потому, что в ней играл футболист Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол.

Левин-Коган часто играл головой. Мне и это нравилось. Хотя еврейской голове можно было найти и лучшее применение...

В шестидесятом году Мохаммед Али нокаутировал Петшиковского. Чуть раньше — Шаткова. Мне это не понравилось. И я не стал болеть за Мохаммеда Али. Он был чересчур здоровый, самоуверенный и победоносный. Потом у него выиграл Джо Фрезер. С тех пор все изменилось. Я болел за Али до конца. И болею сейчас...

Мне говорили, что у Корчного плохой характер. Что он бывает агрессивным, резким и даже грубым. Что он недопустимо выругал Карпова. Публично назвал его гаденышем.

На месте Корчного я бы поступил совсем иначе. Я бы схватил шахматную доску и треснул Карпова по голове. Хотя я знаю, что это не спортивно. И даже наказуемо в уголовном порядке. Но я бы поступил именно так.

Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод. За то, что он прекрасный шахматист. За то, что у него все хорошо. За то, что его окружают десятки советников и гувернеров.

Вот почему я болею за Корчного. Не потому, что он живет на Западе. Не потому, что играет лучше. И разумеется, не потому, что он — еврей.

Я болею за Корчного потому, что он в разлуке с женой и сыном. Потому, что ему за сорок. (Или даже, кажется, за пятьдесят.) И еще потому, что он не решился стукнуть Карпова шахматной доской. Полагаю, он этого желал не менее, чем я. А я желаю этого — безмерно...

Конечно, я плохой болельщик. Не разбираюсь в спорте и застенчиво предпочитаю Достоевского — баскетболисту Алачацяну.

Но за Корчного я болею тяжело и сильно.

Только чудо может спасти Корчного от поражения. И я, неверующий, циничный журналист, молю о чуде...

«Новый свет», № 4 (92), 14—20 ноября 1981 г.

КР ЭТО ПРОИЗОШЛО...

Это произошло году в семидесятом. Я и мои друзья познакомились с чешской фехтовальщицей — Кариной. Она приехала в Ленинград на какие-то соревнования.

Желая ей понравиться, мы заговорили о Пражской весне. Мы высказывались откровенно и чувствовали себя едва ли не заговорщиками. Карина должна была оценить подобный неконформизм. Что сулило, как минимум, — идейную близость.

Однако нас постигло глубокое и неожиданное разочарование. Карина оказалась вполне лояльной марксисткой. Она ругала Дубчека и цитировала советские газеты. Мы были поражены и слегка напуганы...

Хочется думать, что польский народ — единоклубен. Что все поддерживают «Солидарность» и готовы бороться до конца. Но я боюсь, что такое представление — ложно. Значительная часть любого народа — пассивна в идейном отношении. Ответственность в трудную минуту берет на себя его лучшая, думающая часть. Лучшая и увы — не самая многочисленная.

В Польше очень трудная экономическая ситуация. Людей утомило состояние гражданской и политической неопределенности.

Разумеется, власти используют эти настроения. Пропагандистская машина, как всегда, работает безотказно. Виновницей народных бедствий объявлена «Солидарность» и ее мужественные руководители.

Да, католическая церковь — огромная сила. Однако церковь не возглавит мятежа. Священнослужители всеми методами будут удерживать народ от кровопролития.

Поддержка демократического Запада — эфемерна. Что может Запад? Отменить международный научный симпозиум по рыбководству? Выразить чувство глубокой озабоченности?

Рейган говорит:

— Мы не получаем объективной информации. Все каналы связи перекрыты. Поэтому мы не можем действовать...

То, что нет информации, — преступление. То, что перекрыты каналы, — ужасно. Все это как раз и означает, что надо действовать.

Как?

Не грешно ли призывать другого человека к оружию?! Можно ли требовать от поляков героизма и самопожертвования?!..

— А вывод, — спросит читатель, — каков же вывод?

Я уже лет пятнадцать не делаю выводов. Это происходит без меня...

«Новый американец», № 97, 19—25 декабря 1981 г.

КР

КНЕССЕТ ПРИНЯЛ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ...

Кнессет принял важное решение об аннексии Голанских высот.

Решение Кнессета вызвало единодушное осуждение большинства мировых правительств. В том числе и правительства США.

Все это порождает довольно грустные мысли. Я уже говорил, поведение государства и поведение человека — сопоставимы. Самозащита и обороноспособность — понятия адекватные. Разница в масштабах, а не в качестве.

Попробуем взглянуть на это дело с житейской точки зрения.

Я учился в послевоенной школе. К тому же — в довольно бандитском районе.

Времена были жесткие. Окружающие то и дело пускали в ход кулаки.

Меня это не касалось. Я был на удивление здоровым переростком.

А теперь вообразите хилого мальчишку, наделенного чувством собственного достоинства. К тому же — еврея в очках. Да еще — по фамилии Лурье.

Лурье приходилось очень туго. Местная шпана буквально не давала ему прохода.

Раза три Лурье уходил домой с побитой физиономией. На четвертый раз взял кирпич и ударил по голове хулигана Мурашку. Лурье выбил ему шесть зубов «от клыка до клыка включительно». (Так было сказано в милицейском протоколе.)

Я знаю, что драться кирпичом — нехорошо. Что это не по-джентльменски. С точки зрения БУКВЫ Лурье достоин осуждения. Но В СУЩНОСТИ Лурье был прав.

От Израиля ждут джентльменского поведения. Израилю навязывают БУКВУ международного права...

Я вспоминаю семьдесят третий год. Мы служили тогда в журнале «Костер». Однажды Лосев (нынешний дартмутский профессор) раздобыл карту Ближнего Востока. И повесил ее в холле комсомольской редакции.

Я взглянул и ужаснулся. Микроскопическая синяя точка. Слово «Из-

райль» не умещается. Конец — на территории Иордании. Начало — в Египте. А кругом внушительные пятна — розовые, желтые, зеленые.

Есть такая расплывчатая юридическая формулировка — предел необходимой самообороны. Где лежит этот злополучный предел? Нужно ли дожидаться, пока тебя изувечит шайка бандитов? Или стоит заранее лягнуть одного ногой в мошонку?

Казалось бы, так просто. Тем не менее прогрессивное человечество с дурацким единодушием осуждает Израиль. Прогрессивное человечество требует от Израиля благородного самоубийства.

«Новый американец», № 98, 26—31 декабря 1981 г.

КР ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД...

Четыре года назад японский журналист задал академику Сахарову вопрос:

— Может ли измениться советский режим? Реально ли это в обозримом будущем?

— Боюсь, что нет, — ответил Сахаров.

Тогда журналист спросил:

— Значит, все безнадежно? Ради чего же вы занимаетесь правозащитной деятельностью? Зачем рискуете собой?

Сахаров ответил:

— Тогда вообще не стоило бы жить. Без надежды жизнь лишается смысла. Я не верю... И все-таки надеюсь.

Это соображение может показаться наивным. Однако — лишь на первый взгляд. Правда существует во имя правды. Не преследуя каких-либо иных, материальных целей.

Надежда существует во имя надежды.

Пусть все ужасно. Газету утром раскрывать боимся. Военная угроза, Польша, терроризм...

Казалось бы, семь ангелов, имеющие семь труб, уже приготовились... И впереди — конь бледный... И всадник, которому имя — смерть...

И все-таки мы говорим друг другу:

— Счастливого Нового года!

Сколько уже позади этих лет?! 30, 40, 60? Много ли было их — счастливых? И какое уж такое безумное счастье ожидает нас впереди?..

Может, и не очень верим. И все-таки надеемся.

И потому мы говорим своим друзьям:

— Счастливого Нового года!

Все было. Всякое бывало. Но дружба уцелела. Хоть и сокращается порою круг друзей. Но телефон звонит. И почтальонам есть работа. И вечно рядом какие-то симпатичные люди...

— Надеемся, друзья!

Врагам мы тоже говорим:

— Счастливого Нового года!

Чем бы их таким порадовать, врагов? Может, очокуриться им на радость?

Что ж, со временем, как говорится, — не исключено.

Надеемся, враги!

Я все еще надеюсь. Не от слепоты. Не от бессилия. Во имя самой надежды. Без каких-либо иных материальных целей.

Сама надежда является целью. Она же является средством.

«Новый американец», № 99, 1—7 января 1982 г.

КР ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ НЕ БЕЗ ТРУДА...

Итальянская полиция не без труда освободила генерала Дозьера.

Америка ликует... Нам вернули боевого генерала...

Что происходит?! В Иране студенты хватают заложников, держат в тюрьме, подвергая невыносимым унижениям. Американское правительство вырабатывает какие-то непонятные санкции. Проводит боевую операцию.

Операция с треском проваливается. Самолеты не желают взлетать. Связь нарушена. Карта местности составлена небрежно...

Ведется унижительный торг. Наконец измученных заложников почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу. Ликованию нет конца. Шампанское льется рекой...

До чего же низко упал престиж Америки! Дипломаты радуются, что их не перестреляли, как уток. Генерал Дозьер сообщает жене:

— Я чувствую себя прекрасно. Риали вандерфул!..

А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой воруют полководцев. Генерал — не пудель. Генералов надо охранять...

Видит Бог, мы покорены Америкой. Ее щедростью и динамизмом. Благородством и радушием. И все-таки...?

Что-то неладное происходит в этой стране.

Ехали мы в саввее, приятель и я. Рядом стояла молодая женщина. Вдруг она побелела. Ей стало плохо. Ее начало тошнить.

Платка у женщины не оказалось. Я протянул ей «Новую газету». Все расступились. Сидящие пассажиры отвели глаза.

— Уступите место женщине, — сказал приятель.

Никакой реакции.

Мой друг почти кричит в лицо широкоплечему бородатому янки:

— Эй ты, животное, встань!

Тот нехотя встает, улыбается...

Что-то неладное происходит в этой стране...

Женщина тонет в реке Потомак. Некий отважный господин бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, молодец, честь ему и хвала!

Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, телевидение поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему свое кресло возле Первой леди. Говорят, скоро будет фильм и мюзикл на эту тему...

Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния.

Так что же происходит в Америке? Равнодушие становится нормой? Нормальный жест воспринимается как подвиг?

А может, я сгущаю краски?..

«Новый американец», № 104, 9—15 февраля 1982 г.

КР ЭТО БЫЛО ...

Это было в минувшую пятницу. Я познакомился с живым американским «левым». Я был уверен, что их не существует. Что господин Максимов сгущает краски.

И вот я познакомился с Эрни Данэлом. Он не коммунист, не заговорщик. Он даже не красный. Он — розовый, левый.

Эрни рассказывает о себе:

— Я родился в очень чопорном, богатом и гнусном семействе. Достаточно сказать, что моим крестным отцом был Рокфеллер. Поэтому я стал мятежником. Я возненавидел эстеблишмент и, главным образом, — моего папашу...

Я стал употреблять наркотики и заниматься контрабандой. Был членом довольно могущественной шайки. Знал черный рынок и все необходимые места.

Мы ненавидели богачей, капиталистов, продажных священников. Мы ненавидели это развращенное, безжалостное общество.

Несколько раз я был арестован. Но папаша брал хороших адвокатов, и меня выпускали...

Я продолжал бороться. Мы вели политическую борьбу, разрушая устои капитализма. Ночью мы вскрывали багажники автомашин. Били стекла...

— Сколько тебе было лет?

— Шестнадцать. Но я был сложившимся революционером. Я курил марихуану назло папаше и эстеблишменту.

— А сейчас?

— И сейчас я придерживаюсь оппозиционных взглядов. По-моему,

Рейган слишком груб. Политика Киссинджера была мягкой. И это предотвратило войну. Политика же Рейгана чревата войнами.

— Но война уже идет, — сказал я. — Войны были при Киссинджере. Войны идут постоянно. Америка уже проиграла несколько войн.

— Америка не воюет. Это главное. Я думаю о своем народе.

— Рано или поздно советские танки будут здесь. Если их не остановить сейчас.

— Это будет не скоро. Ведь Россия так далеко...

— Боже, как ты глуп! — хотелось выкрикнуть мне. — Как ты завидно и спасительно глуп...

Но я сдержался. От этого человека в какой-то степени зависело мое будущее.

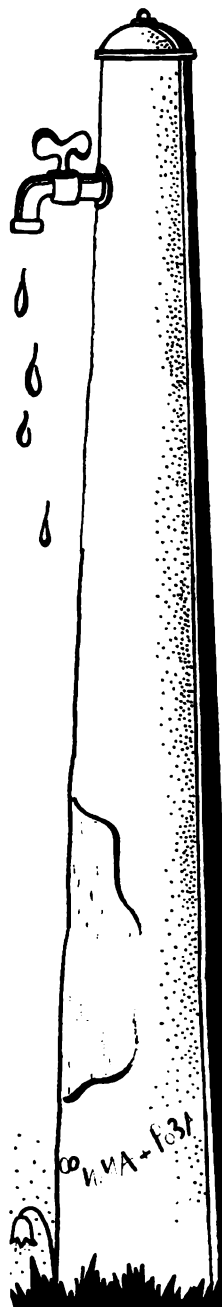
Познакомились мы не случайно. Эрн Данэл — преуспевающий литературный агент. Работает в солидной конторе. Обслуживает ненавистный эстеблишмент.

Может, заработаю с ним большие деньги. Капитализм, вопреки своей исторической обреченности, дает человеку такую надежду...

«Новый американец», № 106, 23 февраля — 1 марта 1982 г.

Содержание

Из жизни новых американцев. <i>Петр Вайль</i>	5
Чесуча и рогожа. <i>Александр Генис</i>	13
«В любой игре существенен итог». <i>Нина Аловерт</i>	20
«Новый американец» в Новом Свете. <i>Елена Довлатова</i>	28
Предисловие. <i>Катерина Довлатова</i>	36
НЕВИДИМАЯ ГАЗЕТА	42
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МАРШ	122
ПИСАТЕЛЬ В РОЛИ КАССАНДРЫ	224
ДЗЭН-БУДДИСТ С ЛОПАТОЙ	282
ВЕРХОМ НА УЛИТКЕ	370
А ТАКЖЕ	406



Литературно-художественное издание

Сергей Довлатов

РЕЧЬ БЕЗ ПОВОДА... или Колонки редактора

Ответственный редактор *Елена Бубнова*

Технический редактор *Татьяна Фатюхина*

Корректоры *Инга Аветисова, Галина Левина,
Любовь Федорова, Татьяна Филиппова*

Компьютерная графика *Евгений Вольфсон*

Компьютерный дизайн и верстка

Наталья Привезенцева

ГС № 77.99.02.953.Д.004202.07.05 от 18.07.2005. Подписано в печать
26.06.2006. Формат 60х90/16. Гарнитура NewtonС. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 27,0. Тираж 25 000 экз. Заказ № 3693.

ЗАО Компания «Махаон». 125195, Москва, ул. Беломорская, д. 26, стр. 2.
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-20.

E-mail: sales@machaon.net

www.machaon.net

Оптовая и мелкооптовая торговля: В Санкт-Петербурге «Махаон-СПб»:
198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 11, 4-й этаж, офис 19.
Тел./факс (812) 783-52-84. E-mail: machaon-spb@mail.ru

На территории Украины «Махаон-Украина»:

04073, Киев, Московский просп., 6, 2-й этаж.

Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: machaon@i.kiev.ua

Филиал издательства «Махаон-Украина» во Львове:
79035, Львов, ул. Зелена, 147.

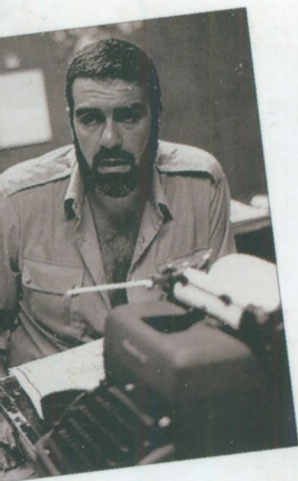
Тел.: (0322) 40-52-77

В Москве: Книжная ярмарка в СК «Олимпийский».
129090, Москва, Олимпийский просп., 16,
станция метро «Прспект Мира».
Тел. (095) 937-78-58.

Отпечатано в полном соответствии с качеством

предоставленных диапозитивов в ОАО «Тульская типография».

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Удивительное дело: один из самых любимых и популярных в России прозаиков, который шаг за шагом с редкой откровенностью описал свою жизнь сам, о ком вышли книги исследований и мемуаров, по сути — загадка. Неясно, насколько совпадает авторский персонаж Сергей Довлатов с реальным автором Сергеем Довлатовым. В какую клеточку литературного процесса он должен быть занесен, на какую полку ставить его книги.

Довлатовская работа в газете может, кажется, кое-что прояснить: журналистский — по видимости — его способ работы. Всякий раз, когда о писателе говорят «подслушал» и записал, «подсмотрел» и описал — во-первых, подслушай так и подсмотри так. Во-вторых, окружающая жизнь всегда хаотична, и такой — бессмысленной и невнятной — запись и получится. На то и писатель, чтобы организовывать хаос. Довлатов пользовался для этого минималистскими методами: как журналист, сохранял (или узнаваемо видоизменял) подлинные имена и писал по канве фактических ситуаций. Искусство — в том зоре, который остается между реальностью и словесностью. Это почти правда, но лучше правды — не потому, что глубже, тоньше, выше (здесь с жизнью не тягаться никакой литературе), а потому, что красивее.

Петр Вайль



Обложку оформили
в Студии Артемия Лебедева в 2006 году

Machaon

ISBN 5-18-001003-9



9 785180 010032 >